

Б. ВАГАБЗАДЕ
Э. ТАЛЫБЛЫ

**Самед
ВУРГУН**

Б. ВАГАБЗАДЕ,
Э. ТАЛЫБЛИ

САМЕД ВУРГУН



Издательство
«Азербайджан»
БАКУ — 2000

Перевод
Сиявуша Мамедзаде

ИЗВЕСТНЫМ И НЕИЗВЕСТНЫМ САМЕД ВУРГУН

Дорогой читатель! Эта книга, которую ты решил прочитать, о Самеде Вургуне. Хотя это и покажется странным, но ответим на вопрос «Кто такой С. Вургун?»

Один из талантливых представителей азербайджанской поэзии XX века, поэт, завоевавший без преувеличения поистине всенародную любовь, получивший славу на всем пространстве бывшего Союза, читаемый, любимый, подражаемый!

Патриот, всем сердцем привязанный к своей родине — Азербайджану. Творческая личность, превратившая эту родину в главного героя своего творчества, сам ставший символом Азербайджана за его пределами!

Организатор, руководивший в различные годы Союзом писателей республики, отделом гуманитарных наук Академии наук, Обществом дружбы с зарубежными странами, впередсмотрящий литературно-научной жизни!

Личность, награжденная в советский период официальными наградами, званиями, представленная в парламенте Азербайджана и СССР!

Человек, произведения которого при жизни были опубликованы, помимо родного, еще на десятках языках, пьесы поставлены на театральных сценах мира, о котором написаны научные и художественные произведения.

Да, эти вещи, бесспорно, известные для тебя истины. Эти истины создают в нашем представлении образ счастливого поэта. Как и памятник поэту в Баку — оптимистический, счастливый образ с улыбающимся взором. Но был ли Самед в действительности счастлив? Является ли сказанное нами единственной правдой? Удавалось ли нам узнать личность, характер, судьбу Самеда Вургун в совокупности с его успехами и провалами, противоречиями и ошибками; личной печалью, национальными и общественными проблемами? Неужели официально признанный, обладающий титулами Самед Вургун в самом деле не подвергался политическому давлению? Действительно ли его жизнь протекала плавно, как праздничный кортеж? Интересно, было ли восклицание, обращенное к поэту, не достигшему еще сорока лет, «Поэт, как рано постарел ты!», всего лишь красивой фразой?

Несмотря на написанные десятки книг, сотни статей, защищенные диссертации, поиск ответов на вышеприведенные вопросы вынудил нас написать эту книгу. В отдельных исследованиях изучены различные области творчества С. Вургун, конкретные произведения. Его короткая биография также нашла отражение в научных трудах. Мы с благодарностью отмечаем труд всех вургуноведов. Но никто из исследователей до сегодняшнего дня не задавался целью написать подробную биографию Самеда Вургун. Представляемая вам книга относится именно к биографическому жанру.

В 12(2000)

Б. Вагабзаде, Э. Талыблы. Самед Вургун. — Баку, издательство «Азербайджан», 2000 — 244 с.

В 4804000000—012(2000) Заказное
М 670(07)—2000

В процессе работы над книгой мы ознакомились с большим количеством материалов в Институте рукописей, архивах, Доме-музее поэта, постарались выявить подлинные жизненные факты путем сопоставления в опубликованных воспоминаниях хвалебных эпитетов, субъективных высказываний, критических, обстоятельно рассмотрели художественно-научное наследие поэта, выслушали воспоминания многих его современников.

Дорогой читатель! Эта книга — документальная повесть о содержательной жизни Самеда Вургуня. Основной отправной точкой здесь были документы, факты и творчество самого поэта. Требования жанра, хотя и далекого от научного стиля, не позволяют дать широкое поле вымыслу. Вы ознакомились со многими моментами жизни поэта. На ваш суд представлены многие его неуспевшиеся творческие мечты, произведения, которые не были никому известны, не попали в сборники его произведений.

Жизненный путь Самеда Вургуня с его радостями и горестями был путем развития азербайджанской литературы, поэзии в период сталинизма. Сегодня, прослеживая этот путь, мы хотим изучить нашу недавнюю историю, расставить точки над «я». Обратившись к биографии Самеда Вургуня, мы не преследовали цели пойти по пути обычной похвалы в свете общепризнанной любви к поэту или же занять резкую позицию отрицания происходящего в тяжелой и непростой советский период, бросить тень на целое поколение, прожить 37-й и другие последующие тяжелые годы. Мы были свидетелями любых крайностей — будь это слепая любовь и похвала или же безоглядное отрицание.

Национальная культура, даже в самые тяжелые периоды истории, существовала и развивалась за счет светлых личностей, гениев, возвысившихся над временем. Именно такой личностью и был Самед Вургун. Нельзя не отметить искренность слов его близкого друга, видного писателя А. Фадеева, сказавшего «твоя широкая поэзия светит яркой звездой в созданном нашими народами самом прекрасном поэтическом созвездье». Его стихи, найдя дорогу к сердцам читателей, просветляли их души. Эти стихи были столь же завораживающе сладостны, как и сама жизнь. Как говорил один из участников Великой Отечественной войны: «с твоими стихами мы шли в атаку». Стихи Вургуня были оружием счастья, этическим выражением радости человека, переопределенного счастьем, другом, сострадающим в минуты печали. Стих Вургуня оставляет ощущение легкости, прозрачности, воздушности; это кажущаяся простота — не только результат счастливых озарений, вдохновения, но и выражение творческих принципов художника, который говорил с народом на его языке, чуждом выспренности, шутовства и технических изысков, рассчитанных на эпатаж.

Можно ль душу из сердца украсть? — Никогда!
Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города.
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

Можно ль мать у ребенка украсть? — Никогда!
Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города.
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

В стихах Самеда Вургуня слышится бинение сердца Азербайджана. Всем сердцем любит поэт язык своей матери — азербай-

джанский язык, сумев привить эту любовь сотням тысяч сограждан.

Подрастающие поколения ощущали красоту, изящество нашего языка в его стихах, черпали безграничные возможности, богатство языка из его стихов.

Самед означает вечный. Вургун же — влюбленный. Самед Вургун был одной из тех редких личностей, значение имени которых время подтверждало их содержательной жизнью. Он был влюблен в родную землю, природу, историю, язык. Его вдохновение целиком брало истоки из его восхищения Азербайджаном. Все его творчество в целом можно считать своеобразной поэтической летописью Азербайджана. Эта летопись была создана в столь народном духе, что ее трудно отличить от фольклора. Вдохновленный народом, сам сливавшийся с ним, превращавшийся в его символ — вот таким был гений Самеда Вургуня, навсегда поселившийся в сердцах народа! Его творчество, его дух, подобно живому человеку, и сегодня шагает вровень с нами, размышляет, радуется, печалится, посвящает наших современников в азбуку вечной любви к Азербайджану.

Вургун по своей природе был светлой, благодарной личностью, воплощением лучших человеческих качеств. Полномочия, полученные им на должностях, были словно средством для выявления юных талантов, оказания им поддержки, решения их проблем с образованием и бытом, помощи бездомным. Как он говорил,

Помоги беспомощному, стань ему опорой,
не опирайся на сильного, станешь ему обузой.

Раскройте книгу воспоминаний о поэте и прочитайте! Сколько таких фактов вы обнаружите! Сколько таких историй, превратившихся в легенду, бегут в Азербайджане.

Самед Вургун, как поэт, был личностью, пережившей свою личную трагедию. Если репрессии 1937 года привели к физическому уничтожению десятка, сотен деятелей науки, культуры, писателей, то последующий период остался в истории как время моральных репрессий для талантов, самого строгого идеологического контроля над художественным творчеством. Самая деятельная пора в творчестве Вургуня, прожившего всего пятьдесят лет, пришлась именно на эту пору. Это был именно тот период, когда любые творческие порывы, инициативы встречали резкое неприятие официальных чиновников и критику — достаточно вспомнить литературную судьбу философских стихотворений и пьес поэмы «Айгюн» — наоборот, произведения, освещающие темы и проблемы, продиктованные идеологической доктриной, приветствовались. Нельзя было выходить за установленные рамки. Хотя гениальные мастера никогда не укладывались в ограничительные рамки. Романтическое вдохновение Самеда Вургуня взметалось выше на поэтическое небосводе. А те, чей литературный вкус формировали директивные документы, не хотели осознавать романтизм философский настрой его души. Это вызывало у поэта справедливое возмущение:

О дайте исцеление мне, чтоб душу пламя не терзало,
Чтоб вдохновение в огне, как солнца свет, не угасало.
Зачем мне ползать по земле? Иль воспарить моей душе
До белоснежных облаков, как соколике, не пристало.
Зову слагать дастаны в честь родного края своего,
Меня собратья не понять? Меня ли изводить опалой?

(Перевод С. Мамедзаде).

Но верно и то, что при таком отношении, когда увеличивался прессинг, ряд произведений Вургуня остался незавершенным, не реализовались многие его творческие планы. Порой, не сумев защитить свое самое удачное произведение от несправедливых нападков, он признавался, что допустил творческую ошибку. Это была трагедия Самеда Вургуня, трагедия целого литературного поколения, пережившего эту эпоху.

Эта трагедия приводила к внутренним противоречиям, отражавшимся в художественном творчестве. С одной стороны, патриотический, всем сердцем любящий свою Родину — Азербайджан, родной народ, язык, мечтавший о свободе человека, человек безгранично жизнелюбивый, бесспорно, признающий право на жизнь для всех людей и народов, с другой стороны, поэт, восславляющий в своих произведениях строй, с беспощадной жестокостью обрацающийся с судьбами людей! Произведения такого рода, несомненно, наводили тебя, как и нас, на размышление, дорогой читатель! Можно сожалеть, можно возмущаться, даже занять радикальную позицию отрицания... Но одно невозможно — допустить — обвинять Самеда Вургуня в неискренности. «Знаменосец века», «Привет вождю» были искренними стихами, плодом вдохновения. Вургун верил в существующий строй, счастливое будущее. И у такой веры были свои истоки. Молодые годы, учеба Самеда Вургуня, одним словом, период формирования мировоззрения поэта, пережившего в детстве утрату матери, непонимание со стороны матери, материальные затруднения в детстве и юности, социальная несправедливость пришлось на советский период. Публикация книг, постановка пьес, большая слава, высокие посты, приобретение множества друзей за пределами родины, признание на высшем официальном уровне — все это у С. Вургуня ассоциировалось с советским строем, в который он глубоко верил. Происходящее в опасные и трудные моменты жизни он связывал не с политическим строем, а с руководителем Азербайджана М. Дж. Багировым и другими конкретными личностями.

Трагедия С. Вургуня была трагедией веры. Это была трагедия целого поколения литераторов. Только ли поколения литераторов? Многие современники поэта, его собратья по перу смогли пересмотреть свои жизненные взгляды, заново оценить прожитый период... Но все это произошло после 1956 года. Произведения Н. Симонюва, А. Твардовского, М. Гусейна, Р. Рзы... Десятки мемуаров, стихов, романов остальных... Критика, сожаления, признания... Горькое чувство отказа от произведений, написанных с вдохновением...

В дни XIX партийного съезда, на котором впервые широко освещались преступления сталинизма, поэт был тяжело болен...

Эта книга о Самеде Вургуне. О его среде. О его родине, где он вырос, о среде, где он превратился в поэта... О его друзьях и его дружбе... И еще о тяжелом времени...

Интересно, удалось ли нам представить поэта таким, каким он был на самом деле, — человек редкого таланта, прожившего свой короткий век в тяжелое и непростое время! Во всяком случае, мы стремились к этому... Желали этого... Теперь слово за тобой...

ЧАСТЬ

I

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

НОВРУЗ

Этот мартовский вечер 1906 г. в селении Гырах-Салах-лы Газахского уезда был памятным и необычным. Едва сгустились сумерки, как по волшебному мановению дома и подворья озарились красочным свечением бесчисленных зажженных свеч, на крышах землянок, на окрестных склонах, у поймы реки празднично запылали костры и их огни, казалось, источали радость и воодушевление, заражавшие всех, от мала до велика.

Народ праздновал пришествие весны — так повелось испокон веков. День весеннего равноденствия — Новруз означал первый день нового года. С этой поры дни становятся длиннее, ночи короче, тьма уступает свету; весна сулит возрождение жизни и умножение благодати — по верованиям далеких прашуров-огнепоклонников.

Гырах-салахлинцы, быть может, и не вдавались в исторические экскурсии, живя заботами о насущном и видя в освещенном обычаем празднике его природный и естественный смысл.

Новый год вступил в свои права. Сельская ребятня, полакомившаяся у праздничных столов, ликовала и носилась по округе с пылающими факелами в руках, перепрыгивала через веселые костры — «долой худобу-хворобу».

Один из таких же юных удалцов, будущий знаменитый поэт, напишет впоследствии:

Костры в ночи, как маки в темной раме,
И детвора, являя удалство,
И прыгает и пляшет над кострами —
Огонь не обжигает никого.

Сегодня и огонь с людьми добрее,
Как будто сердце есть и у огня,
Что красной птицей над землею реет,
В душе мечты и помыслы храня.

(«Комсомольская поэма».
Перевод В. Кафарова).

Да, ватаги ребят в войлочных папахах обходили село, подкрадывались к дверям, протягивая папахи, или опуска-

ли на веревке в дымоходные проемы («баджа») торбы, в которые хозяева клали праздничные угощения и дары. Чего только ни оказывалось в них — всякая вкуснота, пахлава, сладкие лепешки, вязанные варежки и джорабы, цветные свечки... Затем, поделив где-нибудь на околоте подарки по справедливости, как отцовское наследство, принимались за новую забаву — проверять крепость крашенных вареных яиц. Треснула скорлупа — проиграно яйцо. Играли и в кости, а парни постарше предпочитали «дире-дойме». Не счесть было забав и игр в ночь на праздник «Новруз».

А праздник в селении, тянущемся вдоль поймы, мерно капавшей воды Куры, только начинался.

Каждый раз, проводив старый год, Юсиф ага со своей женой Мехбубой навещал тещу Айше ханум, поздравлял с праздником и про гостинцы не забывал, заглядывал и к другим родичам. На сей раз впервые он изменил своему обыкновению — отослал шестилетнего Гаджи Мамеда за тещей.

Вот он сидит на пенечке у плетня, где обычно колол дрова, дымит кизиловой трубкой, думает думу, густобровый, усатый, смуглый, худощавый. Лет ему тридцать с небольшим. Волосы, выбивающиеся из-под каракулевой папахи, тронула седина. В сосредоточенном взоре застыла затаенная печаль. Он, казалось, не слышит ни веселого гвалта ребятни, резвящейся у реки и носящейся по селу. Время от времени поглядывает тревожно в сторону одноэтажного дома. Он и не заметил, как мимо прошмыгнула соседская дочь в белом келлаге и застыла у занавешенного окошка, вся обратившись в слух. Примета такая: услышит доброе слово у соседских дверей в ночь байрама загадавшая заветное желание — сбудется оно... То-то и трепетала девушка, — парня полюбила. Вдруг губы ее тронула улыбка, — донесся женский голос: «Чтоб вырос большой!» И другой: «Поздравляем!» Девушка в белом келлаге понеслась, как на крыльях, к подружкам своим.

Юсиф ага и теперь не заметил ее.

— Усуб ага, — так произносилось имя «Юсиф» в здешних краях, — с тебя муштулук!

Он вскочил на ноги. Перед ним стояла Айша.

В этот счастливый день, день народного праздника, родился на свет мальчик, нареченный Самедом, который станет знаменитым поэтом и покорит миллионы сердец...

Юсиф ага Векилов происходил из известного старинного

рода, чьи представители некогда именовали «кёсали» («кёсалинские»), а позднее — Векиловыми. По свидетельству брата поэта, Мехтихана Векилова, род их ведет начало от Кёсы Мирзали, жившего в начале XVII в. То были времена непрерывных войн между Персией и Турцией, стремившихся захватить плодородные земли Азербайджана, раздробленного на ханства, своего рода удельные вотчины. Газзахская округа, расположенная на северо-западе Азербайджана и сопредельная с Грузией, переходила то под персидскую, то под турецкую сферу влияния. Кёса Мирзали своей ратной доблестью и отвагой снискавший добрую славу в народе, особым фарманом сефевидского Шаха Аббаса I был назначен владетелем семи сельских наделов и избран своим постоянным пристанищем живописное местечко в пойме Куры.* Мехтихан Векилов, продолжая историю рода, пишет: «...В конце XVIII — начале XIX вв. из «кёсалинских владетелей» выдвинулся Алы ага — личность недюжинного ума, златоуст, остронос и смелый человек. В годы иранского владычества Алы ага был назначен векилом (должность, сочетавшая в себе полномочия дипломата, поверенного в делах и правозаступника — авт.) Газахского махала. Потому его и именовали векил Алы ага. Его звали иранские правители Ага Мохаммед шах Гаджар, Аббас Мирза, грузинский царь Ираклий II, а впоследствии — и русский император Александр I, и он снискал известность как представитель феодальной знати, векил важной стратегической области.

Как посредник векил Алы ага неоднократно встречался с посланцами Персии, с грузинским царем Ираклием, участвовал в дипломатических переговорах. Он являлся и личным другом Ираклия II...»

Его второй сын, Юсиф ага, также являлся личностью, известной в российских и грузинских кругах.

Фамильное предание, дошедшее до нас, сообщает интересные подробности о нем. Предание гласит, что старший сын векила Алы аги, попавший в какую-то передрагу, вынужден был уйти в качаги и скрытно скитаться в пределах Персии и Закавказья. Ираклий II не однажды передавал беглому абреку повеление явиться с повинной и сдать властям. Векил Юсиф ага ловко и умно уладил это дело. Грузинскому царю, выехавшему на охоту в Джейранчель, предстает всадник на белом коне, с молниеносной

*Здесь и в ряде других случаев ссылаемся на сведения, приведенные в книге М. Векилова «Повесть жизни — караванный путь» (Баку, «Язычы», 1986 г., на азерб. яз.).

*Муштулук — магарыч, награда за добрую весть.

быстротой преследовавший джейранье стадо. Когда стадо пронеслось мимо царской особы, всадник настиг одно из животных и ударом сабли на скаку уложил его. Ираклий II повернулся к Юсиф аге: «Кто сей человек?» «Брат мой, Гаджи Мамед, — последовал ответ. — А белый арабский скакун — трофей, захваченный у ваших врагов». По знаку брата Гаджи Мамед спешился и, держа обнаженный ятаган обеими руками, учтиво поклонился царю. Правитель опустил августейшую десницу на плечо удалца, воздал хвалу и простил его.

По традиции, бытовавшей в феодальные времена, веки Юсиф ага отдал на службу Александру II двух своих сыновей. Могила одного из них, генерала Векилова, доныне сохранилась на Санкт-Петербургском кладбище. Из молодых Векиловых, в ту пору определенных в воинские школы, выросли видные военные деятели. Известный топограф генерал Ибрагим ага Векилов, например, участвовал в Первой мировой войне, состоял в российской дипломатической миссии в Турции, а после установления Советской власти в Азербайджане посвятил свой опыт и знания служению республике: составил карту Азербайджана, изданную масовым тиражом, создал в республике топографическую школу. Известным военачальником был и полковник Асад ага Векилов.

В начале XIX в. с вхождением северной части Азербайджана в состав России род векила Алы аги принял фамилию Векидов и впоследствии, к концу столетия, выдвинул из своих рядов замечательных интеллигентов — врачей, педагогов, инженеров, государственных деятелей.

Юсиф ага Векилов представлял обедневшую сословную ветвь родословного древа. В молодости он состоял на службе при Кавказском наместничестве сборщиком податей по Газахскому уезду. Увы, из-за крайней несостоятельности населения он не мог обеспечить своевременные сборы для казны и был уволен. Положение семейства резко ухудшилось; состояние, унаследованное от деда Юсиф ага и отца Гаджи Мамеда, хватило ненадолго, и бывший чиновник наместничества стал вести жизнь обыкновенного крестьянина. Но на судьбу не сетовал. Как-никак, два сына было у него, отрада очей, в память о дорогих людях — отце и дяде, нареченных Гаджи Мамедом и Мехтиханом. И вот — родился третий сын...

Он не спеша прошел в дом, взглянул на запеленатое дитя, сердце захлестнула гордая радость, казалось, превосходящая пережитую прежде...

Приспела пора вечерней молитвы-намаза. Он прошел в

укромную комнату, воздал долг всевышнему, воздев руки, прошептал:

— Да святится щедрость твоя! Упаси чадо мое от бед-напастей от худобы-хворобы! Да вырастет он достойным сыном рода своего!

Нарекли сына Самедом, что означает «вечный». Быть может, в этом выборе сказались отцовское простодушие, чаяние вечной, долгой жизни сморщенному, слабому, смуглому младенцу своему?

Юсиф ага был не из тех, исконных, истовых крестьян, которые трудились в поте лица своего, бились денно и нощно, чтобы сбросить или облегчить бремя непосильной пужды. Верно, и он пахал и сеял, держал животину, но без особой крестьянской хватки и рвения. Чем объяснить эту нерасторопность? Только ли сословной принадлежностью? Конечно, и здесь есть доля истины, но такое объяснение не идет дальше однозначного общего суждения.

Юсиф ага был человеком набожным, уповавшим на провидение, на перст судьбы. Набожность в нем сочеталась с мечтательной натурой, пылкой влюбленностью в сказ и саз, в певучую силу народного искусства. Он мог часами играть на звонкострунном сазе, напевая стихи знаменитого Молла Панаха Вагифа, выходяща из газакских краев, государственного мужа Гарабахского ханства, или строки своего дяди по отцу Мехтихана, слагавшего стихи под псевдонимом «Кюхенсал», или других поэтов.

Музы истари жаловали Векиловых. Шамси бек Векилов Шехла, Кязим ага Салик занимают самобытное место в истории азербайджанской поэзии. Юсиф ага не числил себя ни в поэтах, ни в профессиональных ашугах, игравших, как говорится, на пиру и на миру. Тем не менее, его отличали вкус к слову, к творчеству, любовь к искусству. И Махбубе ханум была не чужда поэтическая жилка. Как-никак она являлась дочерью известного в Газахе поэта Кюхенсала.

«Отец и мать у нас были людьми чуткой души, милосердными, с чистыми чаяниями, наделенные поэтическим воображением, чрезвычайно мечтательными. Оба обладали приятными голосами, были песнопевцами с душой, полной сказов и сказаний...», — вспоминал Мехтихан Векилов.

Легко представить маленького впечатлительного Самеда, засыпающего под ласковую музыку материнской колыбельной, чарующих песен, окрылявших воображение, уводящих в мир сказочных грез... Голос матери, порой, смеялся перезвон струн сазы под чуткими пальцами отца, наигрывавшего томительно-сладостные ашугские мелодии.

Так он и рос в естественном, как воздух, мире «саза» и сказка, в песенном мире народного слова.

Взрослые вкушали горькие плоды бедности. Но маленький Самед в своей детской безмятежности еще не видал этой горечи. Он рос, по свидетельству брата, «очень впечатлительным, пытливым мальчиком, изводящим отца, мать и бабушку нескончаемыми вопросами, хилым на вид, но ловким, озорным, дерзким и самолюбивым, легко расстраивавшимся по малейшему поводу или при виде равнодушия...».

Самед был очарован сазом, песнями, дастанами, которые исполняли ашуги — народные певцы, сказители. Сызмала он полюбил музыку, быстро схватывал мелодию, с увлечением пускался в пляс. Бывало, отец наигрывал на сазе «Рухани», а босой мальчуган пускался в пляс. Отец гордился: «Мал да удал».

Он впитывал детской душой искрометное народное слово, звонкие ритмы народных мелодий, чтобы потом вернуть их сторицей народу, ограниченными, преображенными вдохновенным талантом. Фольклор питал его музу живительными соками.

«Я чеканил слова не за хлеба кусок, у народа их брал, чтоб народу отдать», — напишет он позже в «Свободном вдохновении».

Мы не ошибемся, если скажем, что художник, не испивший из родника народного творчества, не аккумулировавший в себе творческий и духовный опыт возраставшего его народа, — лишен крыльев.

Если ты сызмала не погружался в этот мир, не воспаряя на крыльях волшебной птицы Симуург, не проникался страстным сочувствием к участи ашуга — влюбленного, рвущегося к любимой и сокрушающего преграды, если ты не содрогался при мысли о страшных огнедышащих чудюдах-дихах и колдуньях-оборотнях, строивших козни нашим бесстрашным сказочным кумирам, если не отчаивался при виде коварного и жестокого зла и не торжествовал победу добра, если не впитывал сердцем печальную и светлую мудрость народных песен, то с чем приходишь ты в большую жизнь, как найдешь ты заветное слово — ключ к сердцу народному?..

БЕДА

Кура, вобравшая в себя талые снега арзрумских и кавказских гор, разыгралась не на шутку, оправдывая народное определение «дели» — буйная, шальная... Вода, вышедшая из берегов, затопила прибрежные селения, лишила крова многие семьи. Не пощадила стихия и одноэтажный

домишко Юсиф аги. Теперь уж не построить было каменного жилья. Поселились в землянке, сработанной на скорую руку. За этой бедой пришла другая. Умер старший сын Гаджи Мамед. Потом на печальный очаг обрушился новый удар: не стало тридцатилетней Махбубы. Поседел от горя Юсиф ага, поселился в глазах затаенная неизбывная печаль, осиротели сыновья — десятилетний Мехтихан и шестилетний Самед, годовалая Набат. Да и ей жить оставлось недолго...

Боль сиротства глубоко ранила сердце Самеда, осталась в нем навсегда, и дрожащее перо не однажды воскресало дорожную незабвенную тень.

...Что было ей судьбою суждено?
Латать да стряпать, отдых не зная.
Так в доме истари заведено!
Должна она, еще до зорь вставая,
Латать да стряпать, отдыха не зная.

(«Мать». Перевод К. Липскерова).

Мехтихан Векилов, брат поэта, раннюю кончину своей матери объяснял «бедностью, нуждой и скорбью по безвременно умершему сыну», вспоминал, как мать в сумерках, устремив взор к сельскому кладбищу, печально напевала-причитала баяты.

Нужда и недолга будили чувство ущемленности в детской душе. Взрослые не могли не видеть этого.

В день Гурбан байрамы — жертвенного закалывания у состоятельных сельчан — в доме царило веселье. Самед невольно сравнивал: у них на подворье не то, что жертвенного барана — петушка не слышь... Богатый соседский сын шеголял в каракулевой шапке и новой шелковой рубашке: «Отец в Тифлисе купил...». Самеду запомнилось, каким взглядом встретила его мать: она по глазам прочла, что у него творится на душе. Прошла в землянку, достала пододеяльник — из приданого, раскрыла ткань и сшила сыну рубашку: «Пусть не переживает».

Бывало, мать не выдерживала, отводила душу, сетуя на судьбу. Юсиф ага — у самого на душе кошки скребли — одергивал ее: «Не ной». В стихотворении «Мать» (в оригинале озаглавленном «Горе матери моей») поэт добавляет еще один штрих к портрету матери. Это — обида, нанесенная ей мужем в пылу земной вспышки безосновательной ревности.

...Так жизни молодой закатывался свет!
И женщина, скорбя, терпя вседневно муку,
От жизни отошла на вечную разлуку...

Тяжкая тишина воцарилась в осиротевшем очаге. Молчал и саз, висевший на стене. Юсиф ага места себе не находил, часами урюмо сидел на подворье, потягивая кизилую трубку... О чем он думал? О чем он зывал в ежедневных молитвах, взведавая руки к небу?..

Бабушка Айша взяла осиротевших внуков под свое крыло. Внуки были ей единственным утешением. Все бремя забот об очаге взвалила на свои плечи старая: и уборка, и готовка, и стирка, и присмотр за детьми...

Особенно неклался о Самеде, ведь чуть что — слезы в три ручья, совсем от рук отбился, на кладбище бегает, к материнской могиле, домой силой приходится тащить. Но надеялась старая: зарубецется рана, оттаит сердцем, в игры со сверстниками втнется, жизнь возьмет свое. И впрямь, подружился Самед с ребятишей, на куирское приволье стал ходить, копаются в зарослях тамариска, червячков на крючки насадят, рыбачат. Бывает, повезет — клонет лещ-другой, бежит домой мальчишка, ликующий, босой, «ставь сковородку». Юсиф ага в усы усмехается: «Кормилец растет».

В долгие зимние вечера Самед, как зачарованный, слушал бабушкины сказки. Одной из любимых была, конечно, сказка об отважном Мелик-Мамеде, сыне падишаха.

...Вот храбрый Мелик-Мамед ночью, не смыкая глаз, караулит и страшного дива-великана, пожирающего волшебные яблоки в саду падишаха. Под утро гром гремит, рев раздается, земля содрогается — огнедышащий див явился.

— Бабушка, а он убьет Мелик-Мамеда? — не выдерживает внук.

— Послушай — узнаешь.

...Див повержен, за ним и два других чудища. Сказочный богатырь вызволяет из подземного заточения трех пленниц-красавиц. Но братья-завистники отрезают веревку, когда приходит черед вытаскивать из колодца его самого...

— Бабушка, а зачем они отрезали веревку? — просто-душно допытывается внук.

Задумывается старая.

— Боялись, что отец станет любить его больше, чем остальных братьев.

— Див — плохой. Он крал волшебные яблоки, мучал пленниц, и Мелик-Мамед убил его. А люди — разве они бывают плохими?

— Бывают, детка, бывают.

Сказка продолжается... Герой оказывается в царстве тьмы и спасает пленцов волшебной птицы Симург от прожорливого дракона. Симург помогает спасителю своих

детенышей, возвращая его в царство света... Мелик-Мамед выводит на чистую воду вероломных братьев и соединяет судьбу с возлюбленной, и, конечно, свадьба длится сорок дней и ночей. Порок наказан, добродетель торжествует. Мелик-Мамед счастлив. Счастлив и слушатель: страхи, волнения позади... А потом приходят сны, и маленький сельский мальчуган видит себя на крыльях сказочной птицы Симург, и дух захватывает от головокружительной высоты.

Наутро старая Айша наблюдает за внуком, оседлавшим хворостину, тот размахивает деревянным мечом. Ласково и понимающе усмехается Айша.

Душа детская — неисписанная, чистая страница. И на ней запечатлены первые уроки добра, справедливости, милосердия. Правда и кривда, добро и зло, — в народном сознании сталкивающиеся в вечном непримиримом противоборстве, позднее преобразятся в вургуновских созданиях.

СЕЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

Тяжко было Юсиф аге без Махбубы — хранительницы очага, вечной труженицы. Родня уговаривала жениться снова. Противился всем сердцем, всей памятью. Но каково Айше таскать полный кувшин на себе из родника? Кормить, поить, обаживать детей?

Сдался. Пришла в дом новой хозяйкой Тукелбан, дочь Агверди аги из соседнего селения Даш-Салахлы. С тех пор Айша к зятю — ни ногой. Задело ее за живое: забыл, значит, дочь.

А Самед ошенился, замкнулся. Мачеха к нему и так, и этак, терпела капризы, за могилу ходила с ним — к родной матери. В конце концов добротой и лаской удалось ей подобрать ключ к сердцам братьев-сирот.

...Шел 1913 год. В середине августа сельские люди, как это бывало каждый год, стали перебираться с горных эйлагов* домой, в низину. По Дилижанскому ущелью потянулись шумное кощевье. Ржание коней, блеяние и мычанье стад, скрип колес, гиканье и смех молодых удалыцов — все смешалось. Волы с натугой тянули повозки с войлоком, коврами, утварью, постелью, прочими необходимыми пожитками. Женщины, дети — на арбах, мужчины — верхом, по обочине, с ружьями на плечах. Потучневшие, нагулявшие жирку стада заполнили дорогу.

Юсиф ага следовал рядом с арбой, выпрошенной у родича, — своей не было. Поглядывая на сыновей, примостившихся на поклаже, он обратился к жене:

*Эйлаг — летнее пастбище.

— Тукезбан, пора и Самеда в школу определить. Только вот не знаю, — лукаво покосился на младшего сына, — осилит ли грамоту?

— Осилю, отец! — живо отозвался Самед. — Не веришь?

— Верю, верю... — поспешил отец успокоить мальчика.

Самед ликовал, значит, ему скоро мать сошьет сумку для книжек, тетрадей, и отправится он в школу Ахмед аги Мустафаева.

...До начала занятий оставались считанные дни. Родители будущих первоклашек, столпившихся во дворе, почти-тельно здоровались с директором, добрым и обходительным человеком. Его взгляд остановился на тщедушном чернявом мальчугане.

— Как тебя зовут, сынок?

— Самедом.

— Чей будешь?

— У суб аги, — мальчик вскидывает глаза на усмевающегося отца.

— Знаешь какие-нибудь стихи?

— А как же.

— Прочти.

Самеду не приходится напрягать память. Приосанившись, он выпаливает, как на торжестве:

— Молла Панах Вагиф, «Журавли».

Задержите в полете удар крыла:
Слово есть у меня для вас, журавли,
Вереница ваша откуда летит?
Начинайте об этом рассказ, журавли.

Очарован вами высокий Багдад.
Он прилету вашему будет рад
Вы широкими крыльями бейте в лад,
Не роняйте перо в этот раз, журавли.

Я с возлюбленной милой давно разлучен,
Словно бабочка, я красотой сожжен.
Я ницу кареглазую среди жен,
Не видали ль вы этих глаз, журавли?..

(Перевод Б. Луговского).

Лицо директора, слушавшего это воодушевленное чтение, светится улыбкой...

Двухклассная земская школа в Салахлы считалась одной из лучших в Елизаветпольской (Гянджинской) губернии. Очень малая часть тогдашних сельских школ содержалась за счет государственной казны. Большинство их существовало благодаря добровольным сборам населения или отчислениям земств. Вообще в Азербайджане земств не было, но

по решению, утвержденному кавказским министром, часть земских поступлений выделялась сельским школам.

Салахлинская школа — детище ее основателя и первого педагога, татарина по национальности, Товхиддина Мамлеева, добившегося разрешения на открытие школы у попечителя Кавказского учебного округа 2 января 1875 года. Старожилы села хранили благодарную память об этом подвижнике народного просвещения. Мамлеев вел русский язык и ряд других предметов. Азербайджанский язык и шариат преподавал Абдулла Эфендиев. Многие их питомцы, впоследствии окончившие знаменитую Горьковскую учительскую семинарию, продолжили благородное дело своих наставников в закавказских школах.

Ахмед ага Мустафаев был одним из них. Он снискал доброе признание среди земляков и коллег как демократичный и даровитый педагог. В школу детей принимал, не взирая на сословные различия, пекся о способных детях из неимущих семей.

Нелишне напомнить, что в те времена обучение в начальных школах длилось пять лет и велось на двух языках — русском и азербайджанском.

Школьник Самед Векилов выделялся среди сверстников живостью, восприимчивостью к знаниям, сообразительностью.

В школьные годы проявилась его тяга к литературе, к поэзии. Учебники и хрестоматия тех лет приобщали детей к миру таких корифеев слова, как Физули, Вагиф, Мирза Фатали Ахундов, Мирза Алекпер Сабир, современных и здравствующих мастеров — Аббаса Сиххата, Абдуллы Шанка, Султан-Меджида Ганизаде. В переводах ребята читали русских, восточных и европейских классиков.

Однажды на уроке литературы речь зашла о стихотворении Гусейна Джавида «Сирота Энвер». Судьба юного героя разбередила рану Самеда. Осиротевший мальчик пропадает целыми днями на кладбище, оплакивая свою мать. Учитель, не знающий о причине его отсутствия и раздосадованный «нерадивостью» ученика, накидывается на Энвера с грубой бранью..., поднимает руку... Мальчик теряет сознание...

Класс слушал стихи, затанув дыхание.

Самеда душили слезы. И вдруг он почувствовал, как на плечо легла добрая рука:

— Не плачь, сынок...

Из «Горьких воспоминаний» узнаем и о другом эпизоде, оставшемся отметиной в отроческом сердце. Завелась у юного Самеда прирученная галка, неразлучно следовавшая

с ним на пастбище, куда он гнал животину, доверчиво при-
нимавшая пищу из рук. Вдруг она исчезла: огорчению под-
ростка не было предела. И вдруг — о чудо! — пернатый
приятель прямоком слетает ему на плечо. Но вскоре объ-
явился сын зажиточного соседа Нияз. «С ним трое слуг и
черная борзая» и потребовал:

— Галка — моя! Верни ее!

Самед — на дыбы. Нияз хочет отнять птаху силой. За-
вязывается драка.

Увы, не отразил я нападения

И растянулся на земле пластом...

— Убирайтесь, сукины сыны! — окрик мачехи обращает
нагласца в бегство. Придя в себя, Самед застает любимую
птаху бездыханной — подлый Нияз успел оторвать ей го-
лову, на клювике — кровь...

* * *

В далекое селение у Куры докатилось эхо разразившейся
мировой войны. Мертвящее дыхание империалистической
бойни несло с собой голод, нищету, смерть... Крестьяне цар-
ской окраины изнывали под двойным гнетом — местных
господ-феодалов и царских чинуш. Гнев забытых масс еще
не сжался в могучий революционный кулак. Одинокие бун-
тари, уходившие в качаги, вели неравную борьбу и гибли...
«Маленький Самед испуганно смотрел на нагайки началь-
ников, приставов, урядников и стражников, хлеставших по
спинам крестьян, и жался к отцу...», — вспоминал брат
поза. В семье Векиловых, конечно же, слышали о знаме-
нитом качаге Джахангире, дерзко и отчаянно сражавшемся
в горах, в лесах Караязы с карательными отрядами и про-
дажными местными наймитами, схваченным и кончившем
жизнь на виселице в Тифлисе в 1915 г.... Слышали и о
трагической участи революционера Амираслана Сулеймана-
ва, подло убитого в 1918 г., о расправе взбунтовавшихся
крестьян с жестокими беками-помещиками Зулькардовы-
ми...

Юному Самеду, наверное, не однажды приходилось ви-
деть бунтарей, «крамольников», «смутьянов», ведомых под
конвоем, подгоняемых в наручниках к местной тюрьме,
прозванной «башня Шакера».

Запали в память слышанные из уст отца слова, в ко-
торых сквозила выстрадавшая мудрость народа: «Отом-
ститесь зло... Злом вознесшийся праведным судом ниспро-
вергнется...»

В СЕМИНАРИИ

В 1918 г. Самед окончил сельскую школу.

Юсиф ага стал думать: что же делать дальше. Он меч-
тал дать сыновьям хорошее образование. В эту пору про-
изошло событие, которое помогло ему принять нужное
решение. Выдающийся просветитель, педагог и ученый Фи-
ридун бек Кечарли создал в Газахе первую в Азербайджане
учительскую семинарию на базе азербайджанского от-
деления Горькой семинарии. Создание семинарии было
вызвано тем, что Грузия и Азербайджан к тому времени
стали суверенными государствами (28 мая 1918 г.). Моло-
дая Азербайджанская Демократическая Республика в
сложной и драматичной ситуации (в стране шла война, го-
сударственные структуры делали первые шаги), заботясь о
национальном просвещении, приложила энергичные усилия
к созданию этого очага культуры. Преобразование отде-
ления в самостоятельное учебное заведение, переезд из Гори
со всеми необходимыми пособиями, библиотекой и оборудо-
ванием в тот неспокойный, наэлектризованный политиче-
скими бурями год был сопряжен с неимоверными трудностями.
Передовые люди близко к сердцу принимали заботы по
созданию семинарии.

Юсиф ага, беспокоясь о будущем сыновей, едет из
селения в уездный центр Газах, снимает комнату у частного
домовладельца. Мехтихан, старший сын, к тому времени уже
жил в Газахе, у обосновавшейся там чуть раньше бабуш-
ки Айши.

И вот братья, Самед и Мехтихан, предстали перед по-
жилым, солидным, пышущимся, с бородкой клинышком муж-
чиной в сюртуке и галстук, восседавшем за большим сто-
лом во дворе семинарии в обществе других учителей.

Полторы сотни желающих поступить в семинарию, а
мест — тридцать пять...

Человек в сюртуке окинул хилого Самеда скептическим
взглядом.

— Мал еще... пусть подрастет, поокрепнет.

Айша, пришедшая с внучатами на испытания, взмоли-
лась:

— Помилуй, Фирдун бек, паду к ногам твоим! Сирот-
ская доля — потому и хил.

Директор не сдается.

— Эх, Фирдун бек! — вдруг с недетской запальчи-
востью восклицает Самед. — Где тебе знать, что в этом
сердце! — и тычет себя в грудь...

Губы Фирдун бека трогает улыбка. Поколебавшись, он
поворачивается к Ибрагиму Эфенди Гаибзаде:

— Проверь-ка его...

Сентябрьским днем Самед с братом переступают порог подготовительного класса семинарии.

Шесть дней они жили в стенах семинарии-пансиона. Раз в неделю, по пятницам, они могли навестить родных, побывать дома. А приезжие отправлялись на прогулку по городу.

Конечно, Самеду-непоседе, привыкшему к сельской вольнице, непросто было освоиться с таким «оседлым» режимом.

Класс подобрался разношерстный, подросток Самед очутился в компании 15-, 16-летних парней. Мехтихан, старший брат и одноклассник, помогал ему на первых порах — как-никак успел и в Тифлисе, и в Газахе поучиться. И вот парадокс — Самед круглым отличником переходит во второй (тоже подготовительный) класс, а у его «опекуна» — переэкзаменовка на осень.

Подготовишка Самед пытлив, схватывает все на лету, «как ловчая птица», по свидетельству его учителя Алая Шихлинского. Вскоре Самед становится всеобщим любимцем, одноклассники и наставники души в нем не чают.

Юсиф ага работает в семинарии, и его тоже любят, жалуют, в обиходе называют просто: «Эконом-ами», то есть «Дядюшка эконом». Вот портрет отца Самеда тех лет: «Добрый был человек Юсиф ага, среднего роста, волосы, усы, борода поседели, от курения усы посередке желтые-желтые, все в нем — улыбка, тембр голоса, отзывчивый нрав, часто острое и толковое слово, казалось, передавалось Самеду», — вспоминал один из бывших семинаристов М. Поладов.

Из селения в уездный городок «переврался» и звонко-струнный саз, неразлучный спутник семейных печалей и радостей. И снова, как бывало, сыновья в полуподвальном наемном жилище, примостившись на жестком паласе, завороченно слушали родные мелодии, да и не только слушали: Самед, по желанию отца, не раз напевал гошму* «Старость», сложенную давным-давно, двумя столетиями раньше, ашугом Хаста Касумом, и переходившую из уст в уста, или щемяще-пронзительную, за душу хватающую мелодию «Яныг Керем», и оживал в памяти печальный и светлый дастан о самоотверженной любви ханского сына Керема к прекрасной христианке Асли, дочери Черного попа — Гара-

*Гошма — форма ашутской народной поэзии лирического или философского содержания со сквозной рифмой, пронизывающей все строфы четверостишия.

Кешиша. Между ними стена — нетерпимость к иноверию. Гара-Кешиш и слышать не хочет о том, что дочь его может соединить судьбу с «нехристом» — мусульманином. И перебирается с дочерью в другой край. Безутешный Керем пускается в долгие скитания в поисках любимой, изливая свою печаль в песнях, играя на сазе... Наконец, в далеких краях он находит желанную. Правитель, покоренный самоотверженностью влюбленного странника, повелевает попу выдать дочь замуж за него. Увы, в канун свадьбы злокозненный Гара-Кешиш прибегает к последней уловке — облачает дочь в заколдованное платье, и когда в брачную ночь Керем расстегивает пуговицы на платье, они застегиваются вновь, наконец, из груди Асли источается искра, Керем вспыхивает, горит огнем и обращается в пепел... Сорок дней оплавивает безутешная Асли любимого и, подметая его пепел, вдруг сама воспламеняется от тлешей под слоем пепла искры и гибнет... Розы, выросшие над их последним приютом, тянутся друг к другу и сплетаются ветви, соединяя их за чертой небытия...

Кем сотворен этот гимн всепобеждающей силе любви, вознесшей над разобщающей людей и народы темной враждой и рознью?..

Звенит и плачет мелодия, исторгнутая пламенным сердцем неведомого народного песнопевца-ашуга... И этот пламень чистой беззаветной любви, обратившись в эхо давно минувших дней, отзывается вновь и вновь в перзонах заветного сазы...

* * *

Самед-семинарист не только играл на сазе, но и музицировал на скрипке (это входило в учебную программу). И математика давалась ему легко, ныне одноклассники, глядишь, еще ломают голову над мудреной цифирью, теоремой, а он уже разгуливает в коридоре, подтрунивая над товарищами.

— Вам еще долго корпеть...

Или вечером подойдет, заложив руки в карманы:

— Ну у кого задача — незадача, дайте-ка вашему черному братцу...

При том усидчивостью Самед не отличался. Его одноклассник и друг Миркасам Эфендиев вспоминал: «Ни разу я не видел его готовящим, зубрящим урок. Конспектов не жаловал. А вот когда учитель вел урок — был весь вниман». Другой штрих — об уроках по музыке: «В то время как все под разными предлогами пытались отделаться от

этого урока, в классе можно было застать лишь педагога по музыке с Самедом.

Юный Самед преуспел в игре на скрипке и хорошо играл азербайджанские народные мелодии на этом инструменте. В ту пору очень популярна была оперетта выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» — арии и фрагменты из нее Самед любил до обожания. Учитель музыки Ляпин всерьез видел питомца будущим композитором или музыкантом. А математик Алай Шихлинский видел в юном семинаристе будущего коллегу-ученого... Однако ни музыка, ни «поэзия скучных чисел» не стали призванием Самеда. Его захватывала поэзия живой жизни.

Семена уроков Фиридун бека Кечарли, Юсифа Касумова падали в благодатную почву. Первый был выдающимся просветителем-демократом, признанным авторитетом, создателем первой научной истории азербайджанской литературы, членом Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики, а второй состоял в рядах тогда нелегальной партии большевиков.

Кто же из великих мастеров слова был кумиром юного Самеда? Кого он читал и почитал? Среди классических имен первыми впоследствии он назовет Вагифа и Пушкина.

Вагиф в известном смысле выполнил для родной поэзии ту же миссию, что Пушкин в русской. Он освободил ее от закостеневших канонов восточно-классической традиции, арабо-персидских художественных стереотипов, налета мистицизма, схоластики и чужеродной атрибутики, решительно подвел свою музыку к народно-речевой стихии и стал, таким образом, родоначальником новой реалистической школы. Была еще одна причина тяготения Самеда к Вагифу — ведь великий поэт был уроженцем этих же прикуринских благословенных мест, из Гырах-Салахлы.

Откровением для юного Самеда стала поэзия Пушкина. В числе первых очарований — «Буря мглою небо кроет...» «Как и Вагиф, он стал мне не только самым близким другом, но и моим учителем», — писал впоследствии Самед Вургун о «солнце русской поэзии».

120-летие со дня рождения Пушкина. Педагог рассказывает о творениях поэта, о его трагической участи...

— А знаете ли вы, кто впервые перевел Пушкина на наш язык?

Самед готов выпалить: «Аббас Сиххат». Но слово «впервые» смущает его. Юсиф муаллим извлекает из папки книжку с чуть пожелтевшей обложкой.

— Это — «Сказка о рыбаке и золотой рыбке». Переве-

дена и издана еще в 1892 г. И знаете, кем? Нашим директором. Да, да, Фиридун беком. Он же перевел Лермонтова, Чехова...

В глазах питомцев — радостное удивление и гордость за любимого педагога.

Какой щедрый, многоцветный, неожиданный мир раскрывался благодаря знакомству с литературой! Будоражили воображение сумрачный и возвышенный мир Гусейна Джавида, несколько отрешенная и гордая муза Мохаммеда Хади. И еще — прогрессивные художники турецкой поэзии — Тофик Фикрет, Нафик Кемаль, Абдулхак Хамид... Бунт против неправды, зла, косности, порыв к свободе, к счастью — это было так близко юному сердцу!

Часто повторял Самед строки Тофика Фикрета:

Мое отечество — земля, народ мой — род людской...

Вся человеческая суть, вся сила в том — я верю.

Мы ангелы, и джинны — мы: друтих на свете нет.

Мы превратим планету в рай, в счастливый дом — я верю.

(Вера Халюка. Перевод А. Ревича).

Первым азербайджанским романом, прочитанным Самедом, была «Боль душевная» Абдуллы Даванбекоглы, повествующая о горестной судьбе людей из низов. Его волновал рассказ Абдуллы Шаика «Кочевье». Он листал красочные номера знаменитого журнала «Молла Насреддин». Восхищался возвышенными страстями и силой духа Рустама и Сохраба — героев «Шахнаме» Фирдоуси...

«СОВЕТЫ ПРИШЛИ...»

Весть о свержении царизма докатилась до самых глухих окраин рухнувшей империи. В Азербайджане была создана демократическая республика, к власти пришли силы, которые возглавляла мусаватская партия, видевшая национальную будущность в утверждении буржуазно-демократической, суверенной государственности, в конфронтации с большевизмом и союзе с капиталистическим миром.

...В уездном Газаче у газетного киоска столпились люди. Взоры всех устремлены к Гаджи Мурат беку, тот возбужденно разглагольствовал:

— Видел я в Астрахани этих большевиков. В шлемах островерхих. Лютуют всюю. Детишек малых, говорят, поедают...

Киоскер рассмеялся:

— Бек, ты ври, да знай меру.

Бек оскорбился:

— Это — я-то вру?! Постыдился бы! Стану я рассказы-вать о том, чего не видел!

Поднялся шум. Их разняли.

Дома Юсиф ага объяснил:

— Брешет бек. Большевики конфисковали их посудину с товаром — вот и взбесился.

Понадобится трагический урок истории, чтобы народ осознал истинную суть большевистской экспроприации и мифа о классовых врагах... Но пока массы охвачены революционной эйфорией...

...Апрель 1920 года был на исходе. Газах взбудоражила новость. Советы пришли к власти.

Самед помчался в семинарию. Там собралось много народа. Учитель Юсиф Касумов, поднявшись на табуретку, говорил срывающимся от волнения голосом:

— Одиннадцатая Красная Армия вступила в Баку! Большевики победили! Мусаватское правительство пало. Власть в руках ревкома. Его возглавляет товарищ Нариманов. — Касумов достал из кармана листок бумаги. — Вот воззвание комитета к народу. Послушайте! — «Вся власть в стране перешла в руки трудового класса. Для азербайджанских рабочих и крестьян начинается новая, светлая жизнь! — Раздались хлопки. Юсиф муаллим выдержал паузу. — Я и сам — большевик. (Самед ахнул: почему они не знали об этом? В голове не укладывалось — учитель и... вдруг большевик. Ему казалось, что большевики — это какие-то особенные люди). Могу сообщить вам программу нашей партии. Земля будет отдана крестьянам. Они увидят плоды труда своего. Фабрики и заводы отнимут у хозяев-миллионеров и передадут рабоче-крестьянской власти...»

Кто-то из толпы недоверчиво бросил:

— Юсиф муаллим, ты-то за правительство не зарекайся. Еще неизвестно, как все обернется...

События развивались стремительно. В начале мая в Газахе был создан уездный ревком. Вскоре возобновились занятия в семинарии. Увы, Фиридун бека Кечарли не видеть. Его арестовали большевики. Выдающийся ученый и педагог был расстрелян. Уже не суждено было питомцам увидеть любимого учителя. Трагическая участь замечательного педагога потрясла всех. Самед втайне оплакивал его.

В то лето впервые семья Векиловых не выбралась на живописные эйлаги Дилижанского ущелья. Дорога была чревата опасностями. По слухам сюда шла 11-я Красная Армия. Сумятица царил и в Армении.

В начале июня части Красной Армии вступили в Газах.

Самед с братом, стоя на обочине, глазел на красноармейцев в шлемах и запыленных выцветших гимнастерках, маршировавших с песней, со знаменосцем впереди. Кое у кого ботинки были перемотаны бечевой, а подошвы отошли.

Сердитый окрик отца заставил братьев вернуться домой. Юсиф ага задвинул засов на воротах. Многие вот так, выжидая, притихли по своим углам. Ревком обходил дом за домом, устраивая бойцов на постой.

По воспоминаниям Мехтихана Векилова Юсиф ага принял у себя русоволосого красного офицера с женой. Единственную комнатушку перегородили ширмой посредине. В доме воцарилась недолгая тишина: постояльцы не знали азербайджанского, а хозяин не проявлял словоохотливости. Самед настороженно наблюдал за происходящим. Мачеха внесла самовар, поставила на поднос. Гость протянул алюминиевые кружки:

— Если можно, налейте водички.

Мачеха поняла не по словам, а по жесту. Налила и кипятка, и заварки.

— Не надо беспокоиться.... Нам и кипятка довольно...

Собственно говоря, постоялец поспешил с просьбой: с гостями, по освященному веками обычаю, полагалось поделиться последним куском. Переступил твой порог — друг ли, недруг ли — а гость есть гость. На скатерти, разостланной поверх паласа, появилась нехитрая снедь: домашний чурек, соленый сыр, виноградная патока — дошаб и изюм — все, что бог послал в ту неласковую, скудную пору. Мачеха ткнула локтем Самеда:

— Пригласи их.

— Садитесь кушать с нами, — юный Самед не без удовольствия воспользовался познаниями русского языка...

Постояльцы перешли через «демаркационную» занавеску, извлекли из вещмешка краюху черного хлеба, шмат сала, сахар. Перекусили сообща.

Старший брат Самеда запомнил еще одну подробность о том вечере. «Отец был заядлым курильщиком. Но в те дни табаку не сыскать было, мучился бедняга. Гость это почувствовал: «Курите?» Отец ответил кивком. Гость тут же высунул шепотку махорки. Отец поблагодарил: «Испасибо». И, скрутив самокрутку, закурил жадными затяжками. Даже глаза засняли. Некоторое время молчали. Отец вдруг повернулся к нам: «Ребята, да эти, похоже, божьи люди». Самед не удержался от подначки: «Прежде ты говорил, что русские — гяуры, а как дали махорку — так сразу и «божьи люди»? Отец сверкнул глазами: «Помолчи, смекнут еще, неудобно...»

В этом был весь Самед — с его прямодушием и неличе-

приятностью. Сейфулла Шамилов, товарищ юности, вспоминал, что юный Самед рубил правду-матку в глаза, это было свойством его натуры. Как-то пришлось Юсиф аге продавать коня. Купил тощим, откормил, выхоллил — и теперь хотел сбыть подороже, нужда заставила. Лукаво расхваливая покупателю коня, он положил руку на плечо сыну: — Клянусь его жизнью, сам за семьдесят пять рублей купил.

Самед не выдержал:

— Аксакал, а неправду говоришь. Разве не за пятьдесят пять купил?

Сконфуженный отец ни словом не попрекнул разоблачителя-сына, напротив, дома покаянно признался: «Ложь — грех. Нужда, будь она проклята, заставила».

Или еще эпизод: Фотографировались как-то в семинарии. Самед ростом не вышел — усадили впереди, а башмаки «каши просят». Учитель мягко попросил, мол, подбери ноги. И услышал неожиданно гордый ответ:

— Если сниматься в дырвой обуви зазорно, так дайте новую. ...Самед, владевший русским лучше остальных членов семьи, чаще и общался с русским постояльцем, подружился с ним.

В те жаркие летние дни при УКОме учредили учетный отдел, куда подрались работать несколько семинаристов, в их числе братья Векиловы. Эта служба способствовала, как тогда говорили, «росту революционного энтузиазма» у молодежи. Слушая разговоры вокруг выступления председателя УКОма Гаджиева, товарища Мухтара, других большевиков, Самед загорался мыслью вступить в отряды бедноты или в ряды красноармейцев и немедля отправиться «громить буржуев». В УКОме он услышал и о создании Комбедов, которые раздавали землю безземельным крестьянам.

Семинаристы-укомовцы получали жалованье в так называемых бонах. И хоть бонов этих набегало на миллионы рублей, на них мало что можно было купить.

...Однажды в середине июня в комнату, где трудились молодые помощники новой власти, постучался русский человек в кожанке, спросил, как пройти к председателю УКОма. Прошло немного времени, и он снова появился в комнате, но уже в сопровождении товарища Мухтара.

— Ребята, — сказал Гаджиев. — Товарищ Иванов прибыл из Баку. Комсомол хотим организовать в уезде. — Он объяснил смысл этого чудного, незнакомого слова, цели и задачи новой организации и неожиданно предложил: Я всех вас хорошо знаю. Вот мы с товарищем Ивановым и

условились: первую ячейку сплотим из вас. Первую во всем Газахе.

Они скорее прочувствовали, чем поняли, что в политических премудростях не были горазды: им доверяют важное, настоящее дело.

Под черешней во дворе провели первое учредительное собрание. Отобрали человек десять. Дошел черед до Самеда, и тут заковыка вышла: Иванов стал возражать, — возраст еще не подходит, да и с виду шупленький. Так же было при поступлении в семинарию. Но отвергнутый кандидат выказал завидную настойчивость. Иванов согласился.

Они взялись за дело — начали перво-наперво молодежь из бедноты, батраков, нукеров в комсомол привлекать.

...Минуло жаркое, насильственное бурными событиями лето. Начался новый учебный год. Семинарию переименовали в педтехникум. Трагически погибшего директора сменил на посту Ахмед бек Мустафаев. Юсиф Касумов ушел на партийную работу, уступив свое место Мирзе Эфенди Велизаде. Новшества — самодеятельный хор, драмкружок. Самед снискал признание чтеца-декламатора, блистал в инсценировках. Клуб, где раньше находилось казино, предоставили самодеятельной молодежи. Народ потянулся к новому очагу культуры.

По воспоминаниям и свидетельствам мы можем представить репертуар драмкружковцев: здесь и «Невеста», «Шамдан бек», «Бахадур и Сопа» Наримана Нариманова, и музыкальные спектакли по операм «Лейли и Меджнун», «Асли и Керем», и оперетта «Не та, так эта» Узеира Гаджибекова, и пьесы «Фахралдин-горемыка» Наджаф бека Везирова. «В тени дерева» Абдуллагима Ахвердова, мольеровский «Лекарь поневоле...»

Самед был душой кружка, заводилой, организатором. Он играл роли Меджнуна, Керема, приходилось ему выступать и в женской роли Гюльохры из «Аршил мал ала-на». Кстати, напомним, что мужчина-травести в ту пору в азербайджанских труппах был явлением распространенным. Тому причина догмы шарната, возбранявшие мусульманке показываться на миру и уж, боже упаси, заниматься прилюдным лицедейством. Юная Шовкет Мамедова, впоследствии народная артистка СССР, дерзнувшая выступить на сцене оперного театра в Баку в 1916 г., спаслась от фанатичных блюстителей адата тем, что ее прямо со спектакля увезли из города.

Силенок хватало на одноактные пьесы, а из больших, классических играли отдельные сцены. На каникулах и в выходные дни «театр» выезжал «на гастроли» в окрестные

села, погрузив на арбу нехитрый реквизит. Иногда обходился и без сельского «транспорта», топали на своих двоих.

В феврале 1921 г. самодетельные артисты Газакского комсомола оказались в селении Асланбейли. Единственно подходящим помещением для выступлений там оказался дом сельского священнослужителя Гаджи Эфенди. Пошли во главе с учителем Мирза Эфенди Велизаде к «святому отцу». Гаджи, конечно, опешил от неожиданной просьбы, замаялся; каково предоставить ему, почтенному ревнителю шарията, свои покои комсомольским «комедиантам»? Встарь бы их камнями забросали, голя безбожную. Но тут Гаджи счел за благо уважить, видимо, решил не портить отношений с пришельцами, что ни говори, а за ними — власть. «Что ж... милости прошу...» Да еще велел сыну созвать мюридов-пастырей на спектакль, «ведь комсомол пожаловал в гости».

Молодые артисты сыграли смешную пьеску, прочли стихи, спели сатирические куплеты. Сamed исполнил арию из «Асли и Керема». Сцена и зрители-мюриды являли контраст: мир новый и мир старый. Мюриды, привыкшие радеть в молитвах в подвале у Гаджи, отправлять ритуальные мистерии до одури экстаза, «внушавшие» им единение со всевышним, теперь взирали на невиданное и веселое действо, заражавшее их неподдельным любопытством и восторгом.

После концерта гостей пригласили на ужин. Гаджи не поскупился на угощение, и сын его всячески угождал молодым талантам. Вдруг вошел нукер и сообщил хозяину: — Ага, товарищи приехали.

Донесся цокот копыт, ржанье коней. Гаджи не на шутку возмущался. Велел запереть двери, погасить свет, вопреки возражениям и уговорам учителя. Пришлось ужинать при свете каминных бухар. В ворота постучались. Отпирать не стали. Снова стук — настойчивее. Мирза Эфенди упросил открыть ворота. Вскоре в дом пожаловала дюжина красных бойцов. Примостились в стороне. Учитель по-русски предложил им разделить трапезу. Гаджи с нарочито смиренным видом наблюдал за ними...

Наутро проснулись артисты — ни красноармейцев, ни хозяина нет. Солдаты ушли с частью в Грузию, а Гаджи с перепугу ночью удрал в сторону Турции.

Двинулись в обратный путь, по всей равнине пылили красные конники. Ехали на запад, в Грузию, там шли ожесточенные бои с войсками меньшевистского правительства. Под городом им встретился другой отряд с обозом — везли тела погибших бойцов. Медленно скрипели арбы с гробами... Похоронили павших в братской могиле, митинг провели,

печально и горячо говорили ревкомовцы, большевики... Среди погибших был и давний русский гость — офицер...

Быть может, здесь, в те скорбные минуты, революция предстала молодому Самеду другим, трагическим и зловещим ликом, который позднее поколеблет непогрешимость своих вершителей и, вообще, идею свободы, принесенной на штыках, и это аукнется потом в «Скале Аслана» «крамольным» вопросом русского солдата, пришедшего покорять Баку с царским воинством: «Зачем пришел я в чуждые края?»

...Учеба, конспекты, воинская читальня, курсы ликбеза — голова шла кругом от дел у комсомольца Самеда. А тут еще в члены УКОМа комсомола избрали.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

Лето 1922 г. оставило в юной шестнадцатилетней душе неизгладимый след, позднее не однажды отзывавшийся светлой и шемящей нотой в поэтической лире...

После двух лет перерыва семья Векиловых вновь переехала в Дилижан. Жили в прежней постройке. Здесь же, на горном приволье, расположились семьями многие земляки, в том числе и именитый Асад ага, обитавший в двухэтажном особняке у дороги на Ереван. Сamed знал эту семью — ведь бабушка Айша проживала у них в городском доме.

Вот и в Дилижане решил он навеститься к ним. По дороге встретился ему младшая дочь Асад аги. Дюрра. Перекинулись словами о том-о сем, идут рядышком, и тут юный Сamed ощутил неизъяснимое смутное волнение, — похорошела, заневестила Дюрра, и как ей идет румянец на смуглом лице... Никогда прежде не испытывал он такого чувства. Раньше были невинные забавы, игры в прятки, в скакалки, проказы; закатав штанины и подолы, ловили рыбу в горной речке, ходили-бродили по окрестным лесам, собирали чебрец, малину... Случалось, из мальчишеского озорства, Сamed дразнил ее, перепачкавшую рот, лицо ежевикой, «чернушкой», та за ним, не догонит и — в слезы, или за колючки дернет, ненароком обидит, и избалованная Дюрра бежит к матери плакаться, но отходчиво юное сердце, и вновь их захлестывала шедрая беспринципная радость. Хотя и Дюрре доставалось от него, но за этими наивными мальчишескими выходками, стремлением досадить, вывести из себя прелесную гордичку, быть может, угадывалось неравнодушное сердце...

Как-то заметив в стайке школьниц Дюрру, неловкий

обожатель легонько уколел ее иголкой, был вызван в учительскую и выслушал угрозу раздраженного учителя Ахмед аги: «Веди себя пристойно! Не то возьму тебя за ушко и покружу по всему Газаху...» Сamed за словом в карман не лез. «Во всяком случае, и вам придется со мной покружиться...»

В это время все предстало по-иному. Сamed уже не мог озоровать и дурачиться с ней, как прежде, чувствуя странную скованность. Томился без нее, устремлялся к роднику — традиционному месту девичьих сборов-разговоров. А встретится лицом к лицу — язык не слушается, пробормочет что-то о неobligательных вещах, вроде и сказать больше нечего. Взгляды говорили больше слов. Дюрра читала по глазам смущенного друга, что у него на душе, но держалась как ни в чем не бывало, знай себе лукаво улыбается, кокетливо, быть может, нарочито весело посмеивается. Между ними возникло, без высказанных слов, тонкое, хрупкое затененное притяжение. Это почувствовали и сестра Дюрры, Валида, и брат Сamed. Да и не только они. Пылкий по натуре Сamed не умел скрывать своих чувств.

Он замкнулся в себе, стал искать уединения, неприкаянно бродил по округе.

Да, это лето было необыкновенным, и горчило на душе, и заходила она сладостной болью.

А тут заболел отец, положили его в дилижанскую больницу. Состояние отца было тревожным. Сыновья не покидали его. Однажды врач отозвал старшего сына в сторону и сообщил, что надежды на исцеление нет. Мехтихан утаил от младшего брата этот тяжкий приговор. Но Сamed и без того видел и чувствовал, что отец угасает, однако противился всем сердцем страшному предчувствию, отчаянно цеплялся за призрачную надежду. Сам Юсиф ага осознавал, что жить ему остается недолго, но крепился и пытался приободрить сыновей: «Не бойтесь, хворь моя пройдет, Аллах да поможет».

Однажды ему полегчало. Сыновья, было, воспрянули духом. Но отец вдруг неожиданно тихо произнес:

— Я отхожу, дети мои...

Последней волей его было: просить прощения у старой Айши...

* * *

В Газах братья вернулись с бабушкой. Перебралась в город и семья Дюрры. Сamed стал жить у Айши-нэнэ,* в

*Нэнэ — бабушка.

подвале дома Асад аги. Два чувства терзали его юное сердце — боль недавней утраты и печаль неразделенной любви... Как-то, увидев Дюрру, прогуливавшуюся в саду во дворе, он подошел к ней и открыл ей свое сердце. Она потупилась, оставив его признание без ответа, и поспешила уйти. С тех пор она избегала встреч с глазу на глаз.

Он по-прежнему не мог, да и не старался таить свои чувства, часто изливал душу перед закадычными друзьями. По техникуму пошли разговоры. Дошли слухи и до родителей его избранницы. И тут случилось непредвиденное: Дюрра перевелась на учебу в Баку, в новооткрытое педучилище. Угадывалась отцовская воля: верный способ пресечь разговоры, да и юный обожатель, может, остудит свой пыл, мол, с глаз долой — из сердца вон...

Увы, разлука усугубила его терзания. Боль искала выхода. Он потянулся к перу и бумаге, поверая сокровенное. Самые первые поэтические опыты Сamedа нам неизвестны. Из свидетельств его сверстника и друга поэта Османа Сарывелли явствует, что Сamed выступал со стихами в техникумской стенгазете «Телебе эфкары» («Студенческая мысль»), выходящей в 1922—1923 гг.

Жажда увидеть Дюрру приводит Сamedа в Баку. Он останавливается у родственницы, директора женского педучилища Медины Гиясбейли. Пишет пыльные медригалы и передает своему кумиру. Послания остаются без ответа. Во избежание пересудов Дюрра на глазах сестры и подруг (среди которых было немало и землячек) рвет поэтические «ульки». Это равнодушное, показное или неподдельное, повергает гордого Сamedа в отчаяние. «Сamed все больше взвизгивался», — вспоминал брат Мехтихан. — Сказывалось воздействие «Лейли и Меджнуна» и других дастанов о любви... Отрастил длинные космы, не умывался, ударился в толстовство, не прикасался к мясному и впадал в прочную подобную блажь... Он ласкал животных и нередко свою пищу скармливал собакам и кошкам». Странности Сamedа у многих вызвали смехи, к нему прилепилось прозвище «Дели Сamed», то есть шалый, блажной...

Сердобольная Айша пыталась вразумить внука:

— Дитя мое! Не выдадут они дочь за тебя. Мы-то ведь в подвале у Асада-хозяина ютимся... Не срами нас на миру, не язви встречного-поперечного, брось упрямиться...

Вспылил Сamed и... ушел куда глаза глядят. Как в воду канул. Старший брат с ног сбился. Через несколько дней прознал: видела его в Дилижане. Зная нрав младшего брата, раздумал ехать за ним: «Отойдет сердцем — сам вернется».

«Как Меджун скитался в пустыне, так и Самед сбегал в горы». Но долго пребывать в отшельниках он не мог. Юная кипучая натура брала свое, ведь кругом яростно колола, бурлила «революционная новь». Не усидел Самед в затворниках. Явился в Дилижанский уездный комитет комсомола: так, мол, и так, хочу работать.

В селах, где преимущественно жили азербайджанцы, ощущалась большая нужда в кадрах для советской и комсомольской работы. Самеда направили в округ Гарагоюнлы. Жить ему пришлось в горном селении Гара-гая. Природа в тех краях не поспешила на красоту. Селение раскинулось на склоне горы Союг-булаг. Внизу звенел говорливый Терсе-чай, окрест — зеленые сады, кристально прозрачные родники, леса. Краса гор напоминала ему Дилижан.

«Я вновь тебя увидел, Дилижан...»

Энергия Самеда буквально заражала окружающих. Он умел быстро сходить с людьми, находить с ними общий язык. Он для всех был свой. Собирая парней, он учил их грамоте, растолковывал решения и декреты. Все знали: Самед горой стоит за правду. И потому люди в нем души не чаяли. Но, разумеется, и врагов наживал.

Как-то в уезд он отправился на коне зажиточного святоши-гаджи. Дорога дальняя. Загнал скакуна. Гаджи рассердился:

— Эй, Векилов, куда ты узду подевал?

Семнадцатилетний седок ничуть не смутился:

— Какая-токая узда еще?

— Брось, парень... Мало того, что гnedого загонял, ты и узду посеял...

— Послушай, гаджи, я вот думаю, отчего это тебя до сих пор не прихлопнули, — уязвил Самед. Гаджи мгновенно онемел.

— С какой стати... меня... Я ведь не хан, не бек... У нас в селе сроду не было никаких-таких господ. Все, как есть, чернь. Все подать платили властям...

Самед почувствовал, что, пожалуй, перегнул палку, не стоило бы так круто...

И снова он садился в седло, на комбедовскую заемную лошадь, и — в путь, по гейчинским горным весям, агитировать в комсомол.

— А хватает жалованья комсомолу?

— А может ли комсомол твою жалобу рассмотреть и обидчика посадить? — сыпались простодушные вопросы.

Самед, конечно, знал, что гейчинские края — родина знаменитейшего ашуга Алескера. Самед познакомился с его родственниками, перенявшими искусство устада.* Частенько часами сидел с ними за беседой.

Нередко волшебный певучий саз в его руках становился незаменимым «агитатором». Вспоминают такой случай. В Аг-булаге комсомольцы во главе с Самедом остановились в доме жителя по имени Каблэйи-Аслан. Самого хозяина дома не было. Однако его младший брат оказывал комсомольцам содействие, собирал молодежь, в точности исполнял любое поручение. На другой день вечером в доме появился тщедушный, застенчивый паренек среднего роста.

— А где твой саз, ашуг? — спросили у него ребята, собравшиеся на комсомольское собрание.

Цепкий взгляд Самеда устремился на пришельца.

— Я тоже ашуг, братец, беги за сазом, сражусь с тобой. Комсомольское собрание превратилось по существу в меджлис* саза. Еще пару сазов принесли, кто поет, кто небыллицы-гаравелли рассказывает. Творческий вечер, одним словом. Самед заворожено слушал поющих, наблюдал за играющими, а то и сам брался за саз. И это было ключом к сердцу людей.

Молодые избиратели двенадцати сельских ячеек назвали его своим делегатом на съезд комсомола Армении. Республиканский съезд делегировал его на закавказский съезд. А затем ему было доверено представлять комсомол на Всесоюзном форуме.

...Из Тифлиса в Москву ехали через Баку. И вот поезд двинулся в путь. Из окна ему предстают родные края. И тут происходит непредвиденное. С мальчишеской бесшабашностью, забыв обо всем, Самед сошел с поезда и напрямик двинулся в город, к бабушке Айше...

Недолго оставалось ей жить. В ноябре ее не стало. Эта утрата вновь осиротила братьев. Хотя и повзрослели они, возмужали, старшему двадцать один, младшему семнадцать, а все ж не доставало им материнской, женской заботы... Двоюродная сестра, дочь тети по отцу, Хангызы Векилова, взялась опекать братьев. Они звали ее запросто «баджи» — сестра.

* * *

За месяц до выпуска студентов отправили на практику в Баку, в педагогический институт.

*Устад — мастер.

*Меджлис — собрание, здесь — состязание исполнителей.

И вот — шумное многолюдье большого города, лекции, общение с педагогами. Весь институт жил радостным ожиданием: на первом выпуске будет присутствовать товарищ Нариман Нариманов — председатель ВЦИК. Самеду уже удалось видеть этого руководителя, когда однажды техникум посетила азербайджанская делегация, возвращавшаяся из Тифлиса, с сессии новосозданной Закавказской федерации. Самеду даже пришлось отвечать урок в присутствии знаменитого гостя.

Выпускной вечер состоялся в одном из лучших зданий города, встарь называвшемся «Исмаилийе». Выступали педагоги, выпускники. И вот слово предоставили Нариману Нариманову, встреченному аудиторией с восторженным энтузиазмом. Он говорил просто и емко, призывал нести в массы освобожденного трудового народа свет знания, воспринимать юную смену достойными гражданами, прививать ей любовь к родному языку, к родной земле, «к социалистическому Отечеству».

Первые ласточки педагогической интеллигенции республики были полны радужных надежд...

УЧИТЕЛЬСТВО

Селение Второе Шихлы расположено к западу от Газаха, у дороги на Тифлис, неподалеку от Грузии. Чуть поодаль несет свои воды Кура, умерившая свой бег после недавних крутых горных перекатов и излучин, окруженная поименными лесами Гараязы. И все это так близко и родственно приволью селения Гырах-Салахлы, колыбели Самеда.

На отшибе стоит скромная постройка — школа. Учителей всего-навсего двое. Самед стал третьим. Встретили-приветили честь по чести, а вот с жильем — беда. Нашли выход: приютили новоприбывшего в одной из школьных комнат. Перетащил он туда свое нехитрое добро — скромный коврик-килим, постель, книги. Койка, стул, стол — вот и вся мебель. А что еще нужно молодому учителю, жаждущему «сеять разумное, доброе, вечное»?

Он с жаром взялся за дело. С людьми сходился легко — искать контакта не пришлось. Молодой наставник вел себя просто, участвовал в играх и затеях, лихо состязался на скачках, в меткой стрельбе, увлеченно плескал хороводный танец — ялы. Иные из зажиточных кривили губы, мол, «якшается с голытьбой». А он отвечал:

— Веселиться — так всем миром. Пусть забавится и

званный, и драный. А то что ж, кто папаху заломил, тому и верховодить?

В конце свадьбы, глядишь, тойчи (распорядитель торжества) поименно воздаст хвалу присутствующим: «Да славится такой-то», а названные воздают за честь деньгой... Самед в пику вносил свой пай:

— Эй, тойчи, ты бы лучше почтил добрым словом бедолагу Юсифа, сироту Моткара!..

Таким его и знали шихлинцы — заводным, своимским, прямодушным. И мало кто догадывался, какие вихри бушуют в его душе, какая тоска находит на него в уединении, какая печаль исторгает из сердца пыльные, стремительные строки...

Но был и посвященный в его тайну, которому он повеял свои поэтические исповеди, учитель Шариф Багирзаде, тоже «грешивший» стихами и печатавший их под псевдонимом Шикесте («Увечный»). С ним Самед вел задушевные разговоры, с ним жарко спорил о поэзии, с ним дотошно разбирал газели чародея Физули... Шикесте чутко улавливал биение влюбленного сердца...

Вечер... Закатное солнце опускается за гряды виднеющихся вдаль гор. Угасающий багровый свет озаряет всю округу. В желтые паласы осенних листьев есть что-то прощальное. Любимая вдаль, в шумном городе. Безнадёжно любимая. Взор Самеда, присевшего на пенек в школьном подворье, устремлен вдаль. Вдруг он встал, словно спохватился о чем-то, глаза вспыхнули, губы зашептали:

Боль души твоей я перейму, Шикесте.
Друг, послушай, каким удрученным я стал;
Горек хлеб мой, измучено сердце мое —
Испускающим скорбные стоны я стал.

Много бедствий пришлось пережить мне в былом.
Я пятнадцать лет повстречался со злом.
Корень жизни моей подсечен влотором.
С той поры, как несчастным влюбленным я стал.

...Перебили крыло, чтоб летать я не мог.
Чтоб, плененный любовью, бежать я не мог,
О страданье своем рассказать я не мог.
От печали больным и смятенным я стал.

(Перевод Т. Стрешневой).

Адресат этого поэтического обращения сохранит сложенный вчетверо тетрадный лист, как заветную реликвию.

Биографы причисляют эти строки к истокам творческого пути Самеда Вургуня. Стихи долго не увидят света — слишком больно и узнаваемо было то, что выразилось в них, слишком заповедно и сокровенно.

Но не настолько Самед был поглощен своими душевными невзгодами, чтобы не замечать невзгод других.

...В холодный зимний день, поджидая ребятшек у школы, он подзывает к себе сжавшегося и продрогшего третьеклассника Мамеда Ширин оглы.

— Скажи-ка, у кого в селе можно раздобыть сырмятную кожу?

— У Мусы Курбанали оглы.

— Ладно, ступай в класс.

После уроков Самед отправляется к кожевнику, выменивает меру зерна на два куска кожи на чарыки — крестьянскую обувь. Передает кожу старшекласснику Мехти со словами:

— Отнеси Мамеду, пусть справит себе чарыки. Утром поглядел на него — зуб на зуб не попадает, ноги не держат, ооченели. Только, чур, не говори, что от меня. Скажи, мол, у вас дома лишний лоскут оказался, дарю.

...Заколоди бычка в селении — мясо стали продавать сельчанам. С пропитанием туго, народ и повалил.

Самед слышит разговор:

— Неладно случилось. Кузнецу Гасану не досталось. А у него, говорят, жена хворая лежит. Плоха. А что было делать?.. Мы-то не за зерно выдаем — наличными надо. Эх, не по-божески это, — сокрушался распреледывший говядину.

— А что кузнец? — полюбопытствовал Самед. — Так и ушел?

— Ну да. Нет, говорит, денег, где их взять.

— Уж ты не мог пару фунтов уступить? Свет не перевернулся бы.

Раздатчик смерил учителя сердитым взглядом.

— Скажешь тоже! Пару фунтов... Должник я ему, что ли? Или наши предки в пахх состояли?

— Тогда чего ты про Аллаха распинаешься, по-божески или нет? — отрезал Самед.

Купленное мясо Самед отослал кузнецу.

Еще был случай. Самед Векилов отправился в январе на конференцию учителей в окружной центр верхом, на занятию у кого-то лошаденке. Но не прошло и часа, как он возвратился обратно и отдал лошадь хозяину. Тут ничего не понял, пока не вернулись с конференции сослуживцы-учителя. Оказалось, по дороге, за околицей, Самед увидел ооченевшего в рубахе и драных чарыках пастуха. Несмотря

на уговоры и возражения спутников, скинул с себя пиджак, снял ботинки, передал пастуху, а сам остался в пальто и в калошах. На конференцию в таком виде он, конечно, ехать не мог, хотя за невяку его по головке и не погладили.

Альтруизм молодого учителя вызывал, порой, усмешки и укоризну благоразумных доброхотов: мол, свое добро не ценит, хлебу своему враг...

— Мне самому лучше знать, — отвечал Самед.

Вообще жизнь Самеда-учителя не обходилась без «ЧП». И зачастую это происходило оттого, что резал правду-матку в глаза, а это не всем, как известно, нравится.

В июне 1925 г., например, молодой учитель нелюбимой критиковал местное начальство на окружной конференции в Салахлы. Задетый этим выступлением председатель исполкома ударился в амбицию:

— Этот бывший бекинский сынок пытается учить нас.

Самед, вскочив с места, дерзко отпарировал:

— Послушай, Бахразалов, отец мой хоть и происходил из беков, но был человеком чистым и бедным, не нажил добра, обирая других, как твой отец!

Зал заседаний безмолвовал. «Этому Самеду пальца в рот не клади!» — перешептывались.

* * *

Время от времени Самед наведывался к старшему брату в Гянджу, где тот учительствовал и одновременно работал инструктором в уездном отделе просвещения. Мехти хан с двоюродной сестрой Ханкызы снимал двухкомнатную квартиру. Однажды, когда приехал Самед, Мехтихан собирался по делам на пару дней в Дилижан. Самед стал проситься ехать с ним: ведь в тех краях находился предмет его воздыханий... Старший брат пытался возразить: зачем бередить раны, давать повод лишним разговорам? Но не тут-то было.

— Нет, Гара! — так Самед обращался к старшему брату. — Поеду и — точка!

Предчувствие не обмануло Мехтихана. Самед на все лето остался в Дилижане, и при каждой встрече с Дюррой, где бы ни было, не стеснялся посторонних ушей, изъяснял ей свои чувства... Тщетно. Вновь он в сердцах рвет стихотворные посвящения, вновь пылкие речи натываются на глухую стену молчания, вновь любимые очи опускаются долу... Самед чувствует, что она равнодушна к нему. Он ревниво бережет цветок, преподнесенный ею, между страницами книжки.

Прекрасный цветок, ты волненьем обят.
Что это за трепет, волненье, скажи.
Души моей нежный наперсником мнят...
Ты — явь или только виденье, скажи...

Стихотворение «Цветок» родилось в те тревожные времена неприкаянной, смятенной души. Оно увидит свет много позже. А в печати чуть раньше, в мае, появилось другое, разительно отличающееся по тону и настроению, — «Обращение к молодым», опубликованное в газете «Ени фикир» («Новая мысль»), которая издавалась в Тифлисе. Разве это первый аккорд выдает внутреннее, личное переживание:

Моя похолодевшая душа
Надеждою на вас согрета, юноши...

Быть может, это попытка самопреодоления, преодоления личной боли, попытка, с поэтической точки зрения, декларативная, лозунговая:

Вы соловья земного цветника
У партии — вы правая рука...

Или:

Не вы ли человечества оплот?
...Питомцы революции, вперед...

Тем не менее, симптоматично, что в этом печатном дебюте обозначилось стремление к гражданскому самоутверждению, к социально-деятельному бытию. Это стремление в дальнейшем поможет поэту преодолеть лирическую драму.

* * *

В сентябре 1925 г. его переводят в селение Кёч-Аскер директором школы. Штат не ахти какой — опять же два учителя, уборщица, несколько комнатух. Проработал здесь Самед всего ничего — месяца четыре. Попали в немилость, досталось. На зимней конференции учителей его работу подвергли критике: и классы содержатся неоправданно, директор нерадив. Самед пытался оправдаться: мол, материально школе туго приходится, не на что даже метлу купить. Председатель уездного исполкома не нашел ничего лучшего, как надменно уязвить:

— Нет денег на метлу — так папайкой подметай.

В народе истария папайка считалась в ряду традиционных атрибутов чести.

Последовал ответ:

— Если пристало папайкой полы подметать, изволь сам своей драгоценной папайкой!

Дерзость дорого обоилась Самеду. У злопамятного уездного совчиновника нашлись подоплека. И в глаза и заглазно честили: «беский сын», «представитель чуждого класса». Обстановка стала невыносимой. Что ни день — палки в колеса. Доведенный до отчаяния Самед бросает все и уезжает в Баку. К тому времени работавший в Губе старший брат получает письмо — крик души: «Приезжай! Ночую на скамейках в Губернаторском саду...»

Мехтихан поспешил в Баку, нашел брата у одного из родичей и, выхлопотав разрешение в Наркомпросе, увез его в Губу. В середине учебного года Самеду дали несколько еженедельных часов по географии.

Жили братья на Бульварной, 12, в маленьком домишке. «Спали валеетом под одним одеялом... От перетягивания одеяла разорвалось...», — вспоминал Мехтихан.

Губинский уезд (ныне — район) — один из живописных уголков Азербайджана. Сам город Губа, утопавший в садах, раскинулся на северо-восточных отрогах Большого Кавказа, по обе стороны говорливого Гудял-чая. Кругом — лесистые склоны, а вдалеке, на севере, величаво высятся седоглавы Шахдаг. Нередко мечтательный учитель уединялся на берегу реки, погрузившись в созерцание чарующей природы, вечно заснеженного заоблачного Шахдага. Горы сопутствовали ему всю жизнь. Их неземное величие, их завораживающее спокойствие, чуждое суеты, не однажды воодушевляли его музу. Горы — собеседники его души, овеянные туманами, увенчанные белой фатой, — «соколиная обитель». Горы — это гордость, первозданная мощь.

О горы! Когда бы сподобился я
Величия и гордости вашей, в тот миг
Я счел бы счастливым, наверно, себя.*

Он ощущал душевную причастность к первозданной природе, к ее сокровенной жизни, к ее многообразным ликам. И горы — один из этих чудесных образов, и памятный сиз-мала Гейязан, и Шахдаг, и Делидаг, что в кельбаджарских краях...

От острых детских глаз учеников Самеда не могла ускользнуть раздумчивая, отрешенная мечтательность, посещавшая их наставника. Но они, конечно, не ведали о чувствах, обуравивших учителя, о стихах, предаваемых огню... «Буря таилась в его душе», — чувствовал старший брат. Думы его металлись между небом и землей, жизнью и смертью, воображаемым и сущим, унынием и радостью бытия...

*Здесь и далее стихи, кроме оговоренных случаев, цитируются в переводе Сиявуша Мамедзаде (ред.).

Из стихов тех лет сохранились немногие. Редко улыба-
лась его молодая муза... Написанная в Кёч-Аскере юмори-
стическая «Кобыла» — о лошади, совавшей в крестьянские
посевы и навлекавшей хулу на своего хозяина. В Гяндже
возник «Сокол», где лирический герой молит реюшую в
небесах птицу донести о его терзаниях любимой. Здесь
упоминаются два псевдонима поэта — «Душгюн» («Упавший
духом») и «Вургун» («Влюбленный, очарованный»). Послед-
нему суждено было стать окончательным и славным поэти-
ческим именем.

Душа Самеда бьется в силках неразделенного чувства...

Первые попытки выйти на социальные темы, откликнуть-
ся на литературные борения несут на себе печать деклара-
тивности. Он восстает, к примеру, против созерцательно ка-
мерной печали известного тогда поэта Ахмеда Джавада,
любующегося жемчужиной гор — озером Гек-Гель в одно-
именном стихотворении («Гек-Гель»).

Молодые пролетарские поэты с порога отвергали лю-
бые выражения и мотивы печали, уныния, самозамыкания,
романтической мечтательности; их критика нередко обрета-
ла политическую окраску; минор и печаль объявлялись упа-
дочничеством, присущим «отмирающим классам», «буржу-
азной интеллигенции». Эскапады Самеда в «Гек-Геле» ни-
как не вязались с его собственными, искренними, лири-
ческими исповедями.

Стихотворение «Гек-Гель» было предложено М. Векило-
вым редакции газеты «Гяндж ишчи» («Молодой рабочий») и
опубликовано. Впоследствии Самед признавал брату: «В
ту пору, ударившись в «комсомолничанье», по твоей милос-
ти я написал «Гек-Гель». Но, между нами говоря, «Гек-
Гель» Ахмеда Джавада намного превосходит мой «Гек-Гель»,
это подлинная поэзия...»

За стихотворением «Шуша» (1926) — новая веха биогра-
фии: Мехтихан Векилов назначается заведующим учи-
тельских курсов в Шуше, и младший брат посещает его
летом. Старинный город, возведенный на плоскостях, в
кольце головокруглых стремлений, ущелий и лесистых
склонов, являет образ естественной твердыни. В этом ска-
зывается точный глаз основателя города Панах-хана, в
середине XVII столетия избравшего это место центром хан-
ства. Сама горная природа надежно ограждала город от
вооруженных посягательств. Добавьте к этому крепостные
стены, опоясавшие Шушу. Здесь все дышит первозданной
красотой, памятью, легендой.

Можно представить очарование поэта, взору которого
впервые предстало это щедрое великолепие. Он дотошно
расспрашивает стариков об истории, посещает заповедный
родник Иса-булагы в окрестностях, Джидыр-дюю —
плато, где проводились скачки, дух захватывает от высоты
и простора.

Почему эта скала названа «Гыз гаясы» — «Девичья ска-
ла»? Легенда гласит: «Жил-был старый хан в этих краях.
На Джейраньем поле он встретил девицу — красавицу, при-
глянувшись, увел силой. Своя рука — владыка. Прекрасная
пленица ночью совершает побег из дворца — ее преследуют
стражники, она бросается со скалы, спасая свою честь...»
Позже, спустя десятилетие, услышанное отзовется поэмой
«Гыз гаясы». Куда бы ни ступила его нога — он вслушива-
ется в память родной земли, в ее песенное, поэтическое сло-
во. Будь это в Карабахе, в Гяндже, в Баку... Эхо этой па-
мяти — в поэмах «Легенда о роднике», «Скала Аслана»,
«Погибшая любовь», «Виселица».

Шуша — город его поэтических грез. Каждый раз, когда
речь заходила о любимом поэте Вагифе, он уносился вооб-
ражением в этот край, в далекие сны истории, в которых
проступали видения высокой и трагической судьбы поэта,
призванного на службу ко двору из Газаха, удостоенного
властительного ханского доверия, покрывшего себя славой
доблестных государственных дел, гражданина и поэта, пав-
шего жертвой придворных смут.

Посетив на Джидыр-дюю — месте былых ристалищ и
игрищ, могилу Вагифа, неужоженную, заросшую бурьяном,
прочтя на надгробном замшелом камне выбитое арабской
вязью дорогое имя, он, по свидетельству семинарского од-
нокашника А. Ахундова, произнес клятвенные слова: «Я
его воскрешу!»

Спустя двенадцать лет, в тридцать восьмом году, когда
на сцене с блеском пройдет премьера драмы «Вагиф», от-
крется сокровенный смысл этой клятвы...

Конечно, в те памятные мгновения на Джидыр-дюю
Самед не мог предвидеть, во что выльются его думы о
Вагифе, что и как напишется, но жажда увековечить до-
рогую тень, вырвать ее из забвения была неизбывной.

Сперва родились стихи. В Шуше находился тогда и
знаменитый Бюль-Бюль («Соловей» — так народ называл
своего любимого певца Муртуза Мамедова), уроженца этого
города. В доме отдыха проводился концерт. Бюль-Бюль спел
на мугамную музыку вургуновские строки о Вагифе.

Не сокрушайся, не горюй, милый мой поэт,
Чей на могиле стерт заветный след.

Рукой труда за чередой лет
Цветы взойдут над прахом дорогим,
И на ветру росу они прольют
На твой последний горестный приют.

Певцу рукоплещут, слушатели спрашивают: «Кто же автор стихов?» И вот на сцену выводят смущенного всеобщим вниманием смуглолицего поэта...

* * *

С осени 1926 г. пути-дороги разводят братьев. Мехтихан учится в Бакинском университете, Сamed учителем в Губе. Старая сердечная боль не унимается, выплескиваясь в стихи, обреченные на сожжение и забвение...

Горькое утешение находит он в минуты, когда наведывается к Валиде — сестре Дюрры, работавшей в Губе, в женском училище, вспоминает с ней былые дни юности, газаское приволье... Не без тайного умысла: может, обмолвится сестра о Дюрре, может, услышит он отрадное, ободряющее слово...

Как-то сослуживица Валиды учительница Хабиба Мадатова напомнила Самеду о случайной встрече в бакинском трамвае: «Едем с Дюррой, и вдруг — ты. Кондуктору говоришь: «Два билета». Тот удивился: «Ты же один». А ты в ответ: «Нас двое — я и моя мечта». Слушавшие этот рассказ рассмеялись, а Сamed поспешил уйти. Валида сердито выговорила неосторожному другу: «Просила же вас, придержи язык. У Дюрры дниаги обручение».

На каникулы молодой учитель умчался в Газах — по понятной причине вернулся сам не свой. Трудно было отрешиться от тягостных дум и на уроках. Потекли томительные дни.

В Губу — горный край — зима приходит рано. Повалил первый пушистый снег. Однажды, подходя к школе, он встретил почтальона: письмо из Баку, от брата.

...Медленные хлопья снега падают на страницу, исписанную знакомым, родным почерком. Мехтихан журит его за уныние, призывает отрешиться от туманных грез и «нюноших» излияний. Буквы расслаиваются перед глазами... Позже Сamed возьмется за перо и ответит пространным исповедальным письмом.

«...Ты призываешь меня к жизни, не так ли? Я — в жизни... Не отрицаю и признаю доныне безалаберно прожитую мной жизнь, сны, в которые впадал, влачась по земле и витая в облаках, лживые клятвы, что давал я тебе...

...Одно из зол опустевших, влекущих человека к бедствиям, — сомнение. Неумение видеть все как есть. Это-то и было тем, что перво-наперво повергло меня в смятение...

О чем ты, о чем ты сказал мне, о боже?
О жизни ли помнить на тибельном ложе?..

Этим двустушием я вкратце отвечал на одно из твоих писем... Что я хочу этим сказать — хочу выявить основные точки сегодняшней моей... жизни. То, что я стал на путь исканий — не показывает ли мое желание обновить жизнь? Верно, верно, до сих пор я задыхался в массе сомнений и пускал слезу по всякому поводу... Еще пример.

И ангелы, и нежные томления —
Мечтателей извечная стезя.
И ветер, обещавший каменя,
Я мнил печальной песней бытия.

Смотри-ка! Сколь ребяческая истина в противовес жизни!.. Может ли юноша, в душе живущий подобными химерами, стать человеком жизни... Исцеление должно начаться с одной-единственной точки. Путем новой жизни, а исцелителем быть мне самому (здоровая и сильная воля)...

Ошибаются те, кто разглагольствует: Сamed такой или сякой, им не узнать меня. Они меня знают в той мере, в той среде, в какой я выказал себя. Но я выказавшийся — это не я. Это — их грязное заключение. Дорогой мой, ты не изводишь, не терзай свою душу из-за той молвы. Ты гордишься, что сегодня насмеяются надо мной... Когда они смеются надо мной, смеюсь и я. Они воображают, что я смеюсь над самим собой... Ха!..»

Как живо предстают в этих строках, то сбивчивых, навивных и запальчивых, то сосредоточенно раздумчивых, то трогательно-участливых, движения мятущейся души, ее потаенные уголки, ее непредсказуемые преображения!

Сamed не только размышляет, исповедуется, он и утешает брата, переживающего за него, убеждает его (и себя!) в том, что он неуязвим для стрел досужих насмешников.

«Я хочу стать серьезным борцом, индивидуумом жизни. У меня есть подготовка. Опять же без твоей помощи — придется тяжело. Ты просишь моих стихов. Но я стыжусь, они **больные**. (Курсив наш — авт.). Они горькие воспоминания моего прошлого. Недавно хотел их сжечь».

Тем не менее, к письму он прилагает четыре стихотво-

* То есть молвы о «дели шайре» (Авт.).

рения—«Цветок», «Утренняя звезда», «Слезинка», «Странствие».

Письмо датировано 15 января 1927 г. Самоисцеление «путем здоровой и сильной воли» пока не удастся, обещания остаются обещаниями. Кто-то сообщает ему, что Дюрра вышла замуж за влиятельного, ответственного работника. Все надежды рушатся. Видения былого всплывают в памяти — семинарские годы, летнее дилижанское приволье, случайные встречи в Баку и последняя — в Газахе. Дюрра оказалась ему подавленной и пониженной, ему даже стало жаль ее. Но он не догадывался об обручении. Он сказал ей на прощанье: «Нас познакомит друг с другом та последняя встреча, которую придется жать годами». Эти слова оказались пророческими. Такая встреча произойдет: однажды, уже в зените славы, покидая под овацией зал после выступления, он встретит свою несбывшуюся любовь... И Дюрра полусмущенно-полусерьезно скажет ему: «Ты не очень-то гордись, Самед. Тебя поэтом сделала я и любовь твоя ко мне». Он сведет брови, вскинет глаза на нее, на ее мужа: «Коли так, что ж этот «господин» не станет поэтом?»

Но до этой встречи еще немало воды утечет.

Крушение надежд повергнет его в отчаяние. Он уже второй раз помышляет о самоубийстве. Первый — когда после укров и увещаний бабушки (мир праху ее!) — о том, чтобы выкинуть эту блажь из головы, отрешиться от несбыточной любви. О том случае рассказал Мехтихан Векилов: «Когда я вошел во двор, в глаза мне бросилось ореховое дерево в малиннике, сердце оборвалось — Самед повесился. Я завопил, как сумасшедший и, кинувшись к нему, обнял, подхватил. Он уже хрипел. На крик прибежала бабушка, мы развязали веревку и внесли Самеда на руках в дом. Мы успели спасти его от смерти. Старались, чтобы никто не прознал об этом случае, но вскоре весть разползлась».

Похоже, Самед сам и выдал тайну кому-то из друзей.

Из души его исторглись, быть может, самые пронзительные и горькие стоны.

О други, взирайте, я хворью сражен,
Сведите, молю вас, к подруге меня!
Коль с горького горя внезапно умру,
Земле не предайте, о други, меня!

Оставьте останки на вольных полях.
Пусть бурным потоком достанется прах.
Пусть буду развеян в далеких краях.
Пусть же узнают в округе меня!

О том, какие чувства обуревали сердце поэта, говорят названия стихов, написанные в то время: «Забудь», «Слезинка», «Жалоба», «Когда улыбнусь я»... Стихи его, помимо его воли и вне печатного обнародования, уже зажили своей жизнью, передаваясь из уст в уста. Об этом свидетельствует и стихотворение, две строфы из которого сберегла молва.

Быть может, читателю покажется, что мы слишком много внимания уделяем душевным невзгодам и драматичной первой любви молодого поэта. Но это тот случай, когда личностное и творческое становление, интимная боль и самопреодоление художника слились воедино. Для природно талантливой, поэтической натуры, каким был Самед, выстраданный душевный опыт со всеми испытаниями, терзаниями и несбывшимися надеждами стал мощной, подспудной пружиной самоутверждения, и личного, и творческого (здесь одно неразрешимо связано с другим), и потому слова, с улыбочкой сказанные уже признанному поэту прекрасной «виновницей» его былых тревог («Это... любовь ко мне сделала тебя поэтом...»), при всей их шутильной окраске, таили в себе известный резон...

«КРАСНАЯ ГЯНДЖА»

Прежде чем перелистать «гянджинские» страницы жизни Самеда Вургуна, нелишне упомянуть о летних курсах учителей в старинном городе Шеки, взошедшем на южных склонах кавказских предгорий, отмеченном своеобразным колоритом и исторической памятью, родиной великого мыслителя-демократа и художника слова Мирзы Фатали Ахундова.

Многие годы спустя, он посетит дом-музей Мирзы Фатали с А. Фадеевым, своим большим другом, и непритязательный спартаковский очаг напомнит русскому гостю обстановку дома В. Белинского в далеких Чембарах; и эта ассоциация наведет на мысль об истоках демократизма двух великих современников XIX века...

Неподалеку, в окрестностях, под могучим дубом покоится прах знаменитого Хаджи Мурата. Здесь побывал Дюма-отец во время кавказского путешествия. Здесь же — чудо нашего зодчества — ханский дворец, сооруженный без единого гвоздя и украшенный узорами-шебеке... Нетрудно представить, что молодой слушатель учительских курсов, заявляющий о себе в поэзии, неравнодушно прикоснулся к памяти этого края... За внешней канвой родившихся в эту пору стихов угадывается сквозя декларативный налет уверенно набирающая высоту поэтическая мысль.

Утверждение миссии учителя-подвижника — народного духа («Учительство»), память и новь земли («Шеки»), рецидивы отвлеченно-романтического порыва в утопически безбедные миры («Тем...» — переключки со стихотворением романтика Гусейна Джавида «Вдалеке...»), знакомые метания между небом и землей уже сменяются знаменательным предпочтением реальных забот («Еще прекрасней...»)

В декабре 1927 г. Самед получает новое назначение на работу — в Гянджу.

Тягучий речитатив муэдзина, ссылающего с минарета старинной мечети к молитве, и гудок текстильной фабрики; спяющие по улицам, словно тени, женщины в чадре и стайки веселых комсомолок в ярких косынках; митинги, энтузиазм... — таким предстал ему древний город. В разговорах часто слышится эпитет «красный» — «Красная Гянджа», «Красные перья»... Так называлось литературное объединение, сплотившее молодые силы пролетарской литературы. Филиал его был организован в Гяндже. Газета «Гызыл Гянджа» — «Красная Гянджа» — стала печатной трибуной, сплотившей вокруг себя молодые литературные силы.

Гянджа была колыбелью многих поэтов и литературных сообществ — меджлисов со времен великого Низами. В тридцатых годах минувшего столетия, например, здесь пел свои мудрые песни Мирза Шафи Вазех — наставник меджлиса «Дивани-хикмет» («Дом мудрости»). Тот самый Мирза Шафи, которого судьба свела с заезжим ориенталистом, предприимчивым и небезаламанным литератором Фридрихом Боденштедтом. Подолгу слушал Боденштедт восседавшего на коврик в келье мечети поэта. А, вернувшись на родину, в Германию, он издает книги «Тысяча и один день на Востоке», «Песни Мирза Шафи», а успех «Песен» превзошел все ожидания. Книга стала, говоря современным языком, бестселлером. И тогда Ф. Боденштедт, поддавшись лукавому искушению, решил причаститься к чужим лаврам и стал утверждать, что поэт Мирза Шафи — плод мистификации, авторство принадлежит ему, Боденштедту. За 40 с небольшим лет только в Германии «Песни» выдержали рекордное число изданий — 142!

Прошло столетие. Иные времена — иные песни... «Красные перья» затевали жаркие дискуссии, «отпевали» отживший мир, громили мировой империализм, славили революцию.

«В Гяндже я впервые увидел Самеду в облюбованном тогда молодой интеллигенцией Доме просвещения, — вспоминал известный азербайджанский писатель Мир Джагал... — Выступали прибывшие из Баку представители Ассоциации пролетарских писателей. Читались стихи, произносились

речи, звучали аплодисменты. Ближе к концу Абдулбаги Фовзи прочел стихотворение: «Комсомолка, послушай-ка меня...» Затем на трибуну поднялся худощавый чернявый парень в серой шинели и начал выступление с необычной, редко случавшейся тогда интонацией и раскованностью:

— Ну, товарищи, за что вы хлопали только что прочитанному? Разве ж это стихи? Разве может быть поэзия такой? Нет, ошибаетесь. Это не стихи, а открытое письмо. С поэзии, произведения искусства — спрос другой...

Все, аплодировавшие недавним стихам, прислушались к молодому оратору. В их рядах вспыхнул мгновенный интерес и пронесся шепот:

— Кто он?

— Где учится?

— Где учителствует?

Это был Самед Векилов.

Очевидцам памято воодушевленное чтение стихов Самедом. Гянджинская среда, связанная с юностью и литературным первопутем многих будущих писателей и ученых (Джафар Хандап, Акрам Джафар, Мир Джагал, Гамид Араслы, Ахмед Джамиль и другие), впоследствии не однажды всплывет в дорогах сердцу воспоминаниях... И самые проникновенные их страницы будут связаны с именем Самедом.

Вот он с трибуны читает «Дилижанское ущелье»:

Я вновь тебя увидел, Дилижан, —
На память дальний век седой приходит.
Жизнь — это тоже караванный путь,
Одна уходит, а другой приходит...

Но это — не просто поэтический пейзаж на общую тему. Дилижанское ущелье — это и память о первых волнениях любви.

Газах — моя родная сторона,
Откуда гостя здесь была одна,
Теперь забыла ль нас с тобой она —
Куда и с кем, как встарь со мной, приходит?..

(Перевод В. Кафарова).

Псевдоним «Вургун» пока соседствует с другими. Но вскоре он станет единственным и обретет более емкий смысл — не только «влюбленный», «очарованный», избранником сердца, но и влюбленный в жизнь, в деятельное бытие, в романтику созидания. «К жизни» — так называется одно из его стихотворений. В нем еще слышится прежние минорные аккорды: «Я караван, что канул без следа, День первый жизни бедствие постигло...» Но уже явственно обозначается

и другой полюс — воля к действию, творчеству. И он произносит поэтическую «Клятву»:

Я клятву дал не унизать пера —
Немаю меня не вдохновят.
Настала просветления пора
Не омрачит изменница мой взгляд.

Я долго, по-мальчишески страдал —
Меня ты предал, ложный идеал,
И я тебя забвению предал, —
Не возвратится прошлое назад.

(Перевод В. Кафарова).

«Больные», «умершие» стихи — перелистанная страница, считает Сamed. В «Моих умерших стихах» (1931) он объявляет себя «бойцом, вступившим в классовую схватку», который шлет стихи на линию огня, — «пусть большевиком в историю впишусь».

Вспомним его современников: «Сегодня стих — это бомба и знамя» (В. Маяковский), «Мой стих великим временем рожден, дела народа воспевает он» (Сулейман Рустам). В этих поэтических декларациях отдана дань тогдашней доминировавшей литературной мысли, запальчиво отрицавшей от интимной лирики. Максимализм тех лет, объяснимый задачами социально-политического момента («Тот, кто поет сегодня не с нами, тот против нас» — В. Маяковский), исключал и отменял неоднозначность индивидуальных творческих движений, непростое, подчас мучительное определение нравственных и духовных критериев в стремительно меняющемся мире.

Мы знаем, как дорого обошлась духовной жизни апология бодрячества и розового оптимизма, вульгарная абсолютизация социального критерия, в силу чего оказались в заго-не и опале значимые искания поэзии (да и не только поэзии!) в сфере диалектики души, со всеми ее драматичными диссонансами, честные и искренние попытки постичь то, «куда несет нас рок событий» (С. Есенин).

Понадобилось длительное время на трезвую и объективную оценку всей совокупности духовного и художественного опыта новой эпохи, на реабилитацию «неудобных» тем и мотивов, в том числе и в сфере лирической поэзии. Достаточно вспомнить отношение к наследию Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака или, из азербайджанского советского опыта, — к творчеству поэта-романтика Гусейна Джавида.

Любовь с ее непредсказуемыми и непостижимыми нюансами, гаммой переживаний и состояний, с ее радостями и печалью, восторгом и отчаянием, сомнениями и надеждой, счастьем и трагизмом — один из вечных тем литературы,

вечных источников вдохновения. Художники всех времен обращались к ней, стремились постичь ее магию и таинство, выразить и воспеть ее очистительную и возвышающую силу. Конечно, в ранней лирике Самеда Вургуну сказался недостаток профессионального опыта, но ее достоинством являлись проникновенность и правда чувства. И вряд ли нужно рассматривать ее, что нередко случается, как убежденное самоотрицание «раннего» Самеда.

Как-то Самеду Вургуну, увлеченно напевавшему под саз, его друг поэт Михаил Рзакулидзе заметил:

— Сamed, какое же прекрасное гёзелеме* ты поешь! Я и не слышал, не ашуга ли Алескера?

— Нет... ашуга Самеда...

— Не из твоих ли «умерших стихов»?

— Да разве стихи умирают?!

Да, давно «умершие» на бумаге, стихи продолжали жить в сердце поэта.

Мы уже знаем, что ранние лирические исповеди, за некоторыми исключениями, поэт не отдавал в печать. Они увидели свет уже после кончины автора в книге «Чичек» («Цветок»). В том, что они сохранились, — заслуга его брата Мехтихана Векилова, двоюродной сестры Хангызы Векиловой, поэта и близкого друга Самеда Вургуну Османа Сарывелли.

* * *

На двадцать первом году жизни Сamed впервые взялся за поэму, замахнувшись на большое объемное полотно. Но сначала работа у него не клеилась. Трудно было нащупать форму, стержень, сюжетное движение. В эту пору ему попался в руки журнал «Ингилаб ве медениет» («Революция и культура») с фрагментами из поэмы известного поэта и драматурга Гусейна Джавида. Странствующий герой поэмы показан то в мечети, то в угольных копиях, то на взморье, то в саду... Прием, разумеется, испытанный и не новый. Но ключ был подсказан. Так стала складываться поэма «Дели шаир» («Безумный поэт»). Нетрудно догадаться об автобиографичном элементе поэмы — скитания неприкаянного шаира проходят по знакомым краям. И, подобно джавидовскому Азеру, он предается раздумьям о сущности бытия, о назначении человека, о поисках согласия между людьми и народами...

...В закатный час седой дervish подходит к мирным селянам и сообщает им о печальях своих. Этот убогий стран-

* Гёзелеме — жанр ашугской поэзии, восславление возлюбленной, красавицы.

ник, когда-то потерявший подругу сердца, в слезах сетует на неверность и ненадежность людей. Дели шаир прерывает горестную исповедь: «Не будь в плену у чувств, отшельником не будь, ты к жизни приобщись и жизнью заживи...»

По сути, эти слова были обращены к самому себе...

В Тифлисе шаиру встречается замужняя красавица, он очарован ею; его покориют ее искренность, благородство и ум; он благословляет счастье женщины с достойным мужем.

Между этими эпизодами (дервиш — селяне, шаир — красавица) звучит протяжная песня влюбленного юноши, услышанная в горах.

Дервиш, поющий юноша и дели шаир — это как бы лирические ипостаси души и существа самого автора, страдавшегося, преодолевшего себя и рвущегося к жизни... Но при всей узнаваемости личных мотивов Самед в этой поэме задавался более серьезной творческой целью. В ноябре 1927 г. он пишет учительствовавшему в Газахе Акраму Джафару (позднее профессор, доктор филологических наук): «Невзирая на свою недужность и немощь, задавшись темой «Каким должен быть поэт?», я взялся за сочинение под названием «Дели шаир»... Надеюсь, мне удастся завершить его...» В поисках ответа на вопрос — каким должен быть поэт — он, по существу, пытался определить свой путь в жизни и в искусстве.

Отрывки из поэмы под различными заглавиями были опубликованы в журналах. Но она осталась незавершенной. Очевидно, автора не удовлетворила сентенциозность в образе главного персонажа.

Так же остались незавершенными автобиографические по содержанию поэмы «Дочь торговца», «Вероломство», за которые он взялся годом позже.

Самед стремится раздвинуть горизонты лирического «я», отозваться на пульс эпохи. Правда, пока эти попытки носят чаще всего календарный и спорадический характер — годовщина Великого Октября, Восьмое Марта (1927), год спустя — призыв к защите Отечества («Будьте готовы!»), разоблачение происков империализма («Англичанин»).

Очевидно, он сам чувствует, что заданность темы, социальный заказ, не пропущенный через сердце, не согретый глубоким чувством, — неплодотворный путь. В феврале 1928 г. он пишет брату: «...Твой призыв — эпохален... Я ни на самую малость не был и не хочу быть недоброжелателем к политике нашей эпохи, нашей партии... Разумеется. В период битв мировой политики я не останусь дамским воздыхателем... Тому свидетельство — моя вещь под названием «Коммуна». Короче, я — нов и тем должен гордиться. Одна-

ко я беспощадный враг сегодняшней «монотонной» литературы...»

Усматривая в молодой пролетарской поэзии «монотонность», он не приемлет ее, не хочет плыть по течению, в общем потоке. По его мнению, в стихах пролетарских поэтов социально-политические мотивы зачастую изображаются схематично, в итоге рождаются художеские, неискренние сочинения. Об этом он пишет в статье «Искренность в поэзии». Прислушаемся к суждениям двадцатидвухлетнего автора:

«...Давайте признаемся, что наряду с ... крупными шагами, одной вещи — основательной и ценной — мы видим мало... А это — вопрос об искренности в поэзии...

Поэт должен чувствовать сам и пронзить сердце читателя, пробудить в нем сопереживание. На вопрос — какие стихи способны оказать такое воздействие? — можно ответить: «Стихи, написанные переживанием».

«...Есть среди наших молодых разжевывающие стих, как мякиш, пытающиеся самым заурядным и мелкотравчатым вещам придать видимость поэзии путем художеских безжизненных рифм. По этой причине сегодняшняя поэзия не нравится многим...»

Вырисовывается творческое кредо, решительно отвергающее маловыразительное, нехудожественное стихотворство. Такие вирши он развенчивал с присущими ему нелюбовью и иронией на литературных вечерах в Гянджинском доме просвещения. Как-то некий молодой автор прочитал стихотворение под названием «Картошка» и снискал дружную хвалу. Дескать, тема актуальная, связана с трудом, подчеркивает полезность этого овоща и прочее. Самед не выдержал:

— Нельзя же принимать поэзию! Тогда уж лучше давайте воспевай помидор. Помидор этого больше заслуживает. Он, видите ли, такой красненький, гладенький...

Самед сызмальства не отличался отменным здоровьем. А тут пристрастия к курению, болеть стал чаще. И вот еще напасть — желтуха.

С фотографии конца двадцатых на нас смотрит худощавый, со впалыми щеками молодой человек. Но какой контраст его тшедушному виду являет сверкающий, пламенный взор, мечтательно устремленный вдаль, источающий свечение неумолимой, напряженной мысли!

«Хоть беден, хоть хвор, а живу...» — писал он из Губы в январе двадцать седьмого года. Через год, в октябре, из Гянджи: «Отболел...»

Туго приходилось братьям, перебивались, помогая друг другу. Чаще Мехтихан Самеду. Ведь у младшего брата деньги не задерживались. Как заведутся они — тут же и угостит друзей-приятелей. Щедрость его не знала предела.

Как-то отправляясь в студенческий военный лагерь в Аджикенд, неподалеку от Гянджи, Мехтихан привез обнову брату — отменный костюм. Через две недели, навестив брата, он не увидел на нем костюма. Двоюродная сестра Ханкызы посетовала:

— Знаешь, что выкинул твой братец? Мы тут еле концы с концами сводим, а он пиджак свой возьми и подарил какому-то попрошайке... Соседи смеются.

Летом 1928 г. Самед остался в Гяндже, где, как он обещал брату, собирался «активно трудиться». В республиканской газете «Коммунист» появляются его рабкоровские заметки. Названия их говорят сами за себя «Негодные дела в Гянджинском уезде», «Халатности нужно положить конец», «Против головоуятия и бюрократизма» и т. д. Его, например, тревожит и возмущает, что экспроприированный особняк, примыкавший к партшколе, из тринадцати комнат, был возвращен бывшему хозяину и продан другому толстому. Между тем, как помещения позарез нужны самой школе... Увы... Такова была логика идей, овладевших мас-сами... Вот пружина боевитости гянджинского рабкора, которому до всего есть дело. Он ездит по селам, участвует в собраниях, беседует с крестьянами, прислушивается к жалобам.

Самед, как прежде, работает учителем. Но теперь он совмещает эту работу с преподаванием литературы в партшколе. «...Работаю в партшколе. Получаю 140 рублей. Живется мне хорошо», — узнаем из письма брату. Здесь же он просит передать в журнал стихотворение «Вдаль», обещает выслать следом стихи: «Мир чадры», «Твори революцию», «Приверженцу минбера», «Дильбер хочет учиться», «Индуска». Хотя не все написанное увидело свет, тем не менее имя поэта становится все заметнее в республиканской печати. «Я меняю свои помыслы в отношении ее (не о первой ли любви идет речь?). Моя литературная деятельность уже приобретает признание. Мало того. Я должен ткнуть в глаза веку, что являюсь приверженцем угнетенных».

Самеда воодушевляют удачи. Он работает вдохновенно, стихи его все чаще появляются на страницах уездных и бакинских газет. Это пара, знаменующая «коренной поворот в жизни» Вургуня.

* Минбер — кафедра в мечети.

ЧАСТЬ

II

ПРИЗНАНИЕ

ВСТРЕЧА С МОСКВОЙ

В Москву Самед прибыл на учебу в 1929 г. вместе с другом и земляком Османом Сарывелли, ранее учительствовавшим в Геокчае. Направление Наркомпроса для молодых писателей в те времена считалось лучшей рекомендацией в вуз. И чтобы попасть в число рекомендуемых писателей, Самед обратился к наркому просвещения республики Мустафе Кулиеву. Нарком в испытательных целях дал ему литературное задание:

— Побывай на Баиловских промыслах, напиши стихи о нефти...

Несколько дней кряду Самед ходил по промыслам, но его «соколиная душа» никак не могла вдохновиться представшей картиной. Лес обшарпанных доштых вышек, монотонный скрип качалок, земля в мазутных лужах, тучи взметаемого песка, скрипевшего в зубах. В душе пробуждается тоска по родинному горному приволью н... изливается неожиданными стихами — не теми, которые «заказывал» нарком:

Расстался я с лоном орлиных вершин,
Одетых в зеленые, алые платья.
Мутящую душу, студящей мечту
Сторонкою пыльной отныне объят я.

Где сладкая песня белеющих вод?
Ни молнии в небе, ни грома в помине.
И сердце в тумане, в дыму поплывет,
Как вспомню простор Дилижанской долины.

— И ты думаешь прочесть их Мустафе Кулиеву? — спросил друга Осман.

— Да нет, конечно.

Самед отправился в путь без наркомпросовской «протекции».

Денег у друзей было не густо, потому решили до Москвы ехать «зайцем» — на крышах товарняков.

Сдав экзамены, поступили на филологический факультет II Московского университета.

О тех днях не осталось каких-либо веских документов. Единственное свидетельство — воспоминания. В иных из них (Джафара Хандана и М. Поладова) говорится, что Самед сперва поступил в Азгосуниверситет и проучился месяц и лишь в октябре перевелся в московский вуз. Мехтихан Векилов же утверждает, что уже летом его брат сдавал экзамены в Москве. Чтоб выяснить истину, обратимся к строкам письма С. Вургуна брату из Москвы, датированного 15 сентября 1929 г.:

«Дорогой Гара! Пишу третье письмо. Все радостно и благополучно. От тебя пока не получил письма...» Дата исключает мысль об учебе Самеда в Баку в сентябре. К тому же речь идет о третьем письме.

Устроились в общежитии в Хилковом переулке.

Осман Сарывелли вспоминает:

«...Одно время нам не удавалось получить место в общежитии. Напоследок мне с трудом удалось выбить койку, Самед в таких делах был негоразд. Больше месяца спали валеетом. Вижу, нет, Самед и не думает устроить себе место. Как-то в шутку говорю:

— Ох, Самед, у меня ребра болят от снания на одном боку.

Он и в ус не дует; — смеется.

— Очень уж я привык к тебе, Осман, клянусь. Да и до окончания курса недолго — какие-нибудь полгода...

Потому я сам взялся «за дело». Уступив койку Самеду, раздобыл еще койку и рядом пристроил. А между ними записали и конторку для книжек-тетрадей...

На первых порах им приходилось туго. Стипендии на житье не хватало — грузили картошку в машины. Однажды нарушили правила уличного движения, их задержала женщина-милиционер, а штраф платить нечем, вот и пришлось «погостить» сутки в отделении.

Московская кипучая жизнь захватывает их. Лекции в университете, поэтические вечера, жаркие дискуссии, знакомство со знаменитыми мастерами слова, бдения в «Ленинке» — все это обогащало духовно, окрыляло, подвигало к творчеству.

Здесь дни бегут. Не описать словами.
Движенья, устремленного вперед,
Мир не живет бесплодными мечтами:
Он соки жизни у земли берет.

Тут нет разлук, нет горестного вздоха,
Любяи Санана ты не встретишь тут.

Тут мысль кипит, творящая эпоху,
Тут гении бессмертные живут.

(«Матери», Перевод Н. Сидоренко).

Эти стихи — мысленное обращение к матери — в оригинале были написаны в «Край революции».

В университетской аудитории Самеду довелось слушать лекции самого Луначарского. Молодой поэт ищет ответы на самые проблемные вопросы: какой должна быть новая литература? Каковы задачи пролетарской литературы? Что из истории и современной жизни может составить материал для поэзии?..

Ярким воплощением нового искусства был Маяковский, и Самед увлекается вздыбленными «маяковскими» ритмами, раскованной стихией стиха. Правда, свободный рифмующийся (в отличие от западного верлибра) стих имел уже прецедент в «Движении», созданном в Гяндже по прочтении турецкого поэта Назыма Хикмета. Но теперь Самед стремится приравнять поиски новых форм и интонаций целям политическим, он пытается добиться социальной насыщенности лирики. В этих опытах внушительно и наступательно звучит поступь социалистической державы, «озаряющей путь» угнетенным мира («Фонарь»), пафос преобразования пролетарского города и крестьянского села и творческого участия в этом преобразении («Репорт»), гневного изобличения «врагов новой жизни» («Вредители»).

«Вспоминую начальный период моего творчества, до тридцатых годов. Меня как поэта сильно влекло к себе новая жизнь... А в то же время в моем творчестве тогда преобладали мотивы одиночества, печальной любви и идиллического воспевания «безмятежной», и «счастливой» природы с ее «вечной» и «хладной» красотой...» — признался позднее поэт в статье «Держа равнение на Маяковского». И, объясняя эту «болезнь роста», отмечал ее истоки: «...надо мной, как и над другими моими сверстниками, все еще тяготели устаревшие... представления о поэзии, о том, что достойно воспевания, что «поэтично» и «непоэтично» в жизни. Конечно, эти представления были уже изрядно поколеблены в нашем сознании. Но требовалось, чтобы в поэтическом творчестве произошел такой решительный, переломный сдвиг к новому, социалистическому, который помог бы нам, начинающим поэтам, навсегда освободиться от канонов буржуазной эстетики.

Этот сдвиг произвел Маяковский...»

Весть о трагической гибели великого поэта застала Самеда Вургуна в Гяндже, где он принимал участие в подготовке к торжествам, посвященным 10-й годовщине установ-

ления советской власти в Азербайджане. Вместе с собратьями по перу он готовил еженедельный выпуск газеты «Апрельское солнце». Поэт Ахмед Джамиль вспоминал:

«...Мы собирали стихи, рассказы и статьи для газеты. Утром нам предстояло собраться в Доме политпросвещения. Вошел Самед с газетой в руке. Протянул нам: «Читали? Маяковский покончил с собой». В тот день не было никого, кто бы занялся просмотром собранных стихов и рассказов... Мы вышли в городской сад. Самед замедлил шаг, задумался:

— Не могу понять, как поэт такой величины отрешился от мира, когда мир так прекрасен, жизнь так пленительна...— Самед рассказал нам о московских литературных вечерах, и больше всего — о выступлениях Маяковского. Прочел его стихи, написанные в связи со смертью Сергея Есенина.

Для веселья
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

В тот день я впервые увидел в налившихся слезами глазах Самеда огромную любовь к Владимиру Маяковскому и его могучей поэзии.

* * *

Самед искал свой голос, торил свою тропу в поэзии. Свободный, раскованный стих остался в его творческих поисках эпизодом. Вскоре он возвращается к традиционной просодии азербайджанской народной поэзии, ограниченно отражающей лад родного слова, — к ритмике «хеджа», на котором веками ашуги слагали стихи. В этом ключе он создал позднее нетленные поэтические образы. Но «Маяковский» период важен тем, что был отмечен знаменательным мировоззренческим движением поэта. Политический наклон, гражданская позиция отличали опыт С. Вургун в «свободном стихе». Эти качества отныне становятся органичным свойством его поэзии.

...Из Москвы в Баку шли стихи. В печати все чаще появлялось имя — Вургун.

Каникулы Самед-студент проводил в родных краях.

Здесь он окунался в гущу литературной жизни, включался в дела ассоциации пролетарских писателей республики. Летом 1930 г. друзья-сокурсники Самед и Осман трудятся в селеньях родного Газаха, рука об руку с хлеборобами: Самед в селе Акгойнек, Осман — в Шихлы. В конце августа Самед окликает письмом друга: «Очень мне хочется перебраться в Шихлы и там поработать сообща с тобой. К «счастью» для тебя меня не пустили. Не то бы обскакал тебя...» Шутливый тон сменяется и серьезным. Он журит: «Поверь, за тебя очень беспокоюсь. И постоянно думаю... Мне кажется, ты раздумываешь много, а делаешь мало. А жизнь не ждет. Надо нам гнать коней во весь опор».

И впрямь, пегас молодого «седока» мчит, закусив удила...

В том же году пришла радость первой книжки. Название — «Клятва поэта» — отражает ее пафос. Родина, обновляемый мир, природа, любовь — вот поэтические координаты двадцати с небольшим стихотворений. Они не ровны по профессиональному качеству, но свободны от налета декларативности, риторики. Тем не менее, это был первый широкий разговор с читателем.

...Зимние каникулы 1931 г. Самед вновь в Газахе — он помогает работникам просвещения. О характере его работы говорит справка той поры: «...Дана студенту И. Московского государственного университета товарищу Векилову, мобилизованному Наркомпросом Азербайджана, в том, что он... с января 18 по 21 февраля работал в Газахском районе в области политтехнизации и общего образования. За указанный срок товарищ С. Векилов активно помогал (отделу народного образования — авт.) научными лекциями, методическими предписаниями, рекомендациями. Газахский районный отдел народного образования одобряет его работу».

...Самед продолжает учебу в Москве. Но однажды весенним утром... он обращается к собирающемуся на лекции другу:

— Осман, я еду в Баку.

Друг ошеломлен.

— Ничего. Хватит с меня учиться. Уезжаю насовсем.

Осман никак не мог взять в толк, — в чем причина неожиданного решения?

— Может, передумаешь? Вместе приехали — вместе и окончим университет.

— Нет уж. Оканчивай ты. Да еще и в аспирантуру пойдая. А меня просят, оставаться не могу. Родные края тянут к себе. К тому ж невтерпёж мне сидеть день-деньской на лекциях, в библиотеках. Кто ж стихи писать будет?..

Осману ничего не оставалось делать, как смириться. У

души — своя правота. Глубоко гнездилась в ней тоска по родной природе, приволью Куры, над которым по весне курлычут возвращающиеся из дальних странствий журавли... Зазеленели задвигные луга, заневестились деревья у взыгравшей реки, опушился розовым цветом тамариск... Эта властная тяга к истокам судьбы отзывается в стихах — «Новый мир», «Матери», «Вечер» (из цикла «Врата Востока»)...

Моя весна пытлива и упорна.
Средь мудрых книг проходит жизнь моя.
Я часто вспоминаю гребень горный...
Я к вам вернусь, родимые края!..

...Душа его жаждала деятельного участия в жизни. Его отъезд был столь успешным, что иные документы он впопыхах оставил в общежитии, а иные — растерял по дороге...

«СТРАННЫЙ» АСПИРАНТ

Современный читатель может удивиться — стать аспирантом, минуя вузовский диплом? Но если учесть, что за плечами новоиспеченного аспиранта педагогического, а затем научно-исследовательского институтов в Баку было пять лет учительской работы, хорошая школа жизни, комсомол, самостоятельные студии, наконец, несомненный талант, проявляющийся в литературе, выдвинувший его в первые ряды молодых пролетарских писателей, перед которыми заигрался «зеленый свет», то этот факт станет объяснимым. Но и два года аспирантуры по двум ведомствам оказались эпизодом, — последним в чередѐ его отмененных присяг храму академического образования...

Им всецело овладели поэзия, жажда творчества. Иные бесталантные злопыхатели из пишущей братии судачили: дескать, гранит науки оказался не по зубам Самеду. А дело было не «в зубах», а в признании, требующем безоглядной отдачи. Он видел себя поэтом, только поэтом, и во всем стремился извлечь поэтическое существо, все преломляя под этим углом зрения. Это качество акцентирует писатель Мир Джадал, его сотоварищ по аспирантуре.

«...обсуждался вопрос об изучении и анализе «Капитала» К. Маркса. Иные говорили: «Надо эту книгу проанализировать строка за строкой для аспирантов-литераторов, законспектировать даже детали товарного производства. Преподаватель хотел узнать мнение аудитории, состоявшей из литераторов.

Самед Вургун не присоединился к общему потоку и не постеснялся откровенно заявить преподавателю:

«Вы — экономист, знаете «Капитал» досконально, и спасибо вам на том. Но я-то не экономист, а поэт, и хочу оставаться поэтом. И потому посвятите нас в главы, связанные с основной теорией, законами общественного развития, со спецификой искусства и литературы: мы были бы признательны...

Все аспиранты и сам преподаватель одобрили эту мысль. И занятия были спланированы в таком направлении».

Беспочвенность домыслов о мнимой научной несостоятельности Самеда подтверждает и другой сотоварищ поэта по аспирантуре — Джафар Хандан:

«Реферат о лирике Касумбека Закира, написанный им по заданию профессора Бекира Чобанзаде, привлёк всеобщее внимание своей научной значимостью. Но, уделяя больше внимания творчеству, нежели научной работе, Самед не думал об окончании аспирантуры и защите диссертации...»

Позднейший путь поэта подтверждает однако и незаурядный исследовательский, аналитический дар его зоркой, самобытной, ищущей мысли. Об этом говорят его многочисленные выступления, речи, доклады на литературных и научных форумах, работы, посвященные широкому кругу проблем. Кроме того, можно сказать, мысли, суждения, идеи, убежденно и убедительно прозвучавшие во множестве его работ, складываются в принципиальную, взвешенную концепцию творчества и художественного видения жизни — то есть становятся фактом науки. Звание почетного доктора филологических наук, академика пришли к нему через «высшую аттестационную комиссию» — народ, удивостверивший его вклад в духовное достояние новой культуры.

Но вернемся к тридцатым годам. В...1932 г. увидела свет его вторая книга — «Фонарь». Она вызвала заметный резонанс в печати, была высоко оценена современниками.

Многие стихи, составившие «Фонарь», носили программный характер и давшие название книге: и ранее упомянутый нами «Рапорт», и «Мои умершие стихи» и «Натиск»... Политический пафос находит выражение в трибунной интонации «Рапорта»:

Я —
поэт
миллионов,
пропахших бензином и серой.
Я — враг
буржуазных салонов,
одетых в драпри и портьеры...

Я — твой поэт, рабочий класс!
Признан я иль не признан,

Я тоже обязан камни класть
в фундамент
социализма.

(Перевод П. Железнова).

Поэт стремится отрешиться от пут «старой романтики», исполнен жажды строить новый мир рука об руку с рабочими и крестьянами. И в этом порыве проступают черты новой романтики.

Эта романтика преображения и обновления в планетарном масштабе громко звучит в стихотворении, давшем название книге, — поэт славит зажегших в истории «фонарь коммунизма», верит в грядущий день, когда свет этого фонаря рассеет тьму во всех уголках планеты.

Поэт был искренен в своем порыве — «класть камни в фундамент социализма» — как тысячи, миллионы советских людей. Мы, люди девяностых, думая о времени написания этих стихов и множества других произведений литературы, волюно или неволю соотносим их с реальной правдой о социалистическом переустройстве, об индустриализации и коллективизации, о методах этого переустройства, о злобешней сталинской версии «обострения классовой борьбы» в стране. Мы думаем о цене невосполнимых и трагических потерь на этом пути, о гибельных ударах, обрушившихся на крестьянство, на специалистов, интеллигенцию, о признаке «классового врага», угнездившемся в большом и жестоком воображении «отца народов» и его приспешников... Но это наше сегодняшнее, современное знание. В те времена тотального политического мифотворчества литература не имела возможности сказать всю правду о происходящих деформациях в обществе. И редко были смелые, дерзкие голоса, вырывавшиеся из общего потока. Мы помним, чем каралось творческое инакомыслие и бесстрашное прозрение истины в ее «еретической» полноте... Но это было уделом немногих, сравнительно немногих, это не было показателем массового народного сознания. Массы верила, рукоплескала, боролась, трудилась.

Иначе невозможно было бы свершить все то, что свершили народы великой державы. При всем том, что понятие «энтузиазм» в отношении той поры ныне оттеняется скептическим словом «эйфория», — эти качества приходится признать, они шли рядом, переплетались.

Самед Вургун был в числе тех художников, которые в полной мере выражали искренний порыв масс, доминирующий тогда общественный пафос.

Как воодушевленное, отмеченное печатью таланта, вы-

ражение этого доминирующего общественного пафоса. И, добавим, эстетической установки, книги «Клятва поэта» и «Фонарь» привлекли широкое внимание литературной критики. Она была единодушна в своих оценках. Самед Вургун характеризуется, как «выдающийся представитель нашей поэзии» (Мехти Гусейн), его поэзия уподобляется «большевистскому маршу» в литературе (Гамид Араслы); развернутая статья Мир Джалала в пятом — шестом номерах журнала «Худжум» («Натиск») за 1932 г. носит симптоматичное название: «На путях самперестройки».

Признание воодушевляет поэта, побуждает к новым творческим исканиям. Он принимается за первое большое полотно — «Комсомольскую поэму».

Когда увидели свет первые главы «Комсомольской поэмы», советская поэзия уже имела такие широкие полотна, как «Комсомолия» А. Безыменского, «Партизан Али» Сулеймана Рустама, «В годы бурь и битв» якутского поэта С. Эляя. Вургуновская поэма выделяется в их ряду эпическим размахом, задуманная, по словам самого автора, как «первый стихотворный роман в истории советской литературы».

Читатель уже знает, как тесно переплелась жизнь молодого Самеда с делами комсомоли.

Не довольствуясь воспоминаниями, он работал над поэмой, не однажды отправлялся в родные края, обходил села, встречался с будущими прототипами. Материала много...

...Первые годы советской власти в Азербайджане. Вчерашние господа — беки, ханы, лишившиеся власти, привилегий, земель, усадеб, не могут смириться с такой участью, оказывают сопротивление. Один из них бывший владелец села Пейканлы Герай бек. По другую сторону борьбы — большевик Керем, комсомольский отряд со своим вожаком Бахтияром.

Мы застаем семерых героев морозной лунной ночью в пути, — они отправляются в глухое село организовать ячеек, обезопасить жизнь сельчан. Обманчивая тишина в горах взрывается выстрелами, в ожесточенной стычке с бандой Джалал ранит Герай бека, гибнет Шахсувар («Как горько кончить жизнь на полпути, когда еще вся битва впереди...»).

В противоборство двух враждующих сторон оказываются вовлеченными судьбы двух молодых людей: и их любовь несет на себе знак трагической развязки... Сама логика

непримиримой борьбы строителей «новой жизни» с обреченно воинствующими «бывшими» исключает возможность счастливого союза Джалала и Умай.* В этом диссонансе возвышенно-чистых чувств любви и классового, революционного долга — драматичный нерв поэмы.

Джалал, отважно явившийся в стан врага просить руки дочери Герая бека, падет от вероломной пули... Сцена этой встречи — одна из кульминационных в поэме.

Вот он перед грозным и неумолимым отцом Хумай. Он все еще надеется растопить холод вражды. Его слова исполнены искренности, благородства и беззащитной открытости:

Пришел я во имя добра, а не зла,
Великая сила меня привела,
Ей имя — любовь...

Перед ним — глухая стена:

В одних ножках нет места двум клинкам.

Но не так-то прост и однозначен Герай. В глубине души, ослепленной враждой, он не может не испытывать уважения к отчаянно-смелому шагу гостя, одного из тех, кто причастен к опровергателям его власти, его мира. «А более всего задет он тем, что предводитель гольтепы Керем «гоняет на бекском», «на гараевском коне». Ведь «папах, лошадь, да еще жена — в них трех мужская честь воплощена...» Подкупает психологическая правда этого характера. Герай бек колеблется... Более того, в какой-то момент в нем верх берут добрые, милосердные чувства. Мы узнаем, что он дал согласие на союз дочери с Джалалом. Но подозрение («А если тайны вызнаст и нас он с потрохами выдаст...») исподволь точит сердце Герая в бессонную ночь и приводит к роковому решению.

И — «вскоре выстрел глухо прозвучал...»

Этот выстрел в Джалала, по сути, губит и его любимую дочь — Хумай, потрясенная ужасной вестью, находящаяся на грани безумия; ее, окоченевшую, угасающую, подбирают в заснеженной пустоши чабаны... Но трагическому

* По другой транскрипции, в переводе Владимира Кафарова, выполненном после А. Адалис и В. Сергеева. — Хумай. Новый перевод, сделанный непосредственно с оригинала, обладает несомненными достоинствами, на наш взгляд, он ближе и точнее. Мы пользуемся этой русской интерпретацией поэмы. (Авт.).

исходу предшествует сцена встречи с Бахтияром: это он сообщил ей горестное известие, разгневанный жестокой расправой. В праведном гнев на отца-губителя он несправедлив к дочери бека:

Прочь с глаз моих! Иль ты не слышишь, прочь!
Бандитское отродье! Волчья дочь!..

Но реакция несчастной Хумай на эти филиппики поразительна — убитая горем, она понимает чувства Бахтияра, она превозмогает свою, дочернюю любовь: «Ты, Бахтияр, как знаешь, поступай с моим отцом. На это власть твоя. Знай, только о Джалале плачу я...» И здесь пронзительный автор обезоруживает нас, читателей, уже ропщущих на вспышку сурового героя, прозрением его совестливой жалости: «И в Бахтияровых глазах она, как символ безупречной чистоты, вдруг поднялась до вечной высоты. И устыдясь своих недавних слов, сквозь землю провалиться он готов...»

Рассказание очеловечивает героя. Иначе он бы выглядел в наших глазах этаким «идейным праведником».

Поэма знаменовала крутой поворот нашей новой поэзии от первых, во многом декларативных и публицистичных опытов, к объемному: вдумчивому, психологическому воплощению.

Обратимся к эпизоду, когда красные конники во главе с Рыжим Шамистаном окружают логово врага.

Герай бек в сжимающемся кольце. Его приспешники перебиты. Он один. Поэт как бы замедляет бег времени и заглядывает в душу его обреченного Герая бека. Воображаемый диалог с видением погибшей Хумай потрясает правдой чувств и переживаний. Мы не замечаем условности литературного приема. Из-за черты небытия чудится и слышится отцу укор: «Я — дочь твоя. Ты жизнь мне дал сначала, а после, после...»

Герай взывает:

— Хватит, пощади!

...Ах, лучше б у меня отсохли руки!

Когда бы жил Джалал, и ты б жила!

...— Убийца мой, ты все же мой отец.

— Я не достоин ласкового слова.

...Проклятья и позора я достоин...

В литературе одно время бытовал, так сказать, «черно-белый» показ, когда классовые враги представляли воплощением чуть ли не всех пороков, тем самым лишаясь достоверности живых характеров, не говоря уже о том, что борьба с бездумными и бездушными исчадиями зла принимала значимость победы над врагом реальным... Творческая

заслуга поэта и в том, что он показал противника: **новой жизни во плоти и крови, сильным, убежденным и потому — убедительным.**

...И вот

Керем Гераю голос подает:

— Бросай оружие! Слышишь, Герай бек?

Оставь упорство, вздорный человек!

Последнее, что осталось у Герая бека, — честь, уважение к себе.

— Сдаюсь, — Герай ответил, — но не вам,

Себя любимой дочери предаю.

Звезда моя расцветает, она

Меня казнить и миловать должна.

И вновь — рынок, еще один, второй.

И слился он с кровавою Курой...

Принципиально новым качеством на фоне однозначного изображения классовой конфронтации в нашей поэзии (и не только в поэзии!) явилось то, что Сamed Вургун показал своих героев в их живой, индивидуальной человеческой сути, в силе и слабости, с достоинствами и изъянами, в диалектике душевных движений. Можно сказать, он ставил себе идеальной задачей шекспиризировать, а не превращать героев по-шиллеровски в «рупор идеи». Да, Герай бек — непримиримый враг нового строя, он крут, властен, недотрога, но он же и любящий отец, ему не чужды милосердие, сомнение, колебания, он горд, бесстрашен; он — губитель, но он и жертва своих классовых, сословных предрублений. Мирпаша, находящийся в рядах борцов за новую жизнь, позволяет себе оскорбить чувства верующих, привязав пса у ворот мечети (отсюда — не очень далеко и до физического сокрушения храмов и соборов). Благородный Бахтияр, узнав о гибели друга, несправедливо винит его любимую, сгоряча клеймя ее «бекской дочерью» (потом подобные сословные ярлыки обернутся обвинительными документами в руках чиновных «опричников»). В этих психологически достоверных перипетиях Сamed Вургун, быть может, интуитивно, по наитию, нащупал большой нерв социального самосознания, прикоснулся к моральной, нравственной стороне революционной ломки.

Поэма полифонична. Лирические отступления, картины природы сменяются живым действием, диалогами, философскими раздумьями. Особую объемность и политическую остроту придает поэме глава «Театр на селе», где в шаржированной форме, в сатирических тонах предстают социальные верхи, иначе представлявшие себе путь нации; на другом полюсе — простолюдые.

В лирических отступлениях поэмы слышится эхо литературных борений тех лет («Не странно ль, что на сцене и в дастане герои-уроженцы чуждых стран? А где ж моей отчизны достойные?» «Кто пишет под Верхарна—выходи!»); поэт подчеркивает самобытность своей героини («Хумай — не Офелия и не Татьяна»), не скрывает своей пристрастной любви к народному сказу и слову («Живучие притчи Молла Насреддина приятно послушать — смешно и недлино...»)

Поэма частями публиковалась в 1932—1938 гг. Хумай и Джалал стали любимыми героями молодых читателей. Они с нетерпением ожидали окончания произведения. Однако поэту пришлось прервать работу над поэмой, — к ней он вернется лишь в конце своей жизни... но успеет донести лишь некоторые фрагменты...

Можно предположить, что этот длительный перерыв связан, с одной стороны, с творческими, «лабораторными» проблемами, заstopорившими работу, с другой стороны, новые замыслы и воплощения, растущее бремя общественных обязанностей, активнейшее участие в литературной жизни отнесли «Комсомольскую»...

«Комсомольская поэма» при всей незавершенности отдельных деталей и частей сыграла роль в повороте нашей поэзии от декларативной, публицистичной интонации и психологической достоверности, в эпическом освоении революционной темы; еще одно достоинство — прозрачный, образный, точный слог, идущий от родников народного сказа и классического опыта. По верному замечанию писателя Мир Джалала, это эпическое полотно С. Вургуна явилось «манифестом новой поэзии» Советского Азербайджана. Вместе с тем, сегодня можно сказать, что художественная правда, заключенная в ней, оказалась шире и убедительнее ее идейной нацеленности, ее «советскости»...

ОБРУЧЕНИЕ

1932 год. Сamed Вургуну случилось быть на свадьбе фольклориста Гуммета Ализаде. На торжество, проводившемся в доме маститого поэта Абдуллы Шанка, большинство гостей составляли литераторы. Сamed, по предложению аскакалов единодушно избранный тамадой, успешно справлялся с этой непростой обязанностью, требующей остроумия, особого такта, умения держать публику. Он провозглашал пылкие здравницы в честь жениха и невесты, их близких, не забывая принести дань заслуженного уважения и присутствовавшим именитым мастерам слова, читал по случаю стихи — не только свои, но и товарищей по

перу. Торжество вышло из рамок обычного застолья и вылилось в своего рода поэтическое празднество.

Круглолицая прелестная школьница с длинными косами зачарованно слушала поэта-тамаду, иногда перешептываясь и лукаво пересмеиваясь с подружкой. От внимания Самеда не ускользнуло восторженное внимание юной слушательницы, у которой очаровательная детская непосредственность сочеталась с лукавым девичьим равнодушием. Естественно, это воодушевляло молодого тамаду. Он еще не знал, что девушка с косами переписывает его стихи в заветный альбом, и сейчас она не могла утаить своей радости при виде живого автора...

Самеда разбирало волнующее любопытство. Он не удержался от вопроса:

— Мирза (так он почтительно обращался к хозяину дома), кто эта красивая девушка?

Абдулла Шанк проследил за его взглядом.

— Свояченица моя, сестра Шахзаде.

— Что же она в сторонке стоит, пусть к Шахзаде-ханум и присядет.

Хавер присела рядышком с сестрой и густо залилась краской. Шутка ли сказать — очутиться за одним столом, лицом к лицу со своими литературными кумирами — здесь Гусейн Джавид и Микаил Мушфик, и, конечно, Самед Вургун...

После той памятной свадьбы Самед зачастил в дом к Абдулле Шанку. Он рад тому, что Хавер обожает поэзию. Поначалу смущавшаяся, она постепенно преодолевает робость. Каждый раз, посещая сестру, она ловит себя на мысли: будет ли у Мирзы дайн (так она обращалась к Абдулле Шанку) поэт? И невдогад ей было, что и Самед, открывая дверь этого дома, задается тем же вопросом...

Интерес юной школьницы к известному поэту со стороны выглядел естественным. Но однажды... Хавер попросила поэта написать стихи ей в альбом: в ту пору была такая мода у школьников и студентов.

Хавер, заполучив желанный автограф, поспешила распрощаться. Но по дороге не утерпела, раскрыла альбом, пробежала строки. О чем же были эти стихи? Поэт сетовал на былые печальные дни, загадочно говорил о красавице, которая сможет согреть его сердце и осчастливить. Но кто же эта красавица? Стихи написаны «Для Хавер». Неужели он имеет в виду... Она еще не могла разобраться в своих чувствах и мыслях. И потому некоторое время перестала показываться у сестры.

Как-то старший сын Абдуллы Шанка, девятилетний

мальчуган, принес ей доверительную записку: «Уважаемая Хавер! Жду Вас у Адишан, очень хочу Вас увидеть. Прошу Вас, если Вам не трудно, зайти на несколько минут. С. Вургун». Первая реакция: «Не пойду... С какой стати?.. Неудобно ведь...» Но, противясь в душе, она все-таки пошла.

В тот день Самед сделал ей предложение. Она выслушала его, пытаясь скрыть волнение.

Не скоро получив согласие, Самед решает слать сватов. По обычаю у азербайджанцев первой берется за сватовство мать жениха. Она-то и ведет сговор с матерью избранницы, которая сообщает об этом главе семьи. При благоприятном ответе женихова сторона шлет представительных аскакалов во главе с отцом жениха. Но у Самеда — ни отца, ни матери. По-сыновнему чти Абдуллу Шанка, решил обратиться к нему.

Как-то вечером наведаясь к маститому поэту. Поговорили о том, о сем. Самед с улыбкой сообщил:

— Знаешь, Мирза, породниться с тобой хочу.

И выложил суть дела.

Жена хозяина стала возражать:

— Хавер еще юна, ей бы надо школу окончить. Да и брат мой Юнис не поддержит столь раннее замужество.

— Шахзаде баджи, о чем разговор? — согласился Самед. — Пусть доучится, я подожду. Было бы согласие.

— Не нам это решать, — заключил разговор Абдулла Шанк. — Брату и матери Хавер.

На третий день Самед узнает об отказе. Но не сдается.

— Мирза, пойдем к Юнису. Я сам и переговорю с ним. Самед был в ударе. Его дар общения, искрометная беседа, обаяние покорили всех, и Юнис сдался, дал согласие на брак с условием — подождать год.

Вскоре состоялось обручение.

СЪЕЗД

Тридцатые годы...

С одной стороны — бурное движение непочатой творческой энергии народа, выдвинувшего из своей гущи блестящих художников, с другой — жесткий императив эстетических постулатов... Групповщина, отторжение ряда крупных художников от общих исканий литературы как «путничков» со стороны рапповцев, а в Азербайджане — азаповцев, вульгарно-социологическая профанация не могли ни сказаться пагубно на свободной и естественной полифонии нового искусства.

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций», упразднившее РАПП, призвало всех писателей, стоящих на советской платформе, объединиться в творческий союз. Мы знаем, что и это постановление, и создание писательского союза, само по себе естественно протекавшее из профессиональных чаяний многоязычного сообщества художников слова, но жестко регламентированное идеологической администрацией, не обеспечили подлинной нормализации художественного процесса, творческую, политическую, правовую защищенность писателя... Но как бы то ни было, подготовка к I Всесоюзному съезду советских писателей началась. Шла она и в Азербайджане. И Самед Вургун принимал в ней самое деятельное участие.

Накануне I съезда писателей республики было созвано совещание литераторов-коммунистов и комсомольцев, где отмечалось отставание литературы от движения жизни. Под этим критическим знаком прошел и съезд (13 — 17 июня 1934 г.). В докладах Г. Назарли (председателя оргкомитета) и Ю. Чубаря (замнаркома просвещения) имя С. Вургун значилось в ряду зрелых, ведущих поэтов. Имея ввиду С. Рустама, М. Мушфика и С. Вургун, докладчик Г. Назарли отмечал: «Мы вправе спрашивать с них больше, чем с новопоявившихся. Они уже зрелы и искушены. Потому им и давать плоды, взыскиваемые нашей эпохой».

Делегированный на I съезд писателей Самед Вургун с его трибуны говорил о целом ряде насущных проблем — об отношении к писателям старшего поколения, «все еще не вполне уясненном» и отмеченном «перегибами», о неизжитой халтуре, об опасности конъюнктурной актуальности, игнорировании художественного качества, о болезни групповщины, об односторонности и склонности иных критиков к разговору исключительно о шедеврах, о медленном росте рядов молодых...

Сейчас его суждения могут показаться несколько категоричными и резкими, однако, в сущности, они были справедливы. Разве не праведен был его гнев против бесталанных сочинителей, прикрывавшихся «актуальностью».

С. Вургун уловил и осознал эту опасность, как и его талантливый соратник по искусству Михаил Мушфик, восставший против бессодержательного, бескрылого стихотворчества.

Председателем новосозданного союза был избран М. К. Алекперли, ответственным секретарем — С. Вургун. Это закономерно подтверждало его роль в литературном процессе.

Вскоре после съезда третья книга поэта — «Тетрадь души». В номерах журнала «Ингилаб ве мединият» («Революция и культура») появляется цикл его стихов, в альманахе «Голос поэта» — поэма «Скамья смерти», посвященная героическому противостоянию Георгия Димитрова на Лейпцигском судилище своим нацистским обвинителям.

Поэт, отталкиваясь от реального события, дает обобщенную картину противостояния двух миров в те предгрозовые годы. Когда коричневое чудовище уже примеривалось к Европе, образ матери Димитрова (мы знаем, что старая Параскева в те тяжкие дни отправилась в Германию), вырастает в символ родины, и ее письмо сын читает

Словно книгу борьбы:
В каждом слове — завет!
Он читает, твердя:
«Суд не кончен! О нет!
Дни великие, дни возмездья придут. —
Справедливый свершится суд!»

(Перевод Д. Бродского).

17 августа 1934 года в Москве собрались посланцы литературы 52 народов СССР, зарубежные гости. Позднее поэт-делегат вспомнит об этом событии не однажды. Особо ярко воспоминание — А. М. Горький.

«На трибуну поднялся худощавый высокий человек. Долго не смолкали аплодисменты в зале. Улыбаясь, он поднимал руку, стараясь успокоить зал...

Он говорил тихо. Временами кашель нарушал его речь... Его руки, его лицо были в постоянном движении. Неумолимая старость и болезнь не могли сломить эту величественную душу.

Его голос вначале звучал слабо. Но какая непреодолимая сила была в этом тихом голосе. Сколько в нем было убедительности и искренности! Мне казалось, что если бы Горький говорил так целый день, никто не устал бы его слушать».

Нетрудно представить воодушевление двадцативосьмилетнего поэта, когда он окунулся в атмосферу зала, как бы вмещавшего в себя огромное горячее пространство многоязыковой советской литературы, он пережил то, что Павло Тычина определил крылатыми словами «чувство семьи единой».

Горьковская трактовка существа и целей новой литературы в контексте исторического художественного опыта — реалистическая верность революционной правде и романти-

ческая устремленность в завтра, в историческую перспективу.

Да, сейчас мы посмотрим на советскую историю, в том числе и историю советской литературы, на многих ее творцов другими глазами. Претерпела переоценку и фигура самого «буревестника революции», основоположника «пролетарской литературы». Но не будем задним числом редактировать литературную реальность той поры и подправлять искреннюю массовую веру в необходимость ангажированной литературы, в установку на подчиненность задачи эстетической задаче политической, нашедшую выражение в постулатах пресловутого метода социалистического реализма...

Самед Вургун, избранный в правление новосозданного союза, по возвращении в Баку изложил задачи писателей в статье «Большой и исторический съезд»: «Глубоко изучать классическую литературу, животворить народную литературу (читай: творчество — авт.). Любить положительных людей социалистического строя, дать их художественное воплощение... поднять социалистический реализм к высоким формам, заниматься делом воспитания новых и молодых дарований, оживить работу по художественному творчеству, создать детскую литературу» — вот что было наиболее «живыми и дискутируемыми» вопросами на съезде.

С этой поры мы видим крутое возрастание общественных забот и деятельности поэта — неутомимого застрельщика и инициатора литературных начинаний, ведущую фигуру на форумах и декадах.

В ноябре 1934 г. он выступает с докладом на торжественном собрании в писательском союзе, посвященном 17-й годовщине Октябрьской революции. Наряду с верными и справедливыми суждениями о тенденциях развития советской литературы, доклад не свободен и от мыслей, несущих на себе печать вулгарно-социологического поветрия, сопутствовавшего тем временам. Доклад, не занимающий значительного места в литературно-теоретическом наследии С. Вургуня, тем не менее представляет интерес для изучения сильных и уязвимых сторон его воззрений той поры. Высоко оценивая глубоко содержательный лиризм Физули, прозорчатый по-народному язык Вагифа, реалистическую драматургию и демократизм М. Ф. Ахундова, сатиру Сабира, он, вместе с тем, не видел в дооктябрьской литературе в целом достаточно созвучных социальных идей и считал, что у нее можно учиться лишь с точки зрения «художественности и технологии, литературной техники и композиции». На протяжении всей истории своего развития она была «литературой господствующих классов...» Несомненно, такие од-

нобокие субъективные оценки проистекали из довлевших над критикой вулгарно-социологических мерок. Позднее С. Вургун отрешился от этих перегибов, своим творчеством доказывая преемственность прогрессивных традиций классического опыта. Мы ощущаем праведный ропот оратора, призывающего критику отрешиться от абстрактных рассуждений и заготовленных формул и рецептов, развенчивающего писателей, «изображающих трудовой процесс как череду мертвых, безжизненных, голых, механических движений».

«Порой труженика показывают всегда радостным, ликующим, счастливым, смеющимся. А порой, напротив, очень суровым, вкалывающим по 24 часа в сутки... Но ведь это — человек. Разве не нужно отдохнуть, поспать, поесть-попить? Разве ж нет у этого труженика никакой печали, думы?.. А то... оставив живых людей, ведут речь о неодоливых машинах и станках... Этот грех водится и за нашими газетчиками. Нынче, глядишь, некий газетчик всучивает поэту проценты: «Бери эту... цифирь, накатай стихи об этом!» Если поэт умён, то он идет заниматься делом, если же и поэт умом под стать предлагающему..., то принимается зарифмовать эти цифы...»

«ТЫ С ЖИЗНЬЮ ПОМИРИЛА ВНОВЬ МЕНЯ...»

Ветреным ноябрьским днем во двор старого дома на Верхней Нагорной вошла с музыкой веселая ватага молодых людей, сопровождающая новобрачных — Самеда и Хавер. Хозяин дома Абдулла Шанк встретил-приветил «делегацию», пригласил в дом. За столом, в числе гостей, сидели знаменитые писатели — Гусейн Джавид, Юсиф Везир Чменземенли. Все дружно поздравил молодых. Микаил Мушфик, подняв бокал, пылко провозгласил стихотворный экспромт в честь жениха и невесты:

Взошел ли месяц ясный в эту ночь?
Невеста! Солнце рядом, погляди.
Судьба ли несравненных создала?
Цветок сошелся с садом, погляди.

Отцизны дочь любезная — Хавер.
И ангел не сравнится с ней, поверь.
Зовите всех несведущих теперь.
Самед облакан взглядом, погляди.

Союз поэтов — кровное родство.
Хавер венчает это торжество.
Цветок и вьюн — жених вокруг него
На радость нам, собравшим, погляди...

Экспромт вызвал веселое оживление, и гости предложили Самеду ответить Михаилу своим экспромтом. Самед сначала отнекивался. Но гости были неумолимы. Тогда, обратив взор к невесте, Самед заговорил:

Любимая, когда мой внешний сад
Уже косил печальный листопад,
Я, с жизнью ссорясь, пережил разлад,
Но был твоей улыбкою согрет,
Тобою первой возрожден поэт...

Краса твоя не ведает прикрас,
Вот та, которой грезил я не раз, —
Так я сказал, — но радость унялась,
Нет верности, подумал я, у них...
И снова в безнадежности поник...

А ты своей смущенной чистотой
Внушила силы в дух усталый мой,
И, видя жизнь со всею новизной,
Ты земле звезду небесную клони,
Ты с жизнью помирала вновь меня...

...Звучали здравицы, звенела музыка. И, наконец, завершая торжество, полилась томительно-светлая, грациозно-нежная мелодия «Вагзалы», в которой горячая грусть прощания с отчим кровом смешалась с радостью волнующей встречи с новым, жениховым очагом — быть ему родным отныне навсегда, на всю жизнь... Поплыли в танце жених и невеста...

Душа моя срослась с твоей душой.
Природе благодарствуй воздадим,
Хавер моя, как счастья я с тобой!
И люди нам завидуют двоим...

ТЕТРАДЬ В КРАСНОМ КОЛЕНКОРЕ

В августе 1934 года бакинская газета «Коммунист» сообщила о конкурсе, объявленном Совнаркомом республики, посвященном предстоящей 15-й годовщине Советского Азербайджана. Самед Вургун решил принять участие в конкурсе. В 1935 году поэт заявил в печати о работе над эпопеей «Азербайджан».

Объемистая тетрадь в красном коленкоре, хранящаяся в доме-музее поэта, свидетельствует об этой напряженной и интенсивной работе.

Замысел возник не сразу. Творческая зрелость, накопленный опыт исподволь подводили его к эпическому «замуху», к развернутому воплощению народных судеб. Уверенность в своих силах питала и работа над «Комсомольской поэмой», часть которой сложилась и увидела свет. Забегая

вперед, скажем, что почти все вургунские поэтические воплощения связаны с Азербайджаном, обнимая огромное историческое пространство, от пластов седой старины до кипучей современности. Речь идет о своеобразной поэтической летописи Азербайджана, отображении духовного развития и формировании национального характера.

...На тетради в красной обложке выведено: «Азербайджан (историческая поэма) 1934—1935, Баку, Самед Вургун».

Перелистаем ее. Она состоит из семнадцати частей — самостоятельных стихотворений и поэм, по словам самого автора, «внутренне связанных друг с другом».

«Историческая поэма» начинается «Песней поэта». В тетради один из черновых вариантов известного стихотворения, напечатанного в 1935 г. под названием «Азербайджан. Пролог поэмы». Год спустя Вургун публикует переработанный текст, а еще через год — расширенный, окончательный вариант. Так родилась одна из жемчужин национальной лирики — стихотворение «Азербайджан», известное русскому читателю во вдохновенном переводе Аделины Адалис:

Я ходил по горам, я глядел меж лугов
В журавлиные очи родных родников,
Издали выслушивал шум тростников
И ночного Аракса медлительный ход...
Здесь я дружбу узнал, и любовь, и почет...

Все стихотворение — монолог лирического героя, обращенный к матери-родине, проникнутый чувством кровной причастности к ее многогрудной судьбе, к духовному бытию народа; монолог, проникнутый благодарной любовью, то печально-раздумчивый:

От невзгод поседела твоя голова...
Как ты много терпела — и снова жива!

то преданно-влюбленный:

...Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан...

то патетически-трибунный и мажорный:

...Но пришла благородная слава твоя, —
Велики твои дочери и сыновья!

Очарованный и в то же время пронизательный взор поэта обнимает даль времени и даль пространства, и в этой многозвучной, многоцветной панораме оживают седые вершины, плодородные долины, тенистые чинары; слышится неумолчный гул рабочего нефтяного Баку, смех ленкоранских сборщиц чая, слышится «карабахское шикесте» — народная мелодия: из мглы памяти доносится грозный ляг скрестив-

шихся мечей и цокот копыт и «дорогие поэты старинной земли, как туманные звезды, мерцают вдали...»

Далеко отстоящие друг от друга веки народной судьбы и памяти, удивительно естественным образом сближаются и смыкаются в единую поэтическую панораму — симфонию от героических прашуров тянется преемственная духовная нить к преображенной «революционной новью» земле. В стихотворении проступает могучий образ народа в его национально-духовном самостоятельности и самобытности.

Каждая строфа завершается жизнеутверждающим аккордом. Упомянув о великих предтечах — Насими, Физули, Вагифе, поэт утверждает мысль о неистощимости народного гения, «но родится здесь много таких, как они...»

Вскоре после появления в печати это стихотворение завоевало широчайшую популярность, стало хрестоматийным. Нет азербайджанца, который бы не знал его наизусть. Это не просто стихи, это «песнь песней» поэта, проникновенный гимн любви к родному народу, к Отечеству...

«Азербайджан», задуманный как пролог эпосу, можно уподобить увертюре всей поэзии Самеда Вургун. Как отмечал сам автор, «Азербайджан» соответствует программе моей жизни. Сколько я буду жить и творить, вы все это найдете в тех мотивах, которые я вложил в это маленькое стихотворение...» Это признание было сделано почти десятилетие спустя после опубликования стихотворения и было выверено круто набравшим силу и размах всенародно и всеобщим признанным опытом... Еще через десять лет, на закате короткой и искрометной жизни, Самед Вургун первым будет удостоен звания народного поэта республики, и этот эпитет обозначит не столько почетный ранг, сколько самое существо художника... Об этом прекрасно и точно скажет большой друг Вургун замечательный мастер русского поэтического слова, Николай Семенович Тихонов: «В Азербайджане, стране поэтов, где народ чтит такие имена, как Низами, Хагани, Вагиф, не так легко завладеть сердцами и получить высокое признание народного поэта. Самед Вургун — певец народа, сам вышедший из его рядов, сам деливший с ним все его беды и заботы. Он имел право воскликнуть в своем знаменитом стихотворении:

Можно ль песню из горла украсть? Никогда!
Ты — дыхание мое, ты — мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города...
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

...Листаем тетрадь в красном переплете. «Веление земли» — так называется вторая часть задуманной эпопеи. Родная земля, обильно орошенная кровью и потом, по которой

опустошительным вихрем промчались завоеватели, «омыв мечи кровавые в ключах», земля, чьи сокровища текли в казну чужеземцев, — не заросла травой забвения.

О мой поэт! Возьми перо, внемли
В дастане новом голосам земли,
Внести в него сокровище во мне,
Пиши о легендарной стране,
Я ведь свидетель памяти седой...

Голос земли подвигает поэта воплотить ее героическую историю, ее сегодняшнюю новь. И поэт перелистывает ее летопись — «с младенческой поры» до нынешних времен.

Главы «Прикличение» и «Грезы Зороастра» уводят нас в глубокую древность, ко временам, когда наши прашуры поклонялись священному огню. Взору предстает некая первобытная, овеянная дымкой легенды воляница: шатры кочевого люда, слышится топот табунов, сливающихся с раскатами грозы... «История — протяжный мост от легенды к яви». Так и строится повествование: «От легенды к яви». Поэт движим жаждой постижения чаяний народа, его духовного бытия, движения, он хочет прозреть нити, связующие отшумевшие века, и видит их в сквозной, неугасающей думе о свободной, справедливой и безбедной доле. История борьбы народа за самосохранение сопрягается с историей духовного движения.

Зороастр (Заратустра) предстает первоучителем народа, опозитизированным воображением автора. Впоследствии он не однажды войдет в мир раздумий поэта о вековой борьбе добра и зла в их исторических и социальных истоках.

Пройдет тысячелетий караван,
Оденет траур низкий Ахриман,
Седьмь Ормуздом* побежденный. Прочь
Крошечная навек умчится ночь.
И солнце воссияет над землей,
Над व्यюжною и темною землей...
...И славы мира станет человек.
И хворь, и кровь, и мор уйдут навек.

Философия Зороастра осмысливается как мечта об идеальном будущем, как гуманистическая утопия о возрожденных пустынях, о свободном сообществе людей, где торжествуют добро, свет, жизнь...

В этой же главе тезисно и одновременно эмоционально очерчены контуры философской рефлексии — раздумья о путях человеческого познания и движения к истине, к свободе.

* Ахриман — божество зла, Ормузд — божество добра, по зороастрийскому учению.

«Сын человеческий с появления своего на земле и до ныне впадал в мечтания. Одержимый любовью к свободе, кидался в объятия дум, бился в волнах познания с бурями и штормами.

Седой Зардушт (Зороастр)! Глава великий мира тайн и преданий! Теперь ты внесли мне. Внесли, увидя, что произошло после тебя, что пришлось пережить миру сему.

Упорство не оставил человек, он вновь в исканиях. И мы подолгу искали, подолгу допытывались тайн пучин. Что ж мы постигли и чего достигли? О чем история нам говорит?

Земли издревле слава — человек. Но что творили, руки человека? Здесь жизнь взмола, там кровь лилась от века. Здесь — шахи, что в венцах кровавых и багровых, там — мир рабов, влачащихся в оковах. Хоть гений и пророк на поле битвы коней пускали вскачь, но избавленья так и не достигли... Напротив, тщась быть «путеводом к счастью», поирали память человечества... Седой Зардушт! Услышь издадека, что принесли позднейшие века».

Создавая свою эпопею, Самед Вургун обращается к источникам народной поэтической фантазии. Сюжеты главы «Погибшая любовь», «Легенда о роднике», «Девичья скала», «Скала Аслана» целиком построены на преданиях. Причем Самед Вургун рассматривает историческую память в целостном виде, со светом и тенью, солнцем и мраком.

В «Погибшей любви», где речь идет о доисламских временах, о поре язычества — тотемов, повествуется о древнем обычаях, закреплявшем порабощение женщины.

«Легенда о роднике» переносит нас в четвертый век до новой эры. Речь идет о популярной в мировом фольклоре теме «живой воды».

Тираноборческая, вольнолюбивая идея звучит в поэме «Виселища» (в рукописи она расчленена на одноименную поэму «Меч и Коран»), о завоевателях иных времен, под зеленым стягом ислама ринувшихся на Кавказ, используют религию как орудие закабаления этого благодатного края. В центре поэмы — героическое противостояние нашествию халифата, которое на протяжении двадцати лет (816—837) велось под предводительством отважного сына азербайджанского народа Бабека. Жизнь и борьба Бабека привлекали внимание многих историков и ориенталистов. В Азербайджане образ его воплотил в известной драме «Невеста огня» Джафар Джаббарлы, а в недавнее время снят фильм по сценарию Энвера Мамедханлы. Русскому читателю имя патриота-борца запомнилось по поэтической

драме Ильи Сельвинского «Орла на плече носящий». У Самеда Вургун Бабек предстает на плахе, уже схваченный врагами и обреченный на мучительную казнь, которую он принял с великим достоинством и мужеством.

«Боль Физули» доносит до нас из мглы средневековья скорбный глас великого певца-печальника народа: «В разлуке ночь горит огнем душа моя, сочится кровью из очей — ключей слеза моя». На закате XVIII в. трагически обрывается на плахе жизнь поэта Моллы Панаха Вагифа — жертвы дворцовых распри («Смерть поэта»). Эта страница эпопеи развернется в поэтическую драму «Вагиф», которой суждено завоевать всенародное признание... С Шушой, где разворачивается действие драмы, связана и легенда «Девичья скала», продолжающая тему раскрепощения женщины, борьбы против закабаления любви.

В «Скале Аслана» хронология событий азербайджанской истории приближает нас к началу минувшего столетия. Эта поэма, выделяющаяся художественными достоинствами и значимостью содержания, являет сплав фактов реальной истории с поэтическим вымыслом и фольклорными мотивами. Перед нами оживают страницы сложного исторического этапа, связанного с насильственным присоединением феодального Азербайджана, раздробленного на ханства, к России. Процесс этот был драматичным. Не будем забывать и о том, что поэма писалась в середине тридцатых годов, под звон «культовских» фанфар, имитировавших розовое благополучие и полную исчерпанность межнациональных проблем. Тем большего внимания заслуживает попытка поэта всмотреться в трагическую страницу прошлого, когда решался вопрос о выборе исторического пути. Решался не столько доброй волей азербайджанского народа, а силой вооруженной имперской экспансии.

8 февраля 1806 г. у стен бакинской крепости при сдаче ключей от города Гусейнукили ханом убит царский генерал Цицианов, вступивший во главе воинства в пределы ханства. Конечно, это акт отчаянной мести, и убийство одного сатрапа не могло изменить сути самодержавной политики. Но примечательно, что поэт «перекладывает» ключи и кинжал из рук хана-властителя и мстителя в руки вымышленного героя — человека из низов Аслана, влюбленного в ханскую дочь — Махнияра.

Тем самым автор сознательно смещает социальный полюс противостояния и дает читателю понять, что именно трудовые низы, асланы, а не гусейнукилханы вправе олицетворять достоинство и честь народа... «Так получай, не спрашивай зазря — вот вам гостинiec от «рабов» царя!» —

с этими словами Аслан вонзает кинжал в генеральскую грудь... Цицианов — проводник имперской политики. Но знаменательно, что поэт не показывает предводительствующее генералом войско как послушную, безропотную массу. Простые русские люди, одетые в шинели, отнюдь не желают кровопролития, не хотят быть орудием порабощения другого народа. Об этом говорит эпизодический образ русского солдата-крестьянина, тоскующего по покинутой родной земле, по родным березам, деревенской избе, где осталась его семья... «Зачем пришел я в чуждые края?» — задается он вопросом, навлекая гнев грозного князя, и расплачивается жизнью за свои «крамольные» сомнения... Таким образом, поэт стремится провести грань между Россией царской и Россией демократической.

Поступившись буквой истории, поэт остается верен ее духу, классовой природе происшедших событий. Другое дело — наше сегодняшнее, неоднозначное понимание классовых достоинств и добродетелей...

В следующем повествовании — «Горькие воспоминания» — поэт обращается к недавнему прошлому, к поре своего детства. При всем личном характере описываемых эпизодов, рассказывающих о тяжелой доле женщины-матери, об отце — обедневшем беке, поэма вписывается в общий контекст эпохи как правдивый художественный документ о дореволюционном селе.

В «Бессмертных героях», позднее опубликованных под названием «Двадцать шесть», в эпопею врывается гул революционных сражений.

Стих в ней энергичен и сжат, она впечатляет патетической силой.

...Слушай, степь! Резкий ветер,
уйми свой полет!..
Сердце бьется в тоске и спасения ждет..
...Как ясна, как бела эта ночь, погляди!..
Поезд — точно клеймо у нее на груди..

...Утром желтое солнце взошло над страной..
...Постарела веселая за ночь одна..
...Отвечай, Ахцакум, и скажи одно:
Что за озеро кровью до края полно?

(Перевод Б. Соловьева).

Увы, эта поэма, отмеченная печатью большого таланта и искреннего воодушевления, как и другие яркие воплощения темы 26-ти (Маяковский, Асеев, Есенин, многие другие мастера советской поэзии) ушли в разряд талантливых заблуждений, поэтических букетов, возложенных к подножию рухнувших кумиров...

В последние годы широкой публике стали известны десятилетиями замалчивавшиеся факты о неблагоприятной роли деятелей Бакинской коммуны, в частности С. Шаумяна, в истреблении мусульманского населения в Баку, Шемахе, Губе под лозунгом борьбы с контрреволюцией. Это замалчивание, по сути, усыпление исторической памяти нашего народа аукнулось в наши дни карабахской трагедией...

«Восстание» — следующая поэма показывает эпизоды борьбы за новый мир в отдаленном селе. Крестьян возглавляет знакомый нам по «Комсомольской поэме» большевик Керем.

Стихотворением «Орденосный герой», автор завершает эпическую панораму. Она была создана в удивительно сжатые сроки — за один год. И это при напряженном, активном участии в литературной и общественной жизни. Нельзя не изумиться плодовитости поэта, небывалому взлету его творческих сил, его крылатому вдохновению!

Обозревая печать, архивные материалы той поры, мы видим, что нет мало-мальски значимого общественно-политического события, литературной акции, где бы Сamed Вургун не участвовал — словом или делом.

31 декабря 1934 г. азербайджанскую литературу постигла тяжкая утрата — не стало блистательного драматурга Джафара Джаббарлы. На утро 1 января нового года, в газете «Гяндж ишчи» («Молодой рабочий») появляются стихи Самеда Вургун, днем позже в другой газете его же статья, посвященная памяти замечательного мастера слова. Через две недели в Доме красных аскеров и моряков усилиями Самеда проводится вечер памяти драматурга... Таким он был всегда — внимательным и бережным сотоварищем и другом.

Через два дня после литературного вечера он уже в Тбилиси, на VII Закавказском съезде Советов, где он избирается членом Закавказского ЦИК.

В феврале Сamed Вургун участвует в пленуме писательского союза республики, в марте — на пленуме в Москве, где выступает с докладом о литературной критике.

Горение — так можно определить его неуемную деятельность, его безоглядно щедрую творческую и душевную самоотдачу. Он весь — движение, порыв. Он жаждет общения, познания. Он любит окунаться в гущу жизни, зажигаться и зажигать. Он спешит отдать раскаленные, только что родившиеся строки на суд читателей, народа. Нет, по-

жалуй, такого уголка в Азербайджане, где бы он ни побывал. В начале июня он отправляется в Гянджу, к тому времени уже названную Кировабадом. Здесь увидели свет фрагменты из эпопей «Азербайджан». В клубе «Вышка» читатели и слушатели восторженно принимают его стихотворение «Азербайджан»... В середине июня он снова в пути, на сей раз он едет в Грузию для участия в декаде азербайджанской поэзии. Об этой поездке он вспомнит чуть позже:

«Я — в историческом городе (Тбилиси — авт.), в гуще кипучей жизни... Этот город, в чьем каждом камне живет тайна, и в каждой древней развалине — легенда, ведет разговор с человеком: ныне он стал колыбелью разных наций, центром большой Закавказской федерации...

Аудитория, заполненная грузинскими трудящимися... Я... читаю стихи:

Но ты помнишь, Эльбрус, ты еще не забыл,
Как в далекие, темные годы
Здесь изгнанник-поэт, размышляя, бродил
И слатгал свои песни свободы.

Через сумрак былого я тоже прошел
И поэтому понял сегодня,
Что надежно построен в грядущее мол
И разрушены к прошлому сходяи...»

(«Кавказ». Перевод К. Феоктистова).

...Они, хотя и не знали турецкого языка, в глубоком волнении вслушиваются в гармонию и музыку стиха...»

Через несколько лет, в суровые годы войны, поэт выступит в Тбилиси на антифашистском митинге, воодушевляя сражающихся соотечественников-кавказцев героическими образами. Интернационализм — «чувство семьи единой» — для него не пустые слова, и потому он горд и счастлив своим участием в духовном сближении народов. «Считаю чрезвычайным, серьезным событием настоящую встречу грузинских советских писателей и азербайджанских поэтов, — пишет он в газете «Ени кенд» 17 июня 1935 г. — Эта встреча поможет еще больше укрепить связь между соратниками литературы наших братских республик».

В дни пребывания в Грузии выходит первый сборник поэта на русском языке — «Стихи и поэмы». Он не может нарадоваться: ведь на русском языке вся страна читает. В книгу вошли лирические стихи, отрывки из «Комсомольской поэмы», поэма «Локбатан». Его музыка заговорила по-русски благодаря труду живших в Закавказье поэтов Б. Себрякова, В. Наседкина, Р. Ивнева и Б. Брика. В 1935 г.

выходит еще одна книга на родном языке. В «Стихи» вошло большинство ранее опубликованных произведений.

Когда же он все это успевал: и эпопея, и поэдки, и забота писательского союза... И еще одно грандиозное, ответственное дело — перевод пушкинского «Евгения Онегина». В отношении Самеда известный девиз «ни дня без строчки» впрямь видоизменить: «ни часа...» День, прожитый без творчества, он готов был считать потерянным. Он жил поэзией. Работал самозабвенно. Писал, в основном, по ночам. Близо знавший его известный хирург, академик медицины Мустафа Толчибашев вспоминал о московской встрече с поэтом в дни II съезда советских писателей. Самед, живший в гостинице, оказался в шумной компании коллег и досадовал, что не может писать. Воспользовавшись тем, что друг его — хирург жил в номере один, поэт перебрался к нему и прожил у него две недели, усиленно работая при этом. Курил он безбоянно — отгоняя сон, собираясь с мыслями, забыв о еде. Мустафа Толчибашев, видя такое, пожурил поэта, призывая пощадить себя. Самед усмехнулся: «Все это верно, Мустафа бек, но... после восьмидесяти. До восьмидесяти режим должен подчиняться человеку, а уж после — человек режиму...»

За две московские недели он успел написать изрядно — стихи, фрагменты поэм...

НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ

В связи с 15-летием установления Советской власти в Азербайджане 16 января 1936 г. делегация республики отправилась в путь — в Москву. В ее состав входили знатные нефтяники, хлопкоробы, деятели культуры и науки. Самед Вургун был единственным писателем, вошедшим в состав делегации. У него двойная радость — в декабре у него родился первенец — сын, нареченный именем деда — Юсиф.

21 января в Кремле на правительственном приеме В. М. Молотов приветствует и поздравляет посланцев республики. Слово предоставляется буровому мастеру И. Миканладе, бригадиру хлопкоробов М. Алиеву, летчице С. Нуревой... Они говорят о достижениях республики с энтузиазмом и волнением. Последним выступает смуглолицый молодой поэт с копной волнистых черных волос.

Надо представить атмосферу тех лет, исподволь насаждавшуюся сверху и ставшей массовой, обожания и возвеличения «отца народов», чтобы понять и поверить в искренность воодушевления поэта, обратившегося в тот памятный вечер с приветом «лучшему большевику»:

От звезд, проплывающих над Баку,
От женщин, не знавших чадры на веку,
От крыл журавлей, что звенят наверху,
Из песен, что множат струну на строку...

(«Привет вождо». Перевод Н. Асеева).

Как говорится, из песни слова не выкинешь. Множество искренних и даже талантливых строк ненадолго пережили своего «увековеченного» адресата...

Благосклонное внимание «отца народов» к поэту на встрече сыграло роль своего рода «охранной грамоты» в дальнейшей судьбе поэта и, надо полагать, не однажды удерживало грозного республиканского экзекутора Мир Джафара Багирова от крайних карательных мер по отношению к Самеду Вургуну. О причинах периодической опалы поэта мы расскажем позже. Пока же небо безоблачно... Самед Вургун удостоен ордена Ленина. Можно приписать награду, связанную с именем вождя, милости фортуны, олицетворенную тем, кто считал себя продолжателем дела Ленина. Но это был тот случай, когда государственное признание соответствовало народному. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе», — эти исповедальные строки известного русского поэта можно отнести и к умонастроениям многих и многих деятелей многоязычной советской литературы.

«В продолжении всей встречи я с напряженным вниманием следил за дорогим лицом тов. Сталина. Я видел, как радовался он выступлениям моих товарищей, как радовался нашим успехам», — вспоминал поэт. (Счастье Литературная газета, 26 января 1936 г.). И далее: «...Быть советским писателем — значит быть счастливым человеком. Как много в нашей действительности источников вдохновения для художников! Этим мы целиком обязаны мудрой ленинско-сталинской национальной политике.

...литература освободилась от векового пессимизма, стала радостной и жизнеутверждающей.

Слава мудрому учителю, который... Нет нужды продолжать цитату. Она предсказуема по знакомой интонации...

Самед Вургун верил, что бразды правления страной — в чистых и непогрешимых руках...

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

1936 г. по сравнению с минувшим годом «скуп» на творческие плоды: всего десяток с небольшим стихотворений. Верно, он по-прежнему деятелен, лира его чутко отзывается на многие тогдашние события. Приезд К. Вороши-

лова в Баку, кончина А. М. Горького, 25-я годовщина смерти великого сатирика Сабира, процесс над «троцкистским блоком», первомайские торжества...

Голос его звучит с трибун различных форумов, будь то писательский пленум, поэтический вечер или совещание хлопкоробов-стахановцев. Как один из руководителей оргкомитета по подготовке памятной даты — 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина, он проводит многие начинания. Все это — своим чередом. Но главная причина неподовитости его оригинальной поэзии — перевод «Евгения Онегина», поглотивший всю его творческую энергию.

Конечно же, это был не «юбилейный», преходящий порыв. Памятная дата лишь подстегнула давно зревший замысел. Еще в московскую студенческую пору он предпринимал такую попытку. Профессор У. Фохт вспоминает, что С. Вургун, «будучи студентом П МГУ, задумал перевод «Евгения Онегина». Не владея в это время в полной мере русским языком, он просил меня помочь ему в осуществлении этого замысла. С. Вургун часто приезжал ко мне, и мы часами сидели за одним столом. Я старался дать ему понять смысл отдельных строк, затруднявших его. Это была очень приятная работа, о которой вспоминаю с удовлетворением».

Приступив к переводу в 1935 г., поэт смог системно заниматься им лишь после завершения эпического цикла «Азербайджан». Он проводит большую подготовительную работу, «вживаясь» в мир пушкинского стиха, стремясь постичь сокровенный смысл, крылатый артистизм великого оригинала, задумываясь о путях бережного перевоплощения его достоинства на азербайджанском языке... Он не довольствуется вчитыванием в роман, изучением других творений поэта.

«Большим подспорьем в работе были исторические материалы о творчестве Пушкина, критика и библиография... я изучал обстановку, в которой работал Пушкин, его настроения и т. д. В работе меня неотступно сопровождала одна мысль — избежать схематизма в переводе, сделать перевод живым, полнокровным, доступным и понятным азербайджанскому народу», — писал Самед Вургун в «Новом мире» год спустя. Творческая лаборатория, переводческие принципы поэта более обстоятельно раскрываются в его выступлении на заседании национального бюро Союза писателей СССР 2 октября 1943 г., посвященном теоретическим и практическим вопросам художественного перевода:

«Социально-политические мотивы, идейные устремления произведения... передача отдельных... характеров, пейзажи...

— все это вместе взятое нужно сохранить в любом переводе. Но я уловил в этом произведении что-то другое... В «Евгении Онегине» я чувствовал великую, как океан, грусть великого поэта. Я понимаю это не в смысле пессимизма или отступления от жизни...

...Он оплакивает и Татьяну, и Ленского, он оплакивает и Онегина... можно сказать, что Пушкин — великий левец великого горя... Я боялся русского стиха. У Пушкина сильные слова, жалко их менять и что-то добавлять. Скажу, кстати, что я сохранил форму «Евгения Онегина»... и поדרך рифмовки. Это очень усложнило работу.

Но, кроме того, я сам симпатизировал некоторым героям. Например, судьба Ленского, его слова у меня сделаны очень тепло... не потому, что я хотел Онегина перевести холодно, но это получилось невольно. Когда-то я в ранней молодости проиграл в любви, и его... (Ленского) печаль я как бы ощущал сам. Я нашел в нем что-то общечеловеческое. Я думаю, что если поэт-англичанин будет переводить «Евгения Онегина», он также почувствует в лице Ленского близкого человека и поступит так же, как я».

В современном переводоведении не утихают споры о мере участия индивидуального, субъективного начала в переводческом процессе. Одни ратуют за полное «саморасторжение» переводческого «я» в переводимом оригинале во имя максимальной адекватности. Сторонники другой точки зрения, ссылаясь на общепризнанные достижения, отстаивают право талантливого переводчика на творческое прочтение подлинника, на отступление от буквы во имя передачи духа. Такому пониманию созвучна известная мысль В. А. Жуковского: «Переводчик прозы — раб, переводчик поэзии — соперник». Близка к такому подходу позиция и практика Б. Л. Пастернака, считавшего, что надо переводить «поэзию поэзией». Как художник пристрастный, темпераментный, неравнодушный, Самед Вургун не мог оставаться только предельно аккуратным и послушным трансформатором текста. Именно потому он рассматривал перевод «Онегина» как свое кровное дело, как факт оригинального творчества, требующий предельной самоотдачи: «Я считаю этот... перевод одним из моих больших произведений. Я смотрю так, что «Евгений Онегин» на азербайджанском языке должен быть моим оригинальным произведением, т. е. на азербайджанском языке его автором полностью должен быть я, именно автором, и если я этого не добился, значит, я должен вернуться к этому переводу, чтобы поднять его на такую высоту, чтобы это вошло в биографию

рафию нашей национальной литературы и нашего народа. Это опять-таки из уважения к Пушкину и к нашему великому русскому народу».

«Я боялся русского стиха...», — в этом признании сквозит благоговейный трепет перед магией и очарованием гениального мастера. Но творчество — это, прежде всего, свобода. Пиетет перед оригиналом чреват опасностью слепого копирования. Рафаэль Альберти вспоминал, что как-то он читал свои стихи Федерико Гарсиа Лорке, и тот вдруг прервал друга словами: «Ну хватит, а то я начинаю подпадать под твое влияние». В нашем случае, по признанию Самеда Вургун, он опасался, что могучая стихия пушкинских стихов увлечет его на своих волнах и, подчиняясь их ритму и ладу, он невольно отдастся от естественного лада азербайджанского языка, от той естественности, органичности, без которой он не мыслил полноценное переположение русского поэтического слова. Чтобы передать произвольный лиризм романа, переживаний и признаний Татьяны, чтобы читатели перевода полюбили ее так, как они любят прекрасную Лейлу из поэмы великого Физули, надо было достичь национальной естественности, музыкальности языкового строя. Любопытная деталь: работая над переводом, С. Вургун просил жену ставить на патефон азербайджанские пластинки.

Жаркое лето 1936 г. поэт провел на апшеронской даче, в селении Новыхан у Каспийского взморья, поглощенный пушкинским миром. Августовской ночью поставил последнюю точку. Ему кажется: гору своротил.

Жемчужины пота на лбу. Я провел
Два года в горячем труде. Наконец
На азербайджанский язык перевел
Поэзию русской нетленной венец...

...Я много бессонных ночей пережил,
В труде своем видел тебя наяву.
Тобою дышал и с тобой говорил,
И если счастливым себя назову,
То это лишь песни взовлывающий звук,
Лишь честного сердца отчетливый стук.

(А. С. Пушкину, перевод С. Иванова).

Наутро после бессонной ночи Самед спешит сообщить о завершенной работе Абдулле Шанку, читает ему посвящение Пушкину и последние строфы «Онегина».

— Ну как, Мирза, нравится?

Абдулла Шанк имел возможность наблюдать, как самозабвенно трудился Самед, иногда по несколько раз перекаявая, перечеркивая строки, не замечая ничего вокруг, ни

нещадного зноя, ни манящей прохлады близкого моря... И прежде чем Шанк произнес слова похвалы, Сamed прочел ответ в святящихся радостью глазах старого мастера...

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Как члену Пушкинского комитета Самеду Вургуну надо хлопотать о вечерах, выставках, особенно о выпуске переводного трехтомника русского классика, к которому он привлекает ведущие литературные силы... В ряду этих дел — первая «Антология азербайджанской поэзии» на русском языке, приуроченная к 20-летию Октября.

Но была еще одна забота, тревожная забота, вселявшаяся в сердца миллионов людей. Шел 1937 г. Трагические редели ряды творцов культуры, деятелей партии, рыцарей революции, на которых обрушились чудовищные обвинения и репрессии. Люди, беззаветно служившие революции, социализму, объявлялись опричниками авторитарной машины — «врагами народа». Над державой навис «дамоклов меч» сталинизма. Его злоеющая тень витала и над Азербайджанской Республикой, где судьбами людей вершили лжепатриот Мир Джафар Багиров и насажденные в органы НКВД, послушные его воле экзекуторы — Сумбатов-Топиридзе, Григорьян и иже с ними.

Как известно, волна репрессий круто поднялась с августа 1936 г. процессом по сфабрикованному делу Каменева, Зиновьева и других «троцкистов», обвинявшихся в организации убийства С. М. Кирова. Поиски скрытых «крамольников» приобрели тотальный характер. «Надо понять, что враг маскируется очень тонко, и неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии», — писала «Правда» 7 августа 1936 г.

Литература понесла невосполнимые потери. Умолкли неповторимые голоса. Но предпринимаются все новые шаги к «повышению классовой бдительности». Общее собрание писательского союза республики в сентябре исключает двух писателей из рядов союза, обвинив одного за интервью мусаватской газете во время командировки в Стамбул, а другого — в «националистических» мотивах, наличествующих в стихах. Несколько позже остракизму подвергся еще ряд литераторов. Кара не ограничилась отторжением...

Увы, находились люди и из пишущей братии, зараженные манерой подозрительности и гордившиеся не творческими удачами, выявлением «замаскированных врагов». Бесталантные карьеристы во имя собственного возвышения

чернили неугодные таланты как «агентов немецко-япского фашизма», «троцкистов», «национал-уклонистов», «мусаватистов» и т. п.

Председатель союза М. К. Алекперли снимается с должности за потерю «бдительности» и допущенный либерализм в руководстве.

В январе 1937 г. в Москве состоялся новый судебный процесс по делу «антисоветского троцкистского центра» — Пятакова, Серебрякова и других. 28 января, когда в зале еще звучали обвинительные речи, в Союзе писателей республики проводился митинг, участники которого требуют наказания «преступников». Газетная корреспонденция о собрании дается под шапкой: «Наша победа». Сamed Вургун читает на собрании «Песню счастья», тон которой соответствует искусственно нагнетаемым официальной пропагандой настроениям:

В рассветных окнах плавится заря,
До коммунизма мало лет осталось...

Митинговали повсеместно. Приближение лучшего будущего мыслилось поступью монолитно сплоченных масс, сметающих с пути врагов, в злокозненности которых не было сомнения...

Об этом зловещем единодушии масс позднее с горечью скажет Александр Трифонович Твардовский в поэме «По праву памяти», завершенной в 1969 г. и прождавшей еще двадцать лет публикации:

Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь.
В ущерб любви к отцу народов
Любая прочая любовь...
...Рукоплещи всем приговорам.
Каких постигнуть не дано...

Целая полоса «Адабият газети» от 6 февраля 1937 г. под рубрикой «Если враг не сдается, его уничтожают» была посвящена откликам на приговор по делу «троцкистов». В ряду других авторов Сamed Вургун выступает со стихотворением «Вестникам смерти».

Значительное, если не подавляющее большинство людей безоглядно и искренне верили в праведность и непогрешимость тогдашней Фемиды... Кому понять?..

Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?
...О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?

Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста,
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста?

...Не мы ль, сыны, на подвиг дерзкий,
Но жертвы призванной земли,
То имя-знамя в нашем сердце
По пылитеткам пронесли?

...Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране, семье,
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле...

Прислушаемся же к исповеди великого русского поэта, современника нашего, к исповеди, обнажающей со всей полнотой «историю болезни», пережитой страной...

ПУШКИНСКАЯ МЕДАЛЬ

Да, сложен, труден, порой трагичен был опыт созидания «нового мира». Но была и великая историческая реальность, которую прозревал в пророческих мечтах Пушкин, — Россия, сокрушившая самовластье, где назовет его «всяк сущий в ней язык».

Самед Вургун весь в «пушкинских» делах. Вышел в свет трехтомник. В филармонии — выставка. В театре оперы и балета имени М. Ф. Ахундова — торжественный вечер. Стихи С. Вургуня «Пушкину» в республиканской газете. Интервью «Новому миру». 23 февраля выступление в Москве, на торжественном писательском пленуме. В марте он получает Пушкинскую медаль...

Той же весной вся республика обсуждает проект своей конституции, принятой на IX внеочередном съезде Советов. Среди ораторов съезда — Сулейман Рустам и Самед Вургун.

«Свобода слова, свобода печати — счастье, о котором испокон веков мечтали и, увы, уходили из жизни с этой мечтой великие философы, гении, поэты.

Свобода слова означает в полном смысле слова жизнь. Это необходимость, наиболее взыскуемая в нашу эпоху...

«Эта свобода обеспечена в нашем великом Отечестве...» С. Вургун, произнося эти слова, оказался в числе тех, кто принимал желаемое за действительное.

Конституция, которая долгие годы носила имя «мудрого учителя», по сути, стала лицемерной декларацией, шир-

мой авторитарного режима. Свобода слова, как принцип, в период культа личности была жестоко и произвольно регламентирована, что не могло не сказаться, в частности, на участии неординарных, глубоких художественных явлений. И только спустя полвека, если не считать «оттепели», середины пятидесятых, в условиях гласности и демократизации, многие имена были возвращены в духовный обиход народа.

Среди них Р. Ахундов, М. Гусейнов, Х. Зейналлы, А. Назим, Т. Шахбазы, Б. Талыбы и другие, которые, уже репрессированные, клеймились на очередном пленуме Союза писателей, состоявшемся вскоре после съезда Советов республики.

Вскоре в Москве проводится пленум ЦК ВКП(б), где в докладе Сталина подчеркивается, что капиталистическое окружение — «основной факт, определяющий международное положение Советского Союза, отсюда «неизбежность внедрения со стороны зарубежных разведывательных органов в Советский Союз вредителей, диверсантов, шпионов, террористов». В докладе Сталина, а также Молотова декларируется идея обострения борьбы с упомянутыми противниками. Это подливает масла в огонь...

В апреле азербайджанские писатели обсуждают выступление «вождя» «под огнем самокритики», как сообщала республиканская печать. Мишенью этой огульной «критики» становятся многие ведущие, виднейшие писатели.

Как же понимал свою задачу, как поступал в этой драматичной, аномальной ситуации Самед Вургун — секретарь писательского союза? Конечно, нам бы очень хотелось думать и знать, что талантливый, авторитетнейший художник попыл против течения, ринулся в бой с открытым забралом. Но сказать так, значит, погрешить против истины. Он был, что называется, человеком неробкого десятка. Но перед ним была стена политического императива, он чувствовал гул и скрежет административной машины, сокрушавшей, перемалывавшей все на своем пути... Он решил обойти эту стену, эту машину, стремясь оградить от поношений талантливых художников, не допустить исключения из Союза таких могучих мастеров, как Гусейн Джавид, Михаил Мушфик и другие, вокруг которых ломались копыя. Он знал, что означает такое исключение. Как бы то ни было, ни на мартовском пленуме, ни на апрельском собрании никто из писателей не был исключен из рядов союза, и в этом, несомненно, сыграли роль председатель С. Шаamilов и секретарь С. Вургун. Они амортизировали роковые удары, ограничиваясь полумерами. Но Самед Вургун не мог не чувствовать рискованность даже и такой пози-

ции: ведь на памяти было обвинение прежнего руководителя союза М. Алекперли — в «либерализме» и «утрате бдительности»...

* * *

А кругом бушевала яркая южная весна...

Весна 1937 года, обернувшаяся осенью для многих судьб.

В стихотворение «Весна и я», казалось бы, безоблачное:

...Вон муравей детей своих в саду.
Наверно, учит с первых дней труда
Я сына вывед из дому впервые —
Навстречу счастью первенца веда...

вдруг вторгается тень тревоги:

Весною, человек, не умирай!
Что если даже попадешь ты в рай.

(Перевод В. Кафарова).

Дословный смысл подлинника: «Не отдавай души, коль будешь умирать весной. Душа свята, да не попадет в беду...» Как мы увидим дальше, предчувствие не обмануло поэта.

В апреле на московском совещании драматургов обсуждается «вопрос» о Киришоне и Афиногенове, обвинявшихся в связях с Троцким. В передовице республиканской газеты «Коммунист» 17 мая под названием «Пресечь корни авербаховщины» читаем: «Из-за гнилого либерализма иных товарищей (М. К. Алекперли, С. Вургун), подлецы... (попадая имена репрессированных писателей — авт.), долгое время пребывая в Союзе писателей, воспользовались званием советского писателя и добились того, чтоб дать ход своим «художественным» произведениям... Все говорят об углублении самокритики, вещают об изобличении классовых врагов, но никто, в том числе руководители Союза писателей (С. Шамилов, С. Вургун, А. Велиев) сами не решаются расширить самокритику...»

Наконец, предписывалось «прежде всего, оздоровить обстановку в литературной организации, очистить ее от контрреволюционных отбросов, избавить... от антипартийных «теорий».

Самед Вургун не согласился с рядом выпадов и имел смелость открыто высказать свое мнение. Его реакция была расценена как клевета на газету. «Общее собрание отвергает грубую клевету Самеда Вургун на партийный орган

— газету «Коммунист», — сообщает 23 июня «Адабият газети».

После упомянутой передовицы в «Коммунисте» нашлись среди «собратьев» по перу завистники, которые стремились очернить и дискредитировать поэта. Поэт парирует удар стихотворением «Душонка».

Говорят, ты способен, талантлив. Но нет!
Коль с пустою душою, какой ты поэт?!

...Ты всегда улыбаешься мне, как родной,
Но, завистник, юлишь за мою спиною,
Взгляды, словно пластинки, меняешь порой...

(Перевод Л. Белова).

Стих прямолинеен — в тоне сквозит неприкрытый гнев и презрение «к подлецам, что готовы пойти на разбой». Но... «там, где сокол парит, нет грачей никогда».

Наутро после опубликования стихотворения проводится совещание секции драматургов для обсуждения передовицы в «Коммунисте». Критические страсти достигают апогея. Самед Вургун, ощущавший над собой «дамоклов меч», злое желание недовольства тогдашнего руководства республики М. Д. Багирова (как же: поэт посмел «грешить» на партийный печатный орган!), свое краткое выступление начинает с демонстрации бдительности: «Последние события показали, что в писательской среде есть враждебные элементы, вражеская агентура. Мы должны разоблачить их до конца и изгнать из своих рядов». Подлинные чувства Самеда Вургун раскрывает не вышеприведенная фраза, а мысль, высказанная дальше: «Мы должны упрочить дружбу, искренность в среде писателей, разом покончить с заглазными пересудами, склоками..., являющимися методом работы врага...» («Адабият газети», 24 мая).

Самед Вургун недвусмысленно давал понять любителям перемывать косточки другим, чем чревато их усердие, обретавшее в создавшейся обстановке доносительский оттенок... Ведь достаточно было чьей-то печатной или изустной инвективы, чтобы вечером к «скомпрометированному» объекту поступались неизвестные пришельцы...

С августа 1936 г. он печатался реже. У него зреет замысел пьесы о Вагифе. Но «погода» не благоприятствует углубленной большой работе, требующей душевного равновесия.

Выступление М. Д. Багирова на бакинской партконференции 21 мая еще больше нагнетает напряженность в литературной среде. Высокопоставленный оратор обвинял писательский союз в утрате «большевистской бдительности» и

требовал от него очищения своих рядов. Самед Вургун, как один из руководителей союза, хорошо понимал, что от обвинения в «либерализме» до клеима «враг народа» — один шаг...

Печать захлестнула подписанные открыто или псевдонимами призывы «глубоко проверить наши ряды», изгнать из Союза писателей таких-то ослушников; бросались опасные камушки в огород «либеральных» писательских вожаков... Критический раж «праведников» не знает удержу.

Ныне мы обстоятельно говорим о горьких плодах сталинизма, как-то минуя его местную «проекцию» — «багировщину». Между тем, прозванный народом «палачом», сей руководитель и его прихвостни творили чудовищные бедствия. 3 июня начался XIII съезд коммунистов республики. Послушаем, какую «оценку» Союзу писателей давал первый секретарь М. Д. Багиров в своем отчетном докладе.

«...на протяжении ряда лет писательская организация засорялась случайными, а порой чуждыми, классово-враждебными элементами.

Факт, что в течение долгого времени безнаказанно в рядах писателей находились враги народа Талыблы, Шахбазы, Али Назим, Ахмед Джавад и другие...

...Факт, что троцкист-фашист Авербах со своей бандой не раз избирал Баку для своих контрреволюционных походов...

...что Союз писателей и по сегодняшней день не очистил свои ряды от таких матерых буржуазных националистов, как Сеид Гусейн, Салман Мумтаз, Юсиф Везир, Санылы, Гусейн Джавид и др...

...если все эти враги раньше покрывались и поддерживались... (следует фамильный перечень — авт.), сегодня им покровительствуют и их поддерживают такие гнилые либералы, как... (следует перечень — авт.).

...несмотря на неоднократные предупреждения... (следует перечень — авт.) не делают для себя необходимых выводов...

И так далее.

Громовержец, не жаловавший вниманием книг на родном языке, не смысливший в искусстве, говорил с писателями тоном ментора и прокурора. Невольно вспоминаются строки упомянутого в «черном списке» Гусейна Джавида: «Обучают танцам нас хромцы, и величия жаждут подлещи».

Через день, еще до завершения партсъезда, ряд выдающихся художников, с их недопетыми песнями, невоплощенными творениями, с болью в потрясенных сердцах был отторжен от любимого народа, от родного очага... Если ра-

нее клевета и шельмование писателей были эпизодами, то после вышеупомянутой анафемы гонения приобрели массовый характер.

«Дамоклов меч обрушился...»

Перечень заголовков в «Адабият газети» тех дней говорит сам за себя:

«Быть беспощадным к врагам»,

«Разоблачить до конца»,

«Там, где утрачена бдительность»,

«Надо начать чистку...».

Хотя в случае с Самедом Вургуном дело не дошло до крайних обвинений, тем не менее, его «не гладили по головке». Автор статьи «Нет места врагам в наших рядах» ядовито брюзжал: «Эти нетерпимые явления допускались как со стороны прежнего (Алекперли, С. Вургун, С. Рустам), так и нынешнего руководства союза (С. Шамилов, С. Вургун и пр.). И по сей день оппортунистски смотрят на это дело. В то время как давно требовалось разоблачение... враждебных элементов, руководство Союза оттягивало вопрос под всевозможными предлогами...» («Адабият газети», 9 июня 1937 года). Этому «стражу» вторили другие. В том же номере были опубликованы самозащитные, самозастраховочные покаяния критикуемых. Самед Вургун был вынужден говорить «О наших ошибках».

Тучи не рассеялись... Доклад — инвентива М. Дж. Багирова на съезде и последовавший затем арест ряда известных мастеров слова посеяли в среде писателей смутение. Иные из пишущей братии, не в меру честолюбивые, пекущиеся о собственном благополучии, не стеснялись в навешивании ярлыков на товарищей по перу.

На июньском собрании писателей, длившемся три дня, прошедшем «под знаком критики», перепало и Самеду: ему ставят в вину заступничество «за врагов народа» и прочие знакомые грехи. Он парирует удары. Злопыхатели не унимаются: дескать, он (и С. Шамилов) неискренни, дескать, под прикрытием объективных причин он пытается замазать свои «ошибки». Ораторы — «патриоты» требуют переизбрания руководства, роспуска правления, изгнания из Союза «врагов».

После трехдневных литературных баталий выносятся решение об исключении семнадцати (!) человек из рядов Союза, отстранении С. Шамилова и С. Вургун от руководства. Резолюция о них звучала как обвинение: «...отсутствие большевистской бдительности... гнилой либерализм...», которые привели к «грубому нарушению устава» и «просачиванию в ряды Союза» таких-сяких супостатов...

Мало того, «...Несмотря на признание Самедом Вургуну своих политических ошибок, собрание предлагает ему решительным образом разорвать свои связи с социально-опасными националистическими элементами и изжить до конца самоуверенность...»

В эти тяжелые дни Самед жил в новой квартире по улице Хагани — в писательском доме. О тучах, густившихся над ним, он умалчивал в семье, щадил и оберегал от волнений спутницу жизни, ждавшую ребенка.

Хавер-ханум вспоминает: «Как-то один из наших соседей-писателей примчался к нам встревоженный и выпалил, мол, «такого-то тоже увели». А я вижу, Самед поверх моей головы жестами и взглядом дает понять, чтоб тот придержал язык... Не хотел, чтоб я услышала дурную, тяжелую весть... Сосед виновато умолк...»

Самед подумывал увезти на лето семью из Баку: подалше бы от слухов, пересудов, дурных вестей, да и жара донимает. Тут еще раскисловал желудком маленький сын — врачи рекомендовали подлечить на курорте. Но выехать пока он не мог. Его обвинители не преминули бы истолковать отъезд как «бегство». Он поделился своими заботами с другом-писателем Джафаром Ханданом, собиравшимся выехать с семьей в Кисловодск, и попросил: «Заberi и моих. Пусть Хавер не слышит этих словопренений».

Отправив семью, он остался в Баку. Месяц спустя, видя некоторое смягчение обстановки, он едет с тещей Пия-ханум в Кисловодск. Хотя и пришлось пережить немало горьких минут из-за нападков и обвинений, он не терял присутствия духа, спасался работой, трудился дено и ношно. Итогом кисловодского «отдыха» были несколько переведенных глав «Витязя в тигровой шкуре».

В августе, по возвращении, он снова обнаруживает ухудшение «погоды». В эту горькую пору, 7 сентября, появляется на свет дочь — Айбениз. Спустя пятьдесят лет Хавер-ханум вспоминала: «Когда родилась Айбениз, он прислал мне букет цветов. Не могу забыть день, когда выписалась из роддома. Он пришел с другим своим Мехти Гусейном. Когда няня... передала ему новорожденную, я глазами подала знак Самеду, мол, дай ей магарыч. Полез в карман. А денег нет! И у Мехти оказался всего-навсего рублишко...»

Деталь не случайная. Бывшего секретаря писательского союза перестали и печатать...

Послушаем Хавер-ханум: «Хорошо еще, что был Мирзайи (Абдулла Шанк). Он-то и выручал, присылал из купленного на базаре. Самед мог бы жить и впроголодь, а без

папирос — никак... Как-то меня послал к курящему соседу. Я и пошла, стядься, попросила, мол, Гасан-гардаш, у Самеда кончились папиросы, а отрываться от работы не хочет. — Ладно. — Вскоре прислал мальчика с «Казбеком». А в коробке еще и сотенная... Самед обомлел, но не сказал ни слова. Погрузившись в раздумье, закурил...»

Его вызывали «наверх» для проработки. В печати подливали масла в огонь.

Сошлемся на воспоминания старшего брата поэта Мехтихана Векилова: «Дьявольские исчадия... стремились очернить поэта... клеветой о национализме... Самед Вургун, переживавший душевные страдания, с негибимой волей и исключительной отвагой, логичными и впечатляющими выступлениями нарушал планы своих противников. Как-то его вызвали в инстанцию. Кажется, было это осенью 1937 г. Мы судили-рядили и расстались у нынешнего музея имени Низами. Самед спросил при расставании: «Гара, у меня нет денег на папиросы...» Я полез в карман и протянул ему последнюю трехрублевку. Он глянул на деньги.

— Слушай, это вроде отцовской трешки, и у него больше трешки в кармане не водилось. С этой трешкой мне пофартит, не тужи — Самед впадал в некий фатализм, уповая на «отцовскую» трешку, как на талисман. Случается такое с людьми, попавшими в переплет.

До утра, не смыкая глаз, я ждал Самеда. Наконец он явился, подробно рассказал о происшедшем и добавил, что «они» крепко уцепились за стихотворение «Азербайджан». Не могут уразуметь, что это стихотворение — суть кредо всей жизни моей и всего творчества! Запомни! Я считаю себя самым что ни на есть интернационалистом. Всем людям, всем народам и всем нациям я чаю счастья и тружусь на этом пути. Но, наряду с этим, для меня неслыханная земля Азербайджан, а самый родной народ — азербайджанский, его язык, его поэзия — голос совести моей; он — моя родная мать. И если меня из-за этого хотят выставить националистом, пусть настанет день, и история обнажит истину».

В эту пору Самеду приходилось говорить неправду же-не, нянчившей грудного младенца. По вечерам, бывало, предупреждал: «Пойду подышу воздухом», — и возвращался под утро. Допросы тридцать седьмого обычно начинались с наступлением сумерек...

Об этих «беседах» за закрытыми дверями Самед Вургун говорил при обсуждении своего «личного вопроса» на секретариате Союза писателей СССР в Москве 26 ноября 1937 г. «На моем деле пробаовали сыграть большие люди.

Эти люди хотели запачкать мою репутацию своими закупленными разговорами, своими провокациями.

Между прочим, они хотели обвинить меня в национализме. Такого рода попытки продолжались... приблизительно два года. Правда, в течение этих двух лет они не могли, не смели, хотя бы об одной строчке, хотя бы об одном слове из моих произведений (а я автор десятков поэм и многих произведений)... открыто заявить, что у меня в таком-то произведении есть националистические мотивы.

...Хочу привести характерный пример, который показывает, как стремились... найти в моем творчестве элементы национализма... Посмотрите, до какой наглости дошли эти люди. Конечно, они не могли выступить с таким заявлением в печати... Мне сказали, что нашли у меня «элементы национализма». Я спросил, в чем эти элементы у меня выражаются... В стихотворении, посвященном нашему поэту Сабиру, я говорю: «В наших колыбельных песнях пел сладкий азербайджанский язык». Так вот, они мне заявляют: «Ты называешь азербайджанский язык сладким, значит, по-твоему, другие существующие языки — горькие?» Нужно... потерять совесть..., чтобы сделать такое заявление. Как могут образованные люди говорить такие вещи? Если, например, мы говорим о величии русского народа, это не значит, что все остальные народы мелкие; когда мы говорим о талантливом украинском народе, это не значит, что все другие народы бездарны. Я там же в кабинете прямо сказал: «Вы — паразиты! Если я буду слушать вас и такую вашу враждебную критику, то мне не быть поэтом моего народа и тогда я напрасно ношу орден Ленина на груди».

Были и печатные подголоски кабинетных громовержцев. Статья критика Александра Аббасова о переводе «Евгения Онегина», опубликованная на другой день после рождения дочери, омрачила единственную радость поэта в эти пасмурные дни. Конечно, он не скажет об этом жене, находившейся в роддоме.

Автор просторной, в половину газетной полосы статьи, после длинного разговора о содержании «Онегина», напоминания известных суждений Белинского о Пушкине, оговорок об ответственности переводчика такого произведения, вопрошал: «Смог ли выполнить Сamed Вургун взятую на себя задачу? Надо сказать, что достойно выполнить не смог, и в силу этого Сamed Вургун в определенной степени должен нести ответственность... Положившись на «редакторов», С. Вургун обращал больше внимания на форму, чем на содержание произведения, то есть... на соблюдение строфики и рифмовки. Многие пушкинские образы, эпитеты

искажены, в ряде случаев добавлены новые образы и эпитеты» («Адабият газети», 8 сентября 1937 г.).

Затем автор сопоставляет строки оригинала и перевода. Справедливости ради скажем, что в этих сопоставлениях указаны и верно замеченные огрехи. В отдельных случаях С. Вургуну не удалось передать всю полноту художественного содержания подлинника. (Поэт и сам не считал перевод идеальным и высказывался о намерении вернуться вновь к нему).

Дело было не в отдельных претензиях, а в общей тенденции статьи. Во всяком большом творческом, живом деле возможны слабые звенья и просчеты. Но разве подобные издержки давали повод критику перечеркнуть два года напряженной работы, писать о талантливом переводе, которому суждено было стать хрестоматийным образцом, бережно донесшим до миллионов читателей пушкинское творение:

«Перевод от начала до конца полон такими ошибками и искажениями... И в творческом отношении качество перевода очень отстает. Здесь нет поэтичности, присущей Пушкину...»

Во всяком случае, это произведение должно быть переведено заново...

20 сентября 1937 г. в той же газете появляется статья «О Самеде Вургуне», продолжающая проработку: «Очарованность примитивной сельской жизнью долгое время занимала основную линию в его творчестве... В его первых лирических стихах есть некая монотонность, неподвижность, мотивы тоски и пессимизма...

...Под завесой чистой природы, долин, рек, зеленых гор, kloкочущих соколов поэт идеализирует патриархальное село... В некоторых стихах он не осознает тактику рабочего класса и продолжает свои вредные рассуждения...

Единственным утешительным обстоятельством в этой статье, написанной под очевидным нажимом сверху, было то, что автор не отрицал таланта поэта и пытался выявить причины критикуемых черт (объясняя «идеализацию села» влиянием исконной почвы, «самоомнение» — вредным воздействием похвал, расточавшихся «врагами народа», эпитетов наподобие «азербайджанский Пушкин» и т. д.).

«У Самеда Вургунa есть поэтический талант, это бесспорно; бесспорно и то, что талант, не развивающийся, не умеющий... прочно стоять на уровне передовых идей советской эпохи — нечто бессмысленное и пустое. У Самеда Вургунa есть все возможности для развития».

Поэт тяжело переживал, но не терял присутствия духа. Это мужество шло от веры в народ, питалось народной лю-

бовью. Действительно, в эту пору Самед уже был одним из самых признанных, самых любимых поэтов в республике. Его стихи переходили из уст в уста, их знали стар и млад.

По свидетельству Хавер ханум, он в эти тяжкие дни говорил ей: «Народ меня знает, любит. Ничего со мной не смогут сделать. Уедем жить в село. Опять возьмусь учительствовать. Кусок хлеба можно и там заработать...»

После трехмесячной паузы в октябрьских газетах появляется имя Самеда — уже не в критических «склонениях». Тон явно переменялся: «Орденосный поэт товарищ Самед Вургун, окончив поэмы «26», «Басти»..., работает над «Комсомольской поэмой...»

Через месяц появляются в печати поэмы «Басти» (в русском переводе «Слово о колхознице Басти»), «Спор весны с зимой», стихотворения...

Героиня его поэмы, знатная хлопкоробка Басти Багирова, представлявшая республику в числе других на юбилейной кремлевской встрече, вспоминает:

«В поездке Самед подсел ко мне: «Хочу кое-что разузнать от вас». Получив ответы на вопросы о сборе хлопка, средствах получения высоких урожаев, молодой поэт стал выяснять мою биографию. Узнав, что мы с ним ровесники, попросил обращаться к нему запросто: «Самед».

По мере моего рассказа Самед что-то заносил в блокнот в красном коленкоре. Когда речь зашла о моем родном селе Бахчакюрд, Самед улыбнулся: «Очень поэтичное название. — И добавил: — Село делается еще краше вашими работающими людьми».

Басти Багирова вспоминает, как позднее, осенью 1937 г. она прочла поэму о себе:

«Самед Вургун ни слова мне не говорил об этой поэме. Прочтя ее с большим интересом, я пришла к выводу, что предельно скромный Самед берется за перо после прищипного и досконального изучения намеченной темы. В этом, по-моему, одна из главных причин силы творений Самеда Вургун».

На примере жизни своей героини-труженицы, матери поэт показал социальное восхождение женщины Востока; высокий поэтический тон подкупает искренностью, лирическим воодушевлением:

Прежде лестили женщинам у нас,
Клевветой казнили в тот же час...
Братскому почтению участь,
Я тебя товарищем зову!..

...Басти, сестра моей весны,
Хозяйка гор, воды, травы,
Не сложишь гордой головы
И сильной не согнешь спины...

(Перевод А. Адалис).

В лирических обращениях сквозят самокритичные, покаянные нотки («Но стыдно мне, что не был я всегда, как должно быть поэту, — дальноруким!» или «Да буду я таким же благородным, и ложь не осквернит мои уста»). В «Моей клятве» есть строки: «Признаю честно я вину... Порою всякий взор чужой мне «аплодировал» с душой, а их себе друзьями мнил...» В контексте личной судьбы эти слова обнажают еще один «криминал», приписывавшийся поэту: близость с писателями — почитателями его искусства, заклейменными как «враги народа».

Вернемся к заседанию секретариата СП СССР от 26 ноября, где обсуждался «личный вопрос» Самеда Вургун. «Я абсолютно не знал, в какой плоскости ставится мой вопрос здесь, на президиуме правления СП, потому что не ожидал, чтобы слухи обо мне так скоро дошли до московской литературной среды... То, что со мной произошло за последние месяцы, я вкратце хочу изложить, чтобы рассеять у товарищей то неприятное впечатление и представление обо мне, которое создалось за последние три месяца...»

Об этих «трех месяцах» читатель уже знает.

Заседание не обходится без пристрастных вопросов. Их тон подтверждает догадку о предшествующем «сигнале». Почему задерживается подготовка антологии азербайджанской поэзии на русском языке? Почему в антологию включены стихи «врага народа» Мушфика? Почему поэт не публикует «Комсомольскую поэму», эпопею «Азербайджан» и действительно ли в них допущен национализм?..

Вспомним, эпопея не попала в число лауреатов литературного конкурса.

«Критикуя мою поэму... (речь идет об эпопее — авт.)... заявляя, что я националист. Но эта критика была только в закулисных разговорах. Ни в печати, ни на собраниях они таких заявлений не делали...»

«И ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ — ВЗГЛЯНИ!»

Тучи, кажется, рассеялись. Поэт принимается за давно задуманную пьесу. При всей неоднозначности мотивов обращения к теме Багифа, Самеду Вургуну нужно выразить через великого предтеча себя, свою боль и тревогу. Художник и власть, творчество и социальный императив —

вот общие точки драмы, перекликающиеся с современной ситуацией.

Заслуга Вагифа в истории национальной поэзии в том, что он «опустил» классическую музу с небес на землю. Вагиф — певец красоты. Но его красавицы — не «гурни», ни «перя», а дочери земли, причем дочери Азербайджана — молодницы с келгасем на голове, кекликами* плывущие на празднествах.

Долгие годы Вагиф занимал воображение Вургунa, не однажды он брался воплотить образ любимого поэта, например, в «Смерти поэта», вошедшей в эпический цикл. Но стихотворение не удовлетворило поэта, тема требовала более масштабного воплощения. Он пришел к мысли вывести Вагифа на сцену в драматическом действе. Это намерение окрепло при работе над переводом «Онегина». «После перевода возьмусь за произведение о Вагифе», — говорил он друзьям. Работе предшествовало изучение эпохи Вагифа, страниц истории Гарабахского ханства XVIII в.; надо было «вжиться» в творческий и духовный мир поэта.

Драма «Вагиф» писалась феноменально скоро — за несколько недель на исходе 1937 года...

Молла Панах Вагиф был визирем гарабахского хана Ибрагима и проводил прогрессивную политику. Стремившийся изгнать Азербайджан, раздробленный на ханства, от феодальных междоусобиц, Вагиф известен как прозорливый и гуманистически мыслящий деятель.

Он был чтим и любим как поэт, воспевавший земные радости, красоту, одухотворенную любовь, хотя его муза отнюдь не была благодушной гедонистской. При всем том, что он долго служил при дворе, феодально-дворцовая среда, по-видимому, была чужда ему. Его карьере сопутствовала цепь горьких разочарований. Об этом свидетельствует, в частности, и знаменитый мухаммас, начинающийся словами: «Я правду искал и искал, но правды нет и нет...»

Конфликтные линии драмы Самеда Вургунa многомерны: на противоположных полюсах оказываются Вагиф и Ибрагим хан, Вагиф и Ага Мухаммед шах Гаджар, наконец, Вагиф и его спутники жизни Хураман. За поэтом — народные низы. За властителями — вооруженная власть, каста прислужников.

*Кеклик — горная куропатка. Традиционно поэтический символ женской красоты.

**Мухаммас — форма классической восточной поэзии лирико-философского содержания; строфы представляют собой пятистишья (Отсюда и название: «хамс» — пять).

Самед Вургун, поляризуя классовые силы, сознательно отошел от исторически реальной фигуры Ибрагим хана, отношения которого с визирем не были столь антагонистичны и драматичны. Такая трактовка, с одной стороны, преследовала цель драматургического заострения коллизии и, с другой, — обнажения политического духа феодальной действительности. Заметим, что сам Ибрагим хан уже после вхождения Гарабаха в состав Российской империи, облаканный чином генерал-лейтенанта, вместе со своим семейством пал жертвой вероломной экзекуции, осуществленной царским майором Лисановичем в Ханкенде... Причиной этой жестокой акции явилось подозрение в антиимперских настроениях.

Гарабах в конце восемнадцатого столетия переживал переломные и драматичные события, оказавшись в эпицентре геополитических интересов двух могучих сопредельных держав — России и Персии. В 1795 г. Шушу — центр ханства — осаждает войнство Ага Мухаммеда Гаджара и, после безуспешной осады, движется на Тифлис, захваченный и преданный огню и мечу. Вскоре Вагиф был послан к генералу Валериану Зубову в Ширван для переговоров о союзе с северным соседом. Через два года Гаджар вновь у стен Шуши. На сей раз героический город пал под натиском превосходящих сил. Вагиф брошен в темницу. Но Гаджар был ночью обезглавлен заговорщиками, войско бежало, а ханский престол захватил племянник Ибрагим хана, поспешивший расправиться с визирем своего противника и родича...

Такова канва исторических событий, отталкиваясь от которой Самед Вургун строит свою художественную версию.

Вагиф — vizирь, художник, гражданин, народолюб — образ сложный, неоднозначный. Его сценическая испостась полна психологических диссонансов, доходящих до трагических нот. Он осознает тяжелое бремя придворной службы. В этом смысле Видади, его старший собрат по перу и земляк, является антиподом. Для Видади бедная лагула милее роскошных хороводов, он отвергает предложение гянджинского хана о службе при дворе и радеет в молитвах о благоустройстве мира и искоренении земных зол. Он винит приехавшего к нему титулованного друга в забвении отчего очага. А Вагиф оправдывает свой выбор блгами намерениями: «Когда б не я!.. О, друг, там столько зла! Убийствам не было бы там числа...» Заступник униженных льстит себя надеждой, что приближенный ко двору, он сможет пресекать произвол и умерять ханский гнев...

Из газакских краев — родины поэта — действие переносит нас в Гарабах, на свадебное торжество Алибека — сына Вагифа; Ибрагим хан напутствует и поздравляет молодых: внешне все ладно и согласно... Если не считать недоумения и ропота правоверных участников пиршества, вызванного словами Вагифа: «Откинь, о дочь моя, ненужную фату. Не надо лик луны утаивать за тучей... Небесных выдумок краса земная краше, — да пристыдит она безглазый шарнат!..» Появление простолюдина — пастуха Эльдара в обществе «высокородных» вызывает вспышку фанатического раздражения.

Х А Н, Визирь! Вагиф! Здесь, кажется, назначен
Меджлис для пастухов и для брадат?
Скажи — мы удалимся, если так!
...Не здесь ли сядет — на почетном месте —
Пастух с дубиной? Видели «царя»?

(Перевод А. Адалис).

Оскорбленный Эльдар, ответивший властелину дерзостью, здесь же схвачен и заточен. Хан покидает торжество. Тщеславная жена выговаривает Вагифу, опасаясь его опалы. Видади — очевидец этой сцены — советует другу бросить службу и вернуться в село. Но для Вагифа такой путь означал бы бегство с поля боя...

И бой грянул вскоре... Бой со всемогущим ханом, посланным сводницу к легкомудрой Хураман, — поэт порывает со спутницей жизни... Бой за честь свою. Вагиф казнится: «Ты, друг, смелом, тебя повесить мало. Позор дворянский для тебя не нов... Жечь! Бить! Крушить! Уйти бы, как бывало. На вольные эйлаги чабанов...»

Личные невзгоды усугубляются социальными. Эльдар, вырвавшийся из заточения, возглавил вооруженную борьбу гачагов против ханской тирании. С юга на Гарабах вновь идут войска Гаджара. На севере ждет ответа на августейший фарман Екатерина II. Попытки призвать хана к реформам, уменьшению поборов, открытию школ встречаются в штыки, углубляют пропасть...

События разворачиваются с нарастающим драматизмом. Шуша взята войсками Гаджара. Ключи от города вручены победителям предателем-шейхом, персонажем вымышленным, играющим зловещую роль в судьбе поэта и метаящим на престол сбежавшего правителя.

*Более употребительна транскрипция: «визирь». Здесь же мы сохраняем транскрипцию переводчика.

Самед Вургун, следуя своей художественной концепции, живописует сцену противостояния грозного Гаджара и гордого Вагифа.

Художник и тиран. Свободная творческая мысль и авторитарная власть, не терпящая инакомыслия. Размышления Гаджара симптоматичны:

...Дар неба у него
Великий дар... И, значит, может стать, —
Великая угроза нам Вагиф...
Поэт — не враг ли?..

Невольно задумываешься: строки эти писались в 1937 году... И, слушая дальше подобострастные нашествия шейха,

Великий шах! Как мудро вы сказали!
Вагиф? Конечно, он угроза всем...
...Но чем-то он снискал любовь народа...

вспоминаешь о «правоверных» очернителях позднейших времен... Такие ассоциации напрашиваются, обнажая глубинную связь с пережитым самим автором. Власть духа, власть таланта противостоят диктату абсолютизированной власти.

Я это заподозрил: я расслышал...
По самой силе песенного звука
Я понял силу гордости его!...

И следует реакция уязвленного и больного палаческого тщеславия:

Ну, ничего! Во прахе будет ползать...

Вернемся к тираде шейха:

Вы милосердны, шах, и потому
Вы можете Вагифа счесть поэтом.
Опаснейшая мягкость! Этот демон.
Пока он жив, угрозой будет нам...

Это ли не намек автора на происходившее с ним, на горькую участь впавших в немилость, оклеветанных современников? И не клеймит ли он позором в «лице ревнителя и охранителя веры» «идейных» маклеров, доносчиков, прикрывавшихся партбилетом, пятнавших достойных сынов народа, вливающих хвостом перед властительными лиходеями, подлинными врагами народа?..

В сцене «аудиенции» Вагиф не склоняет головы перед тираном, не взирая на все августейшие громы и молнии.

Их диалог — поединок, где слова скрещиваются как клинки, источая искры.

Гаджар:

Ты не склонился предо мной, Вагиф.

Вагиф.

Я — статуя, тяжелая как совесть.
А статуи не кланяются, шах.

Гаджар.

Какая совесть? Ха! К боям готовясь,
Я знал, что меч содержится в ножнах.

Это — схватка двух философий, двух позиций. «Ощетинившийся» Гаджар, по национальности азербайджанец, позволяет себенисходительно «простить вину» патриота Вагифа из уважения к таланту.

Более того, он приглашает поэта на службу во дворец (знакомый и знаменательный мотив!) Но с условием...

...Должны писать поэты
Не на мужичьем языке мольбы,
Гогочущем, рыдающем, рычащем...
А на фарси, торжественно звучащем...

Вагиф с достоинством отвергает жест венценосного «манкурта».

У вас, однако, есть свои Хайямы,
Свои сладчайшие Фирдоуси...
А для меня родные горы — храмы,
Родная речь — не хуже, чем фарси!

Для правителя, отрекшегося от своих национальных корней, превыше всего — власть. Для поэта-народолюбца интересы народа — святы. Потому Вагиф у С. Вургунa не примирим и к отечественному антиподу, и к чужеземному поработителю.

Поэт с сыном брошен в темницу, мольбы старого Видади к тирану тщетны. Отчаявшийся набожный старец, уповавший на милосердие всевышнего, проклинает небо...

С уст заточенного и обреченного Вагифа срывается скорбная исповедь;

«...правды я не нашел...
Веры и разума в мире нет, твердой опоры нет,
Честь, благородство лежат в пыли, славы позор одет.
Щедлости у богатых нет, злата у щедрых нет...»

Этот бунт духа невольно напоминает мятежную исповедь другого великого поэта другой далекой страны, жившего столетием раньше:

Зову я смерть. Мне видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянии...

Так через века перекликаются поэты. И 66-й сонет Шекспира, и стихи вургуновского Вагифа (в которых легко угадываются подлинные мотивы знаменитого мухаммаса Вагифа) вызваны к жизни схожими чувствами: неприятия социального зла и лжи.

Самед Вургун ведет своих героев по стезе, отличной от участи их реальных прототипов: он не копирует историческую хронику, а создает новую, художественную реальность. Хураман, пережившая нравственные муки и потрясения, приходит к душевному прозрению, просит прощения у узника Вагифа и, непрощенная, выбирает гибель, бросившись со скалы в бездну. Вагифа, ведомого на казнь, оплакиваемого народом, спасают повстанцы во главе с Эльдаром. Гаджар гибнет не от руки заговорщиков, а в сражении с народными мстителями, в рядах которых не только сонародники поэта, но и сыны других закавказских народов...

Так Самед Вургун «прочел» одну из драматичных страниц национальной истории. Таким он увидел Вагифа и в такого Вагифа влюбил современного читателя и зрителя, Вагифа, обращающегося, кажется, не к Видади, а к далеким потомкам:

На крутовращенье земных судеб, о Видади, взгляни!
Как деспот всеисильный стал слаб и слеп,
сам посуди, — взгляни!
Могучим пребудет вовек народ, и свят его
трудный хлеб...
Для новых боев муж в боях окреп — и жизнь
впереди — взгляни!

«ЕСЛИ Б... НА СВЕТЕ САБИР ЕЩЕ ЖИЛ...»

В конце декабря выходит в свет изящно оформленный юбилейный том — «Витязь в тигровой шкуре». Через 750 лет после своего рождения великий Шота Руставели заговорил с азербайджанскими читателями на их родном языке. Перевод принадлежал перу Самеда Вургунa и Мамеда Рагима. На юбилейных торжествах в Тбилиси Самед Вургун приносит дань благодарной памяти грузинскому классику.

Тем временем «Вагиф» еще ждет своего читателя и зрителя.

«...некоторое время, — свидетельствует брат поэта. —

Самед Вургун держал произведение в тайне: он опасался и за участь своих произведений. Как-то, делаясь со мной горестями на Приморском бульваре... он сказал: «Если меня уведут, ты немедленно заведи мое произведение и упрятать в надежном месте. Хавер знает, где оно. А если увидишь, что и ты под подозрением, тогда упрятать... поручи Ругийе (жене М. Векилова — авт.).»

О настроениях поэта свидетельствуют и сатирические стихи, созданные в ту пору. Причем, поэт признавался в несвойственности избранного жанра его творческой природе:

Мой читатель, признаюсь тебе не тай,
Что сатира — стихия совсем не моя,
Не хватает таланта, иль дело не в нем,
Но стихи я пишу чаще в стиле ином.
Если б только на свете Сабир еще жил,
Я б тогда эту тему ему предложил!

(Перевод А. Адалис).

Да, в этом признании была своя правда. Его крылатое, романтическое вдохновение, его творческое видение мира требовали иных форм воплощения; его муза могла быть критичной, ироничной, насмешливой, но доминантой оставалось утверждение духовных ценностей через романтический идеал, позитивные высокие начала бытия и деяния. Однако личные переживания, гнев на кликушествовавших «праведников», фарисеев и очернителей подлинных талантов, строивших карьеру, побуждали его ввязаться за разящее оружие сатиры. В кризисные дни 1937 года он написал стихотворение «Душонка», где бичевал одного из таких типов. Затем были созданы стихотворения «Карьеристы», «Вероломный», «Единственное ящю рэбой курочки».

В этих стихах речь идет не о традиционных фельетонных персонажах, не о заурядных Сальери, губящих талантливых Моцартов, нет, здесь нам предстают куда более социально опасные временщики, поднаторевшие в псевдопатристической мимикрии, вооруженные арсеналом безобидных клише:

...Из вороха цитат две-три он ловко отберет,
Чтобы оратору — врагу заткнуть вернее рот...

«Собрания любит он» и «выделяется из масс», «он речь ведет исподтишка. На лапах мягких слов крадется тихо» и т. д.

Последний аккорд стихотворения «Карьерист» прозрачно намекает на политические ярлыки той поры:

Он так кончает речь свою: «Я всем сказать могу,
Что этот юноша — наш враг. Поощады нет врагу!»

В те трудные дни Самед Вургун как Антей черпал силы в нерасторжимой связи с родной землей. Он смолоду любил общение с людьми, с читателями, — это была та обратная связь, без которой он не мыслил творчества. Это общение питало его слово токами живой жизни, обогащало, открывало, подсказывало новые задумки. О нем оставили воспоминания не только собраты по перу, деятели культуры, но и чабаны, рабочие, колхозники, агрономы... Имя его обрастало легендами, поные живущими в народе.

Поэт Зейнал Халил рассказывал о характерном эпизоде, связанном с охотничьей вылазкой на природу (Самед, заметим, был заядлым охотником). Машина застряла в канаве. Как ни бился шофер, вытасщить машину не удалось, и Самед пешком двинулся за помощью в село поблизости. «Вскоре он вернулся с группой людей. Оказывается, поодаль за небольшим холмом колхозники прокладывали дорогу и, как всегда, узнав Самеда, поспешили к нам на выручку.

Колхозник в мохнатой бараньей папахе, обутий в ботинки, выступил вперед:

— Шаир! За нами — вытасщить машину, за тобой — стихи. Давненько не виделись с тобой...

Самед отозвался с улыбкой:

— Готов служить вам... — Да не проживу я дня без вас.

Запрягли крыжистого быка к машине. Андрей (шофер) завел мотор. И мы налегли сзади. Понадобилось немного времени, и «Победа» выехала из канавы.

— Ладно, теперь скажите, какие стихи вам прочитать, — обратился Самед к колхозникам.

— «Вспомнилось мне», — попросил один из них. Колхозники кругом обступили поэта. Кто, опираясь о черенок лопаты, кто, прислонясь к плечу товарища, устремили взоры на него. Самед прочитал стихотворение, с особым темпераментом произнес строфу:

Вургуну мечты облетели аран.**
В глазах разыгрался вершинный буран,
Гатыг*** зимних дней, знойным летом айран****
И сливки по осени вспомнились мне...

*Шаир — поэт.

**Аран — равнина.

***Гатыг — мацони.

****Айран — процеженное, обезжиренное молоко.

Все рукоплескали. Старик лет под семьдесят выступил вперед, пожал поэту руку:

— Да хранит тебя судьба...

Автор воспоминаний признается, что в такой «дискомфортной» обстановке, быть может, иные, из избалованных творцов слова, сочли бы зазорным для себя выступать с чтением стихов. Но Самед воспринял это как естественную, насущную необходимость. Он черпал истинную радость, видя ответный душевный отклик на свою поэзию!

Обратите внимание на приведенную строфу: внешне, казалось бы, ничем не выделяющаяся по ладу и сказу от остальных, она таит в себе особо значимые реалии народного, национального обихода, свидетельствующие об исконной и безошибочной посвященности поэта в детали сельской, крестьянской жизни. Гатыг (в оригинале — «ледяной (холодящий) гатыг зимы») — особенно бодрящий и освежающий именно зимой; в летний зной мало что может заменить утоляющий жажду и прибавляющий сил кислотоватерпкий айран; но вот окончилось лето, молоко скотины, довольной наевшейся сочной травы на приволье, особенно сытно и вкусно, соответственно хороши и сливки, снятые с такого молока...

ВТОРАЯ ДАНЬ МЕЛЬПОМЕНЕ

Глубокий интерес Самеда Вургун к драматургическому творчеству был не случаен.

В 1920—1930 годах на азербайджанской сцене блистали две литературные звезды — Джафар Джаббарлы и Гусейн Джавид. Первый промелькнул и сгорел как метеор, успев создать за свою короткую жизнь нетленные образцы новой драматургии. Второй, вступивший в советскую эпоху уже маститым художником, был отнят у народа культовыми вихрями... В драматургии образовалась зияющая пустота. Сцена ждала новых творений. С. Вургун в числе других ведущих мастеров, остро ощущал этот дефицит, словом и делом участвовал в обогащении репертуара. Одним из первых на веление эпохи откликнулся тогда еще молодой писатель Мирза Ибрагимов. В апреле 1937 г. увидел свет рампы его пьеса «Хеят», написанная двумя годами раньше и удостоенная премии на литературном конкурсе. Режиссер драмтеатра, впоследствии народный артист СССР Адиль Искендеров вспоминал, что Самед Вургун призывал всех собраться по перу «мобилизовать все силы и умение, писательское мастерство и талант на этом поприще во имя расцвета национального театра. Я могу ска-

зать смело, что его усилиями была успешно поставлена на сцене пьеса «Хеят»...

Это суждение имело свои основания. С. Вургун содействовал товарищу по перу в преодолении искусственных чиновничьих барьеров, а позднее заинтересованно участвовал на репетициях.

Видный литературовед и критик Мамед Ариф вспоминал о своем разговоре с поэтом в 1938 году: «Пусть тебе не покажется странным, что я вижу один недостаток в пьесе Джафара Джаббарлы «В 1905 году», которая нравится мне больше всех. Среди созданных им с большой любовью... революционеров-рабочих Джафар не сумел дать ни одного образа видного революционера-азербайджанца. Как его товарищ по перу, я не могу не сожалеть об этом...

Я задумался, потому что, откровенно говоря, мне в голову не приходила такая мысль.

— В пьесе... у Джафара Джаббарлы была другая цель, наверное, он...

С. Вургун перебил меня:

— Я хорошо понимаю, что он преследовал иную цель: стремился показать прочность дружеских уз между нациями, солидарность рабочих и крестьян. В его планы не входило создание образа революционера-азербайджанца. Все же факт остается фактом.

После небольшой паузы он добавил:

— До сих пор образ революционера-бакинского рабочего, такого, к примеру, как Ханлар Сафаралиев, в нашей литературе не создан...

* * *

Весной 1938 г. в писательском союзе состоялась читка и обсуждение «Вагифа». Большинство высоко оценивает пьесу, иные обращают внимание автора на кое-какие драматургические недочеты; имели место и несправедливые претензии. Но, так или иначе, одобренная пьеса рекомендовалась в репертуар предстоящего сезона. Самед Вургун работает над сценическим вариантом в содружестве с Адилем Искендеровым.

В пьесе, написанной стихами, ощущалось мощное поэтическое начало; многие превосходные куски, диалоги и монологи представляли благозвучный образец для звучащего слова и чтения. Вместе с тем в этот первый драматургический опыт поэта понадобилось внести некоторые коррективы, произвести перекомпоновку или доработку нных сцен, сменить актеры и т. д. Адиль Искендеров стал в этом деле лучшим помощником автора. Два месяца длилось напряженное сотворчество режиссера и драматурга.

24 июня, прервав работу над «Вагифом», поэт выезжает на встречу с избирателями в Агдашский район; настроение у него приподнятое, и это воодушевление ощущается в стихотворении «Радость», которое он прочтет перед сельскими тружениками: «Меня встречают вольные края, отрадные, привольные края...» Он окрылен оказанным доверием. Надо полагать, это выдвижение в депутаты означало и благополучный исход недавно пронесшихся над головой бурь...

Наряду с «Вагифом», продолжается другая большая творческая работа — подготовка антологии азербайджанской поэзии на русском языке. Самед Вургун совместно с Владимиром Луговским — ее составитель и редактор. Дело, начатое тремя годами раньше, еще не было закончено. Шутка ли сказать — отобрать в океане национальной поэзии, насчитывающей тысячелетнюю историю от эпоса «Книга праотца Коркуда», дастана «Керогла», от Низами и Хагани до позднейших классиков, народных ашугов и современных мастеров лучшие образцы. Помимо того, снабдить книгу библиографическими сведениями, комментариями...

Профессиональные трудности усугубляли обстоятельства припоминательного года. Один из вопросов, заданных Самеду Вургуну во время обсуждения его «личного вопроса» на секретариате Союза писателей СССР, относился к антологии. Ответ С. Вургуна А. Аршаруни проливает свет на детали этой многотрудной работы и характеризует меру напряжения сил: «Я ставил себе задачей, что историю азербайджанской поэзии должны знать все народы Советского Союза. Я сделал все, что было возможно по этой части, добился денег в Москве и Баку.

...Читал ночами, сутками поэтам стихи для того, чтобы они могли уловить музыку, ритм. В июне работа по антологии приблизилась к концу. 70—80 переводов было готово.

...Быть в числе редакторов для меня не имеет значения. Я это взял на себя ради антологии». (Стенограмма заседания секретариата ССП от 26 ноября 1937 г.).

Последние фразы наводят на мысль, что выступавшему, похоже, ставили в вину притязания на престижное редакторство при соответственном «злоупотреблении» служебным, то бишь секретарским положением...

Но он был движим бескорыстной, патриотической и высокой целью.

После июня 1937 г. работа забуксовала. Для ускорения дела летом следующего года в Баку была приглашена группа молодых поэтов — тогдашних студентов Литинститута им. А. Горького в Москве — Константин Симонов, Па-

вел Антокольский, Евгений Долматовский; благо, время было каникулярное. Владимир Луговской не ошибся в своих питомцах, уповав на их талант, молодость и энергию. Ручководитель институтского семинара взял на себя заботу о профессиональном уровне и полнокровности русских поэтических переводов. Самед Вургун пекся о верности оригинала, его духу, смыслу и ладу. Переводчики получали подсказки вкуче с пояснениями сложных старинных текстов из рук Самеда. Эти пояснения помогали вжиться в мир подлинника, постичь и прочувствовать его.

Вот вдумчивое свидетельство П. Г. Антокольского о тех днях.

«Он присматривался к нам, москвичам, к нашему рабочему распорядку с некоторым недоверием и насмешливостью, дескать, почему это москвич так усерден, так ли уж это необходимо, кто нас гонит? Но всячески старался помочь нам.

Недаром он был признанным знатоком и хозяином всего раскрывшегося перед нами богатства азербайджанской классики и народного эпоса. В одном из стихотворений того времени Самед делает смотр своим великим предшественникам и как бы устанавливает с ними живую связь. Им назван Насими — дальнзоркий стрелок, заглянувший в века, он упоминает величайшего лирика Азербайджана Физули и с особой сердечностью — своего любимца Вагифа... Самед имел все основания так обратиться к Вагифу:

И я в песню твою, опечаленный, вник,
Чтоб вернуться к своей и сказать о своей.

Дальше он пишет:

Я чеканил слова не за хлеба кусок,
У народа их брал, чтоб народу отдать.
Я не Байроном рос, но могу быть высок,
В жарком сердце не всю исписал я тетрадь.

Азербайджанский драмтеатр готовился к открытию нового сезона.

Репетиции «Вагифа» были в разгаре.

Автор, неизменно сидевший в партере (лож не жаловал), с великим волнением следил за работой, переживая актерские «осечки» и с детской непосредственностью радуясь удачам. На его глазах Сидги Рухулла преображался

в грозного Гаджара. Алескер Алекперов представлял гордым и мятущимся Вагифом, Ибрагим хана играл Агасадык Герайбейли, а человека из низов пастуха Эльдара — Мохсун Санани... Что ни имя — талант, явление. Ну и, конечно, над всем действием витала бдительная и зоркая воля режиссера. Бывало, темпераментный драматург в порыве чувств кидался на сцену обнимать, целовать блеснувших актеров.

Адил Искендеров умерел его пыл:

— Голубчик, ты их не очень-то балуй. Сегодняшняя удача актера — лишь заготовка на будущее. Пусть уж потрудятся...

Самед с той же горячностью обнимал режиссера:

— И как у тебя язык поворачивается! Как же их не щадить! Разве похвала — не подспорье?..

Как-то Сидги Рухулла, метавшийся по сцене в образе разъяренного Гаджара, с глазами, вылезшими из орбит, внезапно осекся и, подойдя к режиссеру, о чем-то попросил.

Оказалось, актер ощущал «невыговоренность» и просил добавить пару-другую строк к монологу.

Самед Вургун тут же дописал и передал актеру строки, как нельзя лучше созвучные ситуации и психологии персонажа:

Визир, о милосердии не тверди!
Замри, как раб, и повелений жди.
Знай, кровь моя, как рыба, холодна.

И проповедям всяким — грош цена.
Одну башку имел бы род людской —
Одним ударом снес бы с плеч долой.*

«Сидги не мог нарадоваться, — вспоминал режиссер. Сколько таких кусков, удачных строк дописано Самедом на репетициях...»

И вот наконец настал долгожданный день — 5 октября. Премьера «Сегодня Азгосдрамтеатр открывает свой сезон «Вагифом», — гласила рубрика в «Адабият газети», посвятившей целую полосу этому событию.

Театр помещался в здании неподалеку от набережной, построенном в конце прошлого века бакинским миллионером-мещаном Гаджи Зейнабалином Тагиевым, не скрывавшимся на благотворительные цели. В бывшем «тагиевском» театре увидели огни рампы пьесы классиков азербайджанской драматургии Гусейна Джавида и Джафара

Джаббарлы, на этой сцене с триумфом прошла первая национальная опера «Лейли и Меджнун», созданная основоположником азербайджанской профессиональной музыки Узеиром Гаджибековым. И вот, спустя тридцать лет, на премьеру «Вагифа» пришел и сам великий maestro Узеир — народный артист СССР, ректор консерватории. Здесь же Мехти Гусейн, Осман Сарывели, Сулейман Рустам, Сулейман Рагимов, Расул Рза, Мирза Ибрагимов...

Зал заполнен доотказа, а на улице толпятся еще желающие попасть на спектакль. Так было не только на премьере. Только за первый сезон «Вагиф» был сыгран 84 раза!

Уже в антракте смущенный и взволнованный автор принимал поздравления. С затаенной тревогой ждал окончания. Овации, цветы, триумф. Когда Самед Вургун «обнялся с исполнителем главной роли Алекперовым под гром рукоплесканий, — вспоминала поэтесса Нигяр Рафибейли, — на минуту позабыв о том, что перед нами пьеса, мы вообразили, что два поэта Азербайджана заключили друг друга в объятия».

И мы в этом символическом свете представляем их вместе — мастера-устада, шагнувшего к потомкам, и вдохновенного, влюбленного ученика, навсегда снявшего с имени предтечи клеймо «придворного поэта»...

Самед Вургун не пропускал ни одного спектакля по своей пьесе, каждый раз заново «переживая игру актеров и реакцию неубывающей публики. А количество спектаклей перевалило сначала за пятьсот, а потом за тысячу...» «Вагиф» шагнул на сцены театров Ленинграда, Алма-Аты, Ташкента, других городов страны, его увидели зрители Болгарии, ГДР...

Успех был прочен и не случаен. «Вагиф» продолжал и обогащал традиции поэтического театра, заложенные романтическими трагедиями Гусейна Джавида, более двух десятилетий не сходявших со сцены и повлиявших на формирование эстетических вкусов целого поколения. У многих еще были в памяти монологи Дьявола из одноименной трагедии, сцены, блистательно сыгранные выдающимися трагиками Аббас Мирзой Шарифзаде и Ульви Раджабом; зрители, помнившие наизусть многие фрагменты из джавидовских (уже запрещенных) пьес, увлеченно слушали стихи. Самед Вургун достойно заполнил эту зияющую пустоту. Цитаты из «Вагифа» переходили из уст в уста.

Печать говорила о пьесе как о «большом событии». Первая рецензия была опубликована еще до премьеры, после читки пьесы в Союзе писателей, и принадлежала перу

* В известном переводе А. Адалис дописанный автором фрагмент, вложенный в уста Гаджара, отсутствует (авт.).

Али Велиева. Свое слово сказали и другие ведущие литераторы. «Триумф драмы «Вагиф», — отмечал Мехти Гусейн, — событие, демонстрирующее силу и воздействие нашего родного языка, мощь нашей литературы... Одобрение было единодушным, хотя рецензенты отмечали и ряд драматургических издержек. Замечания — частью резонные, частью несправедливые — прозвучали и на диспуте 13 октября, проведенного после спектакля. Не останавливаясь на выступлениях, в целом высоко оценивших спектакль, обратим внимание на одно суждение Мамеда Арифа, касающееся соотношения историко-документальной основы с художественным вымыслом.

Относительно образа Ибрагим хана критик говорил, что автор «здесь допустил неуместное искажение истории. Как известно из истории, хотя Ибрагим хан после вторжения Ага Мухаммеда Гаджара и сбежал из Гарабаха, однако после убийства Гаджара он вновь вернулся... и даже продолжал ханское правление. Потому и его убийство раньше Гаджара неверно с исторической точки зрения. Сamed Вургун мастерски изобразил Ибрагим хана тем, что тот покинул дворец и оставил без начала сражение с Гаджаром. Его повторное — после этого — выведение на сцену и убийство излишни и неуместны».

Автор трезво воспринял это резонное замечание. Впоследствии он снял из пьесы сцену убийства хана гагачагами.

...А тем временем напылавали новые заботы, рождались новые творческие задумки. Осенью 1938 г. всесоюзно отмеченное двадцатилетие комсомола побуждает Самеда Вургуну встать за перо. «Что дал мне комсомол?» — так называлась его статья, приуроченная к юбилейной дате. Поэт говорит о роли комсомола в его гражданском и творческом становлении, обещает читателям завершить, наконец, «Комсомольскую поэму», публикует новые главы...

В декабре 1938 г. Сamed Вургун был принят кандидатом в члены партии. Через месяц, в январе 1939 г., в ряду других творцов советской литературы — Шолохова, Эренбурга, Лахути — он награждается орденом. Поэт удостоен «Знака Почета». Чуть раньше решением Совнаркома республики С. Вургун за пьесу «Вагиф» был премирован легкой автомашиной.

Современный читатель знает, что блеск щедрот, которыми осыпались творцы слова, был только одной стороной медали... К тому времени литература уже не досчитыва-

лась многих тех, кто попал в немилость культовой фемиды...

1941 год был объявлен годом 800-летнего юбилея кофиев азербайджанской поэзии Низами Гянджеви. 23 февраля 1939 г. в Москве в Союзе писателей состоялось первое заседание созданного по этому случаю Всесоюзного юбилейного комитета. В нем приняли участие Сamed Вургун и Расул Рза (возглавлявший к тому времени Союз писателей республики). Был рассмотрен большой спектр вопросов: перевод творений Низами с фарси (доминировавшего на мусульманском Востоке как литературный язык) на азербайджанский и русский языки, а также на языки других народов СССР; подготовка научно-критических текстов, исследований о жизни и творчестве поэта; создание литературного музея имени Низами в Баку, сооружение памятника... Юбилейный комитет возглавил тогдашний председатель Союза писателей СССР Николай Асеев, его заместителями были избраны С. Вургун, П. Тычина, В. Луговской, а секретарем — К. Симонов.

Сamed Вургун окунается в гущу подготовительных и организационных дел: он — руководитель новосозданной секции «по переводу Низами и связи с братскими республиками», он готовит, совместно с Р. Рза и М. Арифом, материалы к публикации в журнале «Европа», он — член редколлегии по юбилейному изданию. Его включают в знаменитую «Пятирицу» переводчиков поэм Низами (С. Рустам, Р. Рза, М. Рагим, А. Шаик и М. Разакулидзе). На С. Вургуну возложен перевод поэмы «Лейли и Меджнун». А кроме того, он посвящает стихи великому мудрецу из Гянджи. Публикует в «Правде» статью (август 1939 г.) о Низами — личности, открывшей новую эпоху в культурном развитии своего народа, гиганте творческой мысли. В этой статье С. Вургун связывает мир Низами с национальным фольклором. И в то же время подчеркивает мысль о необходимости изучения его наследия в контексте общевосточной и мировой литературы. Позднее С. Вургун создает по мотивам поэмы великого классика драму «Фархад и Ширин».

Нельзя не изумиться тому, что при такой невероятной загруженности поэт находил возможность для оригинального творчества. Он напряженно работал над драмой «Ханлар».

«Драма «Ханлар» развивает тот художественный замысел, который был положен в основу моей пьесы «Вагиф». В обеих этих пьесах даны героические страницы истории азербайджанского народа, его борьбы за свою независимость, свободу и счастье, — писал С. Вургун в «Бакинском рабочем» 29 сентября 1939 г. Тема подсказана обра-

зом «молодого рабочего, большевика Ханлара Сафаралиева, трагически погибшего в 1907 г. от злодейской руки реакционеров».

Судьба героя типична для многих революционеров той поры. Выходец из села, Ханлар проходит школу классовый борьбы на бакинских нефтепромыслах. Смелый, твердый, волевой, он выдвигается в вожак рабочих. Его соратники и единомышленники — рабочие Ваня и другой, по прозвищу Кечал — колоритные индивидуальности. По сравнению с ними слабее, статичными выглядят в пьесе образы руководителей подпольной организации большевиков — Кобы (Сталина), Мешади Азизбекова и других. Коба с легкостью преодолевает все возникающие трудности, единолично определяет ситуацию, действует как директивная движущая сила... В трактовке этого образа отчетливо сказались тенденции, порожденные периодом культа личности.

При всех этих «культовых» абстракциях С. Вургун шел в русле поисковой советской драматургии тех лет, — вспомним «Любовь Яровая» К. Тренева, «Шторм» Б. Белозерковского, «Разлом» Б. Лавренева...

Новая революционная явь «открывает глаза» и неграмотной крестьянке, и романтичному интеллигенту, поначалу отвергавшему всякое кровопролитие и видевшему выход в нравственном очищении.

Сюжет пьесы динамичен, напряжен, сцены показывают противоборствующие силы в драматических обстоятельствах.

По разные стороны баррикад оказываются отец и дочь (Мухтар бек и Мехрибан, полюбившая Ханлара). Материнская любовь побуждает набожную Гызетар к солидарности с опасным, но справедливым делом, избранным сыном. Здесь можно усмотреть сродство этого образа с Пелагеей Ниловой (из горьковской «Матери»), но, вместе с тем, это национальный характер, по складу мышления, психологии, поведению.

Сохбата, преисполненного патриотического рвения служить родине, возмущают произвол и несправедливость, царящие в обществе, однако он не видит подлинных путей к свободе. Его душевный мир полон диссонансов, — он получил образование за счет субсидии Мухтар бека, но не желает служить искусством и знаниями толстосумам, он любит дочь своего «благодетеля», но безответно, волею судьбы ему придется врачевать раненого соперника — Ханлара...

Мехрибан изгнана из дому отцом за любовь к «красильнику». Ханлар возглавляет демонстрацию перед Городской думой, жандармы разгоняют народ. Ханлар брошен в тюрьму, где знакомится с народным заступником, старым гачагом Хасподадом, отважно принявшим смерть... Выйдя

на свободу, вожак рабочих получает пулю от наймита Шамистана...

Мечтам о союзе с любимой не суждено сбыться. Негодующая Мехрибан предаст огню отчий дом, а самого Мухтар бека постигает возмездие от брошенной бомбы. Сохбат, схваченный на месте происшествия, берет вину на себя, выгораживая любимую и ее единомышленников.

Похороны Ханлара (здесь драматург возвращается к исторической первооснове) выливаются в мощную волну протеста.

В дни завершения работы над пьесой «Ханлар» две радости посетили поэта: родился сын, нареченный Вагифом, и вышла в свет долгожданная книга «Свободное вдохновение», издание которой задержалось на два года. В сборник вошли поэмы из эпопеи «Азербайджан» и ряд новых произведений. Причем, поэмы из эпического цикла представлены как самостоятельные полотна. Объединяющее заглавие отпало.

...Слава молодого, по нынешним меркам, поэта и драматурга растет не по дням, а по часам... «Ханлар» обсужден и одобрен в писательском союзе. Предложено новый сезон в Азгосдрамтеатре открыть этой пьесой. Премьера состоялась через год и была тепло встречена зрителем и критикой. «Вагиф» зазвучал по-русски... Пьеса выходит в издательстве «Искусство». Автор удостоивается Сталинской премии.

«ПЕРЕД ГРОЗОЙ»

Сороковой, последний мирный год перед вероломным нашествием.

«Вождь народов» смел неугодных с пути, почти обезглавил армию и поддерживал массы в состоянии безоглядной эйфории. Его славили в стихах и прозе. Бежавший из сибирской ссылки Коба возглавлял революционное движение бакинского пролетариата и изрекал непререкаемые истины с театральной сцены. Возглавлял, а не участвовал. Изрекал, а не говорил. Так было не только в случае с «Ханларом». Во всей литературе, печатающейся, издающейся, гремели фанфары.

7 февраля 1940 г. «Ханлар» на обсуждении в Азербайджанском филиале Академии наук — АЗФАНе был охарактеризован как «новый успех советской литературы». Мы знаем, что время опровергло это ораторское единодушие. Образ Кобы засахаренный, увенчанный ореолом, как тяжелый балласт, потянул пьесу, со всеми ее очевидными

достоинствами, на дно Леты... Сценический «Вагиф» пережил своего революционного «собрата».

Ранее, в январе, на собрании писателей и работников искусства драма «Вагиф» (вместе с пьесой «Хасай» А. Шаика) была предложена на соискание Всесоюзной премии им. Горького. В феврале мы видим С. Вургуну на трибуне республиканского слета колхозников-стахановцев, через месяц — в Доме учителей. На конференции по поэзии, созданной Союзом писателей (творчество С. Вургуну, М. Дильбазы, М. Рагима в центре внимания ораторов), в марте же он в зале заседаний XVI съезда КП(б) Азербайджана с мандатом делегата...

ДЕКАДА В МОСКВЕ

Погожим майским вечером на перроне Курского вокзала было многолюдно. Скорый поезд замедлил ход и стал. К последним двум вагонам устремились встречающие. Улыбки, объятия, цветы... Сamed Вургун в окружении добрых друзей и знакомых: В. Луговского, Е. Долматовского, В. Катаева...

На импровизированном митинге Владимир Луговской приветствует гостей:

— Мы глубоко любим азербайджанскую литературу, имеющую таких великих писателей, как Низами, Физули, Мирза Фатали и Сабир, и изумляемся ее талантам...

От имени гостей Сamed Вургун взволнованно благодарит москвичей за теплую встречу.

Через два года в Доме литераторов состоялось открытие декады азербайджанской литературы и искусства.

В фойе — выставки, стенды, живопись, макеты из театральных постановок. И, конечно, сотни книг — от Низами до современных азербайджанских авторов, вышедших не только в нашей стране, но и за рубежом. Есть в этой красочной панораме и творения корифеев и мастеров слова, впервые заговоривших по-азербайджански: «Гамлет», «Дон Кихот», «Собор Парижской богоматери», «Витязь в тигровой шкуре», из русской советской прозы — «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Петр Первый», «Как закалялась сталь», «Разгром»...

Тот вечер в писательском клубе был незабываем. Это была феерия талантов. Вальсы Шопена в исполнении Флиера сменяли звуки звонкострунного тара в руках виртуоза Гурбана Примова, певицу Большого театра Степанову — «соловей» азербайджанской оперной сцены Бюль-Бюль — пел арии из оперы «Кероглы», из оперетты «Аршин мал алан»...

Еще через два дня, 17 мая, выступая на заседании Комиссии Союза писателей по драматургии, театра и кино, Сamed Вургун выдвигает назревшее и дальновидное предложение: «Мечтой всех национальных драматургов является создание в Москве... театра, который популяризировал бы... лучшие произведения национальной драматургии». Идею поддержали, но на осуществление ее ушло более 40 лет. А тогда реализованы были только два решения, принятых на заседании: издать сборники азербайджанской драматургии, драму «Вагиф» включить в репертуар одного из столичных театров.

Вечером того же дня писатели — гости и хозяева — собрались в зале им. Чайковского. Александр Фадеев начал вступительное слово строками своего азербайджанского дурга:

Я ходил по горам, я глядел меж лугов
В журавлиные очи родных родников...

Руководитель писательского союза страны высоко оценил достижения мастеров художественного слова республики. Обстоятельный обзор литературы Азербайджана сделал Михаил Рафили. А потом зазвучали стихи. Протяжная, размеренная музыка азербайджанской поэтической речи поплыла под сводами знаменитого концертного зала. Только что процитированный Фадеевым «Азербайджан» зазвучал в авторском чтении. На трибуну выходят Сулейман Рустам, Мамед Рагим, Мирварид Дильбазы, их товарищи по перу... Возникает своеобразный поэтический диалог: строки Низами, Физули, перевоплощенные в русское слово, летят в благоговейную тишину с уст Луговского, Адалиса, Павла Панченко.

...И снова встречи — на автозаводе, Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в Военно-политической академии...

Печать щедро освещала декаду. «Правда» публикует статью С. Вургуну «Хуршид-бану Натаван» — о классике азербайджанской поэзии, поэтессе, известной в Карабахе и во всем Азербайджане как «Хан-кызы» («дочь хана»). «Литгазета» выступает с тремя статьями о Низами, о Вургуне.

Участники декады возвращаются домой, согретыми чувством подлинного творческого содружества и радушием москвичей.

«СТРАШЕН БУДЕТ ВСЕНАРОДНЫЙ ГНЕВ...»

Новый, 1941 год застает Самеда Вургуня в разгаре вдохновенной работы. На письменном столе соседствуют черновики. Перевод поэмы «Лейли и Меджнун» и новая драма по мотивам Низами.

Поэт весь во власти далеких волнующих видений, вставших над тесным пространством страницы... Властительный Хосров, персидский царь, могучий каменотес азербайджанец Фархад и прекрасная Ширин... Они издревле занимали воображение художников Востока. Поэт двадцатого века вступил в состязание с великими предтечами.

Еще Фирдоуси в знаменитой «Шахнаме» — Книге царей — обратился к образу Хосрова Парвиша Второго, правившего Персией в 590—628 гг. О нем и о Ширин сообщают также древние хроники. Иранского классика больше занимали ратные доблести правителя, нежели его личные, интимные переживания и любовь к Ширин. Спустя два столетия мудрец из Гянджи Низами сосредоточился на любовной истории и облек легенду в поэму. Позднее в творческий диалог с Низами вступили его преемники Ариф Ардебил, Амир Хосров Дехлеви, Абдулрахман Джами, Алишер Навои и десятки других классиков Востока. Это было в духе восточной поэтической традиции — художник последующей эпохи испытывает свое перо в трансформации классических сюжетов и мотивов. Подражатели оставались в тени гениальных предшественников. А недюжинные творцы вносили новизну в традиционный сюжет.

Самед Вургун по-новому увидел традиционный «треугольник» Хосров — Ширин — Фархад. Эта трагедия любви проникнута глубоким патристическим пафосом. Отличия от версии Низами как в сюжетном движении, так и в трактовке характеров обнаруживаются именно в свете патристической идеи. Такой подход, как мы увидим, не был самоцельным желанием создать оригинальную версию, но диктовался злободневной гражданской задачей. В преддверии июня 1941 г. Самед Вургун не мог не ощущать опасности, надвигающейся на страну...

Башня, возведенная зодчим Фархадом, не просто совершенное творение, но и твердыня, служащая защите родной земли. Мудрый аксакал Азер баба* (отец Фархада) говорит:

*Баба — дед, отец, здесь уважительное обращение.

Здесь наше все, здесь все трудом добыто,
Да, страшен будет всенародный гнев,
Когда враждебной конницы копыта
Осмелится топтать родной посев...

(Перевод Т. Стрешневой).

Если у Низами в «Хосров и Ширин» на первом плане — венценосный Хосров, то С. Вургун смещает идейно-художественный акцент на человека-труженика, что видно и по самому названию драмы «Фархад и Ширин». Фархад не просто каменотес, зодчий, как у Низами, он — народный вождь, воевода, герой. Сила его — в народе: «Я сын своей страны, я верю в силу своего народа».

Самед Вургун в корне меняет любовную линию: чувства Хосрова к Ширин оказываются корыстной игрой, подкасанной придворным живописцем Шапуром и преследующей властолюбивые цели: женитьба на Ширин — дочери бардинского правительницы Мехинбану позволила бы прибрать к рукам новую вотчину... Силой, это Хосров чувствует, Барду не покорить.

Мечтательная царевна Ширин очарована портретом иранского венценосца, созданным услужливым художником. Но в конце концов она прозревает:

Нет, шах, я не предаю свою страну.
Я не отдам ее в порабощение.
...Мне кажется порой, что все обман
И вам нужней меня Азербайджан...

Правда, сердце Ширин, произносящей эти гордые слова, не может еще превозмочь властное притяжение любви.

Рать Фархада с боем преступает пределы державы. Хосров предчувствует, что перед этой силой не устоять и прибегает к хитрости: дает слово отпустить Ширин, но с условием, чтобы Фархад рассек непроходимую гору Бисутун. Фархад согласен. (Здесь напрашивается резонный вопрос: почему побеждаемая сторона ставит условие побеждающей? И почему Фархад принимает это условие, оставив войско?). Конечно, проще всего объяснить это тем, что автор здесь не мог отрешиться от влияния Низами и отойти от сюжета. Это одно. Но вспомним о вургунском понимании положительного и идеального романтического героя. «Сильные и слабые стороны в характере положительного героя должны проявиться именно как всестороннее развитие его положительной природы. В противном случае, мы можем потерять цельность, присущую природе положительного образа», — так он сформулировал свое отношение к этой проблеме в содокладе на II съезде писателей страны.

В подтверждение своей мысли поэт ссыдался на Фархада у Низами и шекспировского Отелло. По его мнению, Фархад, чье сердце не выдержало вести (заведомо ложной) о смерти Ширин, и Отелло, лишивший жизни Дездемону, стали трагическими жертвами своей доверчивости. А эта слабость говорит об их нравственной чистоте. Таким безоглядно благородным и бесхитростно прямодушным виделся ему и «свой» Фархад. Но при всех возможных творческих побуждениях упомянутый момент в поведении героя выглядит неоправданным.

Финал напоминает античные трагедии.

Хосров ставит гибельный капкан Фархаду, но сам падает жертвой вероломства, ветреный и тщеславный отпрыск венченокса по наущению визиря умерщвляет отца. Шапур уверяет Фархада в мнимой смерти Ширин, тем самым доводит его до самоубийства. Ширин, явившаяся к горе Бисутун, чтобы воздать восторженную хвалу подвигу Фархада, и, не застав его в живых, закалывается кинжалом...

ЧАСТЬ

III

ВОЙНА И ПОЭТ

«УСЛЫШЬТЕ, РОДНЫЕ ТВЕРДЫНИ, МЕНЯ...»

В сборнике «Военные поэмы Объединенных наций», изданном в Нью-Йорке после войны и включившем в себя произведения двадцати поэтов мира, мы видим и «Материнское напутствие» Самеда Вургуня. Внушительная энергия этого стихотворения, которое сегодняшнему читателю может показаться незамысловатым по художественной ткани, заключалась в обнаженной и решительной прямоте выраженного в нем нравственного императива, гражданского и патриотического чувства. Слово матери, провожающей сына на смертный бой с врагом, преодолевающей тревогу за жизнь самого дорогого человека на свете, звучит как наказ самой Родины, и ее духовное пространство имеет и национальные, и интернациональные координаты. «Она взрастила Кероглы и жизнь Чапаева дала...» Мать в стихотворении предстает и как живой, конкретный характер, и как символ всенародной надежды и веры. В этом — высокая правда переживаемого времени, и правда искусства.

Стихотворение сыграло роль поэтической «повестки», призвавшей под ружье сотни молодых добровольцев... И в их душе звучали простые гордые слова:

Иди, мой сын, разить врага! Счастливого тебе пути!
Пусть меток будет твой удар, чтоб враг живым не смог уйти...

(Перевод П. Панченко).

Июньский рассвет 1941 г. обозначил черную роковую черту в истории Советского Союза. По ту сторону остался мир, по эту — лавиной катилась бронированная, моторизованная, летающая, стреляющая, убивающая беда... Война, которую назовут Великой Отечественной.

«Мост к Победе был построен на костях талантливейших людей Отечества. Может быть, многие из них остались бы живы, если бы столько лучших красных командиров не было уничтожено перед войной, если бы после трескучего шапкозакидательства мы бы не оказались почти с голыми

руками перед бронированными мордами рычащих гитлеровских «тигров», уже обновившихся пригороды Москвы...», — эти горькие слова принадлежали поэту Е. Евтушенко.

Сегодня, говоря о военном лихолетье, мы испытываем, помимо боли памяти, и бремя нашего позднего знания о войне и о том, что ей предшествовало.

Тогда этого знания не было. Во всяком случае, у множества, у массы. Тотально обожженные магией непогрешимой мудрости вершителя судеб люди верили ему, верили в праведность его гнева и милости, заслуженность кары. Люди верили ему и тогда, когда произносили его имя рядом с именем Родины, глядя в глаза смерти и поднимаясь в атаку... Верили ему и творцы слова.

Сошлемся на глубокое и искреннее признание выдающегося советского писателя: «Да, мне сейчас приятнее было бы думать, что у меня нет таких, например, стихов, которые начинались словами: Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?» Но эти стихи были написаны в сорок первом году, я не стыжусь того, что они были тогда написаны, потому что в них выражено то, что я чувствовал и думал тогда, в них выражена надежда и вера в Сталина... Но, с другой стороны, тот факт, что я писал тогда такие стихи, не зная того, что я знаю сейчас, не представляя себе в самой малой мере всего объема о злодеяниях Сталина по отношению к партии и к армии, и всего объема преступлений, совершенных им в 1937—1938 гг., и всего объема его ответственности за начало войны, которое могло быть не столь неожиданным, если бы он не был столь убежден в своей непогрешимости. Все это, что мы теперь знаем, обязывает нас пересмотреть свои прежние взгляды на Сталина... (Из письма К. М. Симонова Д. Д. Делову от 29 июня 1964 г., «Правда», 27 мая 1988 г.). Эволюция во взглядах, пережитая автором этого письма, характерна для всего или почти всего поколения. Говоря о творческой судьбе Самеда Вургуня, мы не можем не брать в расчет той деформации в политической жизни страны, которая так или иначе влияла и на расстановку акцентов в освещении войны и предвоенной истории.

К. Симонов, переживший эпоху культа личности, осознает необходимость переоценить взгляды.

Самед Вургун не дождал до XXII съезда... Он ушел из жизни с верой, которую в отпущенный ему короткий земной срок не успел поколебать...

Жестокый максимализм и беспощадная требовательность Верховного Главнокомандующего (его карающая десница наступала подчас и сражающихся полководцев) постепенно приходили в соответствие с логикой и динамикой

войны, при конкретной реализации корректируясь опытом и зоркостью плеяды, к счастью, уцелевших и выдвинувшихся военачальников... Верховный это понимал, считался с этим, как понимал и то, что с народом надо говорить другим языком. Его обращение в начале войны произвело бесспорное глубокое впечатление, сам тон трогал сердца искренностью: «Братья и сестры!..» Взвешенные лапидарные слова, которые сходили с его уст: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — становились символом веры.

Речь шла о жизни и смерти большого государства, об участи всех населяющих страну народов.

Вскоре, после июньского обращения Сталина, Самед Вургун написал стихотворение «На страже Родины», ставшее знаменитым:

Услыште, родные твердыни, меня,
Считайте солдатом отныне меня!

(Перевод П. Антокольского).

С первых дней войны литература жила войной, служила сражающемуся народу.

За несколько июньских дней в республиканской газете «Коммунист» увидели свет пять вургуновских стихотворений. Помимо названного — «Сестры», «Красные соколы», «Речь старого героя».

Многие писатели сменили перо на штык в буквальном смысле. Абулгасан, сражавшийся у стен Севастополя, потом создаст этапную в нашей прозе эпопею «Бастيونы дружины». Исмаил Шихлы, его младший собрат по перу, стал пулхонером, участником Керченского десанта, дошел до Кенигсберга, и мы узнаем об этом из его фронтовых дневников, опубликованных после войны. Артиллеристы Беюкага Касумзаде, Энвер Алибейли, Гусейн Аббасзаде расскажут о своем ратном пути в стихах и прозе. Гусейн Натиг, Абдулла Фарук, талантливо заявившие о себе в поэзии, не вернулись с войны. Сражались на фронте Зейнал Джаббарзаде, Юсиф Азимзаде, Ислам Сафарли и многие другие.

Немало писателей и литераторов работало во фронтовой печати. Надели шинели военных корреспондентов видные мастера литературы. Слово Шолохова и Леонова, Эренбурга и Симонова окрыляло бойцов, вооружало их священной решимостью бороться до полной победы над врагом.

Самед Вургун, как и другие писатели республики, часто выезжает в действующую армию, встречается с воинами на передовой, на Северном Кавказе, под Москвой...

Зволнованный, призывный голос его звучит на фабриках и заводах, колхозах и промыслах...

Скоре после начала войны на общегородском митинге интеллигенции, проведенном в филармонии, состоялась запись в боевые дружины народного ополчения. Сamed Вургун был в числе первых.

Героями его стихов становятся сыны родной земли, сражающиеся против общего врага народов бывшего Союза: политрук Кямал Касумов, летчик Мазан Аббасов, пулеметчик Исрафил Мамедов, первым из воинов-азербайджанцев, удостоившийся звания Героя Советского Союза, партизан Бабаш Дадашев, сражавшийся в рядах ковпаковцев, Гусейн Аждаров, водрузивший красный стяг в освобожденном Орле. В суровые дни войны поэт обращает слова благодарной любви к столице СССР («Встреча в Москвой»), блокадному Ленинграду, («...видя в них символ веры в победу над коричневой чумой...»)

В тылу врага, над партизанским краем сбрасывали наши самолеты боевые листки. На одном из таких листов можно было прочитать:

ПАРТИЗАНУ БАБАШУ

Пусть эта весть издадека словами точными бедна, —
Нет расстояний для любви... Мы — кровь одна и плоть одна!
...Ты Белоруссии — сестре спешил помочь издадека,
О, пусть ей счастье принесет Востока братская рука!.

(Перевод А. Адалис).

Стихи Самед Вургун были вызваны к жизни вестью с фронта: его будущий герой сообщал в письме Центральному Комитету Компартии республики, что с октября 1941 г. сражался на фронте и затем, выучившись на радиста, по собственной просьбе был заброшен к партизанам. Они еще не были знакомы: поэт и воин. Газета со стихами дошла до адресата в ковпаковском отряде и была зачитана до дыр. По воспоминаниям самого Бабаши Дадашева, он был направлен на краткосрочные курсы в Москву и там, у гостиницы «Москва», случайно увидел и узнал любимого поэта. Несколько часов они провели вместе.

Самед не преминул познакомить земляка-партизана с московскими друзьями-писателями на скромном застолье в гостинице и вдобавок подарил ему обнову — меховую шапку... Дело осложнилось тем, что было просрочено время увольнительной, и поэт отправился с героем к военному начальству, чтобы принять вину за опоздание на себя...

Б. Дадашев поддерживал связь с поэтом и впоследствии. Он вспоминал о письме, отправленном 11 июня 1943 г.: «Мой уважаемый партизан Бабаш, будучи в Москве, я узнал от Фадеева, что ты вновь героически сражаешься, даже с радиогруппой, отправленной тобой, ознакомился... Очень обрадовался... Бабаш, отцы говорили: «Бык околеет — шкура останется, игит умрет — имя останется. Желаю тебе успеха. Жму руку. Самед Вургун».

Взыскательный художник Самед Вургун не мог не ощущать необходимости более масштабного воплощения образа сражающегося народа; человека на войне. Он мечтал о поэтических дастанах, драматических произведениях, живописных полотнах, фильмах, операх, которые могли бы увековечить героев войны. Но военное лихолетье диктовало свои жесткие условия прямого, незамедлительного отклика, оперативного публицистического разговора с людьми в окопах и тружениками тыла. И он стремился вести такой разговор в многочисленных печатных и изустных выступлениях.

Разоблачение человеконенавистнической сути идеологии нацизма — одна из важных линий всей советской литературы тех лет. В статье «Ужасы фашизма» Самед Вургун писал:

«Фашизм отрицает самые прекрасные чувства в человеке, мечты и деяния, дружбу и верность, наконец, такое великое и святое чувство, как совесть. Гитлер пишет, что мы должны быть беспощадны к совести, время добрых чувств давно минуло.

По мысли этого мясника человечества в человеке должны быть не добрые чувства, а звериные, палаческие инстинкты. Его бесстыдство, спесь и наглость преступили все пределы. Он вновь вешает, что освобождает людей от низкой химеры, именуемой совестью. Вы видите, что Гитлер не желает оставить во внутреннем мире человека ни капли прекрасных чувств. Ибо он «специалист» по миру варваров, хищников, весьма далекого от мира человечности.

Вот «новая мораль»... исповедуемая гитлеризмом...

Фашизм несет народам кабалу и гибель. Он не оставляет ни следа от национальной свободы... во всех поработанных странах...»

Публицистический накал и заостренность присущи и многим поэтическим произведениям С. Вургун военного поры. Мы знаем, какую великую одухотворяющую и вдохновляющую роль сыграла в годы войны песня. Сколько таких песен, согревавших истерзанные горем и разлукой сердца, родилось в дни трагических испытаний! Песня помогала

жить, верить, сражаться, ждать любимых. Она утверждала подвиг, достоинство, мужество, верность и величие духа советского человека. Стихотворение Самеда Вургуня «Сестра милосердия», положенное на музыку Узеиром Гаджибековым, стало крылатым боевым призывом, звавшим на ратный труд многих азербайджанских девушек, ушедших на фронт добровольцами.

Вставай и ты, дочь родины моей,
Час пробил! Будь же к подвигу готова
Своих трудов и сил не пожалей,
Бальзам — твоё врачующее слово!

Радио разносило проникновенную песню голосами известных певцов Фатимы Мехралиевой и Сары Кадымовой по домам, по госпитальным палатам, она долетала до Грозного, Моздока, Крыма, шла на Запад, сопутствуя сражающимся землякам и землячкам... Музыка Узеира и слова Самеда дали жизнь и другой песне — «Русская армия»...

В августе 1941 г. был создан «Фонд обороны страны». Первоначальный вклад азербайджанских писателей составил свыше 40 тыс. рублей. Первым в списке стояло имя Самеда Вургуня и цифра 20 тыс. Рубли воплощались в танки, самолеты, орудия, разившее врага. Страна жила единым помыслом: «Все для фронта, все для победы!»

Как-то при встрече поэта с земляками в родном Газахском районе произошел эпизод, глубоко взволновавший его.

«Теребя черной головной платок, она вышла вперед. — Вношу на танковую колонну две тысячи рублей! — сказала она, но вдруг смутилась, застенчивая молодая крестьянка, и опустила глаза, окаймленные длинными изогнутыми ресницами.

Я узнал..., что она из колхоза «Коминтерн», селения Дашсалахлы...

Содержит семью с того дня, как муж ушел воевать за родину...

...Я сказал ей:

— Сестра моя, Гызханым! Я напишу в вашу честь стихотворение.

— Спасибо, если напишете! Спасибо, если не напишете! — проговорила она также застенчиво.

Может быть, она прочтет в газете мои строки, посвященные ей!..

Пусть она пошлет их, вложив в письмо, своему мужу! Этим словами поэт предвещал публикацию обещанного своей собеседнице стихотворения «Подвиг Гызханым».

В этом стихотворении Самед Вургун не просто рассказывает об одной из встреч в азербайджанском селе. Факт — только толчок, отправная точка для творческого поиска. Мысль поэта летит дальше и выше, и в образе азербайджанской колхозницы предстают заботы и тревоги многих и многих солдаток. Поэт как бы читает душу своей героини, которая

...грустит, садясь за ужин скромный
В родимом доме, полном тишины,
Ей смутно слышен океан огромный,
Кровавый, грозный океан войны...
Там — друг ее, там — бой сегодня жаркий...

Вроде можно было бы закончить стихотворение на этой напряженной ноте, от которой щемит сердце. Но шла война. Людям был нужен не столько поэтический рассказ о тоске разлуки и ожидания — она была всеобщей. Людям нужен был свет надежды и веры. И тем, кто воевал, и тем, кто ждал их.

Угрюмо пересиливая горе,
В ней светлое предчувствие живет:
Недолго пировать шакалей споре, —
Год львиной славы — сорок третий год!

В оригинале неспроста использован эпитет «львиный», — мужа героини зовут «Аслан», что означает «лев».

О, да, мой друг, должна цвести на воле
Моя страна среди свободных стран,
Где с Гызханым зарею выйдет в поле,
Вернувшись победителем Аслан!

(Перевод А. Адалис).

Слово поэта находило живой отклик в сердцах земляков. О воздействии, например, этого стихотворения красноречиво говорит также письмо война Габиба Касумоглы: «Дорогой Самед!

Ваше стихотворение... прочел бойцам моего подразделения. Только что мы вернулись с боя. Мне трудно выразить словами...чувства и ощущения, разбуженные в нас стихотворением. Ваши стихи говорили нам: «Воин-азербайджанец, яви подвиги, достойные имени твоего народа. Будь беспопачен к врагу!» И мы в ответ Вам и Вашим товарищам по перу говорим: «...Заверяем вас, что с честью исполним свой долг!»

Фронт и тыл были связаны неразрывными, кровными узами. Об этом и другое стихотворение Самеда Вургуня

«Посылка». Об этом же писали его собраты по перу Осман Сарывелли («Дар поэта»), Мехти Гусейн («Обручальное кольцо»), Мирза Ибрагимов («Любовь»).

Когда враг был у стен Москвы, Самед Вургун написал строки благодарной любви к столице.

Москва! Лучше слова не слышал нигде.
Родные роднее бывают в беде.

(Перевод М. Петровых).

«Мы были с Самедом Вургунем в красноармейской аудитории в дни, когда враг был недалеко от Москвы, — вспоминал критик А. Деев. — Поэт читал свои военные стихи и по-русски, и на родном языке.

Спокойный, с плавными жестами, он лишь изредка повышал голос, чтобы подчеркнуть свои чувства. Но, может быть, именно эта совокупность жестов в сочетании с хорошей простотой и живым поэтическим словом и яркими образами создавала глубокое впечатление.

Среди слушателей оказалось несколько азербайджанцев. Надо было видеть их бурную реакцию, чтобы понять всю силу поэтического слова Самеда Вургуня.

Древнее изречение «Когда говорят пушки, музы молчат» опровергалось реальностью гигантского вооруженного противоборства XX века. Ничем не исчислить, не измерить тот вклад в историческую битву с коричневым безумием, который внесло живое, выстрадавшее слово советских писателей. Слово, работавшее на Победу. Оно, это слово звучало с пахнущих типографской краской газетных полос, по радио, в госпиталях, на позициях в минуты короткого затишья, слово Твардовского и Ахматовой, Тихонова, Симонова и Антокольского, Тычины и Джамбула, Леонидзе и Купалы...

Пусть не всем созданиям творцов слова был отпущен долгий век, пусть они подчас не успевали созреть, приобрести блеск совершенства и вылиться в полнокровные формы искусства, — в горячке боя, при стрельбе «прямой наводкой» выбирают кратчайший и быстрейший путь к цели... Но когда рассеялась пороховая гарь, когда остыли родные пепелища и возродилась земля и когда утихла скорострельные публицистические и литературные залпы, время обнаружило и извлекло из великого множества написанного, сказанного, спетого непреходящие жемчужины.

Трагический эпизод войны вызвал к жизни одно из волнующих, глубоко впечатляющих стихотворений Самеда Вургуня — «Мне рассказали...»

Мне рассказали об одном
Вестном друге, но родном...
...Сказали: «Наш аскер один
Родной земли родимый сын...
...Недавно умирал от ран
Вдруг он воскликнул: «Врач! Аман!»
...Хочу исполнить — разреши
Одно желание души...
...Окликнуть жизнь, издалека
Стихом поэта-земляка!
«Можно ль душу из сердца украсть? Никогда!»

И умирающий воин прошептал строки любимого поэта — стихотворение «Азербайджан»...

Мы знаем много случаев, когда на войне томик Пушкина или Маяковского оказывался спутником бойца, любимые книги были с солдатами до конца, сколько их, залитых кровью и простреленных пулей... Стихи Самеда Вургуня также удостоились высшей чести — быть нужными соотечественникам в смертном бою...

На великую битву с фашистским нашествием востали и бессмертные тени: в осажденном, измученном, непокоренном Ленинграде, в холодном зале Эрмитажа, в короткую пору затишья между педантично-жестокими артобстрелами звучали стихи Низами Гянджеви... Героический город, сжатый кольцом блокады, отмечал 800-летие великого поэта. Николай Семенович Тихонов, Иосиф Абгарович Орбели были душой этого торжества — еще одного подвига ленинградцев... Быть может, в эти же часы в пасмурном небе над Невой дотягивал свой самолет до родного аэродрома смертельно раненый Гусейнбала Алиев — соотечественник великого Низами... Потом его ратный подвиг войдет в поэму «Над Ленинградом», созданную Мамедом Рагимом...

* * *

Согласно договору между СССР и Ираном 1921 г., для предупреждения опасности военного вторжения советские войска перешли по ту сторону Аракса. Приход советских сил воодушевил национально-освободительное движение в Южном (Иранском) Азербайджане. Миллионы наших сонародников, живших в Иране, не раз поднимались на борьбу против шахской тирании за национальную независимость, и каждый раз вооруженная реакция топила эту борьбу в крови.

В составе советского контингента в Иран отправились деятели культуры и литературы — Сулейман Рустам, Мирза Ибрагимов, Осман Сарывелли, Аббас Заманов, брат Самеда

Вургун Мехтихан Векилов и другие. Они способствовали делу возрождения национальной культуры, подвергавшейся дискриминации со стороны шахского режима... Боль разобщенного народа, участь братьев и сестер по ту сторону пограничного Аракса слышалась в символическом образе Самеда Вургун к «Тебризской красавице», написанном еще до войны.

...Мечтаешь ты в далеком далеке,
Твердишь, когда же кончится разлука,
Выходишь из дверей в цветном платке,
И тень моя тебе целует руку.

Не отпускает черная тоска!
Остынь, очаг, у тех, кто в ней повинны!
Аракс, Аракс, разлучница-река...
Разбито сердце на две половины.

(Перевод В. Кафарова).

Теперь родилась надежда, что над «разлучницей-рекой» навсегда соединятся руки братьев и сестер. Надежда сбылась, но ненадолго. В декабре сорок пятого года в Южном Азербайджане было сформировано демократическое правительство, просуществовавшее год... Свобода была вновь задушена тиранией, объединившей свои усилия с западными союзниками...

Вернемся на просторы советской земли, где шла война. С фронта в адрес Союза писателей Азербайджана на имя Самеда Вургун летели письма земляков. Десятки, сотни писем. Читаем в одном из них:

«Дорогой мой поэт!.. Наши бойцы и командиры до нельзя мечтают прочесть новые произведения азербайджанских поэтов и литераторов. Поэтому... просим... распорядиться об отправке как Ваших собственных, так и поэтических книг С. Рустама, А. Вахида, М. Рагима...»

Конечно, Самед Вургун стремился исполнить такие просьбы и исполнял.

Он находил время позаботиться и о семьях ушедших на фронт товарищей по перу. Сулейман Велиев с благодарностью вспоминает о лифтондовской пенсии, выделявшейся его отцу. Руководитель Союза не оставил вниманием и семью Татула Гурьяна — поэта-фронтовика, погибшего в боях... Все это делалось не только по долгу службы, прежде всего, по велению сердца, всегда отзывчивого на человеческую беду и боль.

Ему не было и сорока лет, но народ — и те, кто воевал, и те, кто трудился в тылу, — видел в нем авторитетного мудрого аксакала, щедрого сердцем, готового прийти на

помощь. «...На днях я получил письмо от сына о том, что Вы побывали в нашем селе, поинтересовались нашим положением, повидались с нашей семьей... Уважаемый Самед, это для нас большая честь, спасибо Вам...», — это строки письма фронтовика Мустафы Гусейнова, сражавшегося на украинской земле.

И как бы в ответ на доверие бойцов поэт обращался к ним:

Сражающиеся на фронте отцы!
В сердцах детей — непокоримая кровь!
О детях наших не печальтесь, бойцы!
Их зорко охраняет наша любовь...

(«Детсад», перевод М. Петровых).

Как ни тяжел и горек был первый год войны, вера советского народа в правоту своего дела, в успех противостояния и достижимость Победы не была поколебима. Священный патристический порыв охватил всех от мала до велика. Гитлеровские стратеги, делавшие ставку на превосходство в технике, на страх и панику, просчитались. Они не могли постичь и предвидеть беспримерной массовой самоотверженности людей, защищавших Отечество до последней капли крови. В тяжкую годину все народы страны встали стеной и преградили путь нашествию. Именно высокий дух народа опрокинул план ближкрига. Враг не сломил ленинградцев, не смог провести спесиво обещанного ноябрьского парада на Красной площади. По ее брусчатке прошагали перед Мавзолеем защитники столицы, направляясь с парада на боевые позиции.

А днем раньше, на далеком юге, бакинцы смотрели в драмтеатре спектакль «Фархад и Ширин», и когда народный герой вел свое воинство на бой с полчищами тирана, воодушевленным зрителям нетрудно было забыть о грани, разделяющей века, сцену и жизнь — они ощущали тирано-борца своим союзником и современником.

В декабре 1941 г. «Правда» сообщила о присуждении звания Героя первому воину-азербайджанцу, старшему сержанту Ибрафилу Мамедову за ратный подвиг в сражениях под Новгородом. Азербайджан гордился своим сыном. Мог ли Самед Вургун не вдохновиться?! Он взялся за перо: «Сыну Азербайджана...»

...И мать, целуя в лоб, сказала ему:
«Ступай, сынок. Будь смелым удалцом.
Рази врага железом и свинцом.
А если ты врагу подставишь спину,
То не являйся пред моим лицом».

Поэт отправляется в Гянджу, где жил и рос герой. Оттуда — в Шамхорский район, в село Гапаналы, где родился Исрафил. Встречается с матерью, родней героя...

Пятитысячный митинг на городской площади. Голос Самеда Вургуня звучит взволнованно и гордо.

— ...Обращаясь к родной матери Исрафила Гюльсум хала и ко всему азербайджанскому материнству, я говорю:

Да будет в жизни вашей благодать,
Да будет каждый день весне подстать.
Будь счастлива, взрастившая героев,
На подвиги взлелеявшая мать!

Исрафил, выросший на родине великого Низами, был осенен могуществом гор Кошкар и Капез, испил воды из «журлявиных очей» родников на зйлагах Хачбулага.

Он вкусил великое благо свободы и счастья из поэтических жемчужин своего пращура Низами Гянджеви. Он учился героизму и отваге у... праотца своего Кероглы...

В этой великой войне на нашей стороне демократические государства и передовые люди мира. Близятся гибельные дни врага. Победа будет за нами, ибо за нами — правда!...

После возвращения из Гянджи дороги уводят поэта на Крымский фронт вместе с группой деятелей науки и культуры. Командование встречает их без торжественности, но тепло. В состав бригады входили секретарь ЦК Компартии республики Газанфар Мамедов, философ Гейдар Гусейнов, поэт Расул Рза, партийный работник Генрих Письман и другие. Они встречаются с воинскими частями, занимавшими позиции неподалеку от линии фронта, готовящимися к жесткой схватке, чтобы вырвать из рук врага Керчь и Феодосию.

Встречи проходили в частях, состоявших, в основном, из воинов-азербайджанцев. Расул Рза, участник этих прифронтовых встреч, вспоминал, что «Самед обычно начинал выступление не со стихов. Он говорил о самых обычных вещах — о семье, о доблести, при случае заводил речь о том, как живет народ в городах и селах Азербайджана, как помогает фронту.

Постепенно он наращивал накал и напряжение беседы, приводил примеры из щедрой героической истории азербайджанского народа, говорил о его верности, дружбе, традициях интернационализма.

До сих пор у меня перед глазами взволнованные лица, пылающие взоры, строгое стройное обличье молодых бойцов с великой верой внимавших поэту.

...Выступления Самеда повсюду вызвали большой душевный подъем среди воинов. Обычно Самед завершал стихотворением, порой написанным накануне выступления. Читал стихи раскованно, редко впадая в пафос.

Временами вспыхивал смех, весьма необычный в столь суровой обстановке. Солдаты от души хохотали при словах поэта, в хлестких и метких поэтических уподоблениях высмеивавшего спесь фашистов. А то, смотришь, глаза воинов отуманит печаль, губы стиснуты, руки непроизвольно сжимают автомат...»

Через несколько дней 44-я армия, перешедшая в решительное наступление, освободила Керчь и Феодосию. И в этой победе была доля участия вургуновского слова, обжигавшего и зажигавшего сердца...

А на севере героически противостояли врагу защитники Москвы... Вдали от нее поэт переживал каждый день и каждое событие великой битвы. И вот он видит столицу в январских снегах, сжавшуюся, посуровевшую, морозную, ошетинившуюся противотанковыми ежами. Он приехал на пленум Союза писателей с Мехти Гусейном. По традиции остановился в старой доброй «Москве». И сразу выходит посмотреть город, с которым так много связано со студенческой поры. Его волнение выливается в проникновенные строки «Встречи с Москвой».

Восемь месяцев я не видел тебя,
Смертоносный к тебе приближался шквал.
Он подкапывал к сердцу, гремя, слепя...
Я тебя никогда не забывал...

(Перевод М. Петровых).

Он обводит гордым, влюбленным взором город — Красная площадь, Мавзолей, «бронзовый Пушкин в метельной мгле»...

Вижу девушку... Облик знакомый! В нем
Я Татьяну Ларину вновь узнаю.
Как она изменилась! Каким огнем
Эти дни озарили ее в бою!

Он ощущает гордое достоинство великого города, он верит,

Что в борьбе с темной злобой победят
Разум, истина, мужество и любовь...

И вот — 26 января. Пленум писателей. На повестке дня — состояние литературы в период войны.

Самед Вургун отчитывается о делах азербайджанских писателей.

30 января он выступает по Всесоюзному радио. Речь его энергична, проста и тверда: бить врага до победного конца, крепко держать оружие в руках до тех пор, когда советское знамя будет развеиваться над Берлином. Воины-земляки писали: «Дорогой Самед!.. Когда Вы выступали со своими стихами по радио, мы были в окопе.., словно подул на нас живительным весенним ветром. Руки наши обрели новую силу, глаза посветлели. Бойцы-азербайджанцы, русские, грузины, лезгины и другие — все в едином порыве приветствовали Вас...»

В столице Самед Вургун встретился с московскими друзьями, с дорогими его сердцу Павло Тычиной и Максимом Рыльским, вместе со всеми горько переживавшими боль истерзанной украинской земли, занятой врагом. Киев в руинах... Благодатный черномез вывозят на чужбину, в третий рейх... Вместе с полоненными людьми. Самед утешал друзей. Через десять лет Максим Рыльский — гость Баку — с благодарностью скажет: «Как украинский поэт и гражданин, я не могу забыть, что в дни Великой Отечественной войны с пламенным письмом обратился к украинским партизанам гражданин и поэт Азербайджана Самед Вургун...»

...Кому Шевченко самый близкий друг?
Чей соплеменник славный Кармелюк?
И кто врага не выпустит из рук?
Все это вы, друзья по жизни брэнной —
Украинские наши партизаны!..

Листовки с этими стихами Вургун были сброшены советским самолетом над оккупированным Полесьем. Стихи уподоблялись боеприпасам.

Поэт задерживается в Москве до конца февраля.

Ситуация на фронтах сложилась такой, что железнодорожный путь на Баку был перекрыт. Да и воздушный коридор таил в себе очевидную опасность. Гитлеровские полчища подкатились к Волге. В Сталинграде развернулось великое сражение. Воронеж был занят врагом. Фашисты рвались на Кавказ... Окольный путь занял бы много времени. Оставалось ждать.

Отторженность от дома точила тревогой сердце поэта. Наверное, не раз в ту лютую зиму, далеко от Баку, он думал о маленьких детях, о Хавер, поступившей в университет, о Пики ханум, на плечи которой легло основное бремя забот о внуках, о семейном очаге. Глава семьи был веч но в делах, в разведках. И война эти отлучки из дома сделала нормой.

Летом 1942 г. Самед Вургун уезжает в Тбилиси. Он участвует в антифашистском митинге деятелей культуры. К тому времени фашисты заняли Северный Кавказ. Отборные части «Эдельвейс» взорвали полотнище со свастикой над Эльбрусом. Понадобится время, чтобы над белоснежной двуглавой вершиной подружить алое знамя. Коричневый мох, рвался к бакинской нефти и уже ощущал ее дразнящий запах. На тбилисской трибуне поэт выражает веру в neodолжимую силу народа, сражающегося за свою честь, независимость и свободу, воодушевляя современников героической памятью кавказских народов, доблестью Кероглы, Тарнэля...

В ноябре Вургун снова в Москве. Всесоюзный антифашистский митинг, вечер азербайджанской поэзии!.. В те дни между руководителем писательской организации республики и А. А. Фадеевым состоялся примечательный диалог на заседании правления Союза писателей. Стенограмма заседания от 13 ноября 1942 г. сохранила любопытные подробности.

«Что произошло у вас? — недоуменно спрашивал Фадеев. — Мы получили протокол, где за бездеятельность исключено 15 человек из Союза.

— В один прекрасный день (мы) взяли список писателей... Я хотел проверить, что за люди, чем они заняты... обнаружил что 15 человек давно умерли для литературы... Многие из них написали когда-то пять-десять стихотворений, два-три рассказа, а потом ушли и (мы) даже не знаем, где они находятся. Это балласт...

— Нас потрясла ваша решительность...

— Вы не думайте, что я это сделал безответственно. Я дорожу буквально каждым писателем, но таким писателем, у которого есть хотя бы небольшие признаки таланта. Это же были просто «мертвые души»...

Вот, например, был один критик. Он вообще через пять лет одну статью пишет и то бездарную. Правда, он по своей натуре очень хороший человек... Когда на следующий день после его исключения мы встретились... я так и сказал ему: «Ты хороший человек, но держать тебя в писателях я больше не могу»... Он мне сказал: «Ты правильно поступил. Но я тебе обещаю — написать столько, сколько нужно, и ты сам будешь меня восстанавливать».

— ...хочу сделать небольшое замечание... В протоколе есть одна неправильность: нельзя было всех сразу исключить. Нужно было каждого товарища рассмотреть отдельно... каждого проверить с тем, чтобы была страховка от ошибки. Ваше же исключение произвело впечатление разорвавшейся бомбы...»

В этом эпизоде отчетливо виден характер поэта — с его бескомпромиссностью и нелюбимостью, когда речь шла о достоинстве и качестве профессиональных писательских рядов, о высоком назначении литературы. Он был непримирим ко всякому рвачеству, стремлению работать спустя рукава и видеть в литературе доходную статью. Но мало кто другой мог, как он, поддержать добротное произведение, окрылить и одобрить талант. Духом такой бережной и взыскательной заботы был проникнут и его доклад «О работе азербайджанских писателей во время войны», заслушанный на заседании правления.

Еще до ноябрьской поездки в Москву Самед Вургун побывал в воинских частях под Грозным. Сразу же по приезде ему предстало огромное зарево ночного пожара. Видимо, горела после бомбежки нефть. Зрелище было зловещим. Пламя, взметнувшееся к небу, ассоциировалось с кровавой рубашкой на обугленном теле... Или это огромное кровоточащее сердце?..

Бьются красный огонь и огонь голубой
Удержаться ли миру на волоске?
Облака перешли в рукопашный бой,
Это сердце вселенной рвется в тоске...

В добротном, отточенном русском переводе М. Петровых это стихотворение «Город в огне» выпала строфа, раздвигающая, на наш взгляд, масштаб увиденной картины и конкретного переживания поэта. Вот словный смысл выпавшей строфы:

Кровь горлом идет у звезд...
В единый миг погасли тысячи очагов...
И лишь теперь постиг, какое это бремя —
Быть мыслящим планетою поэтом!

От первоначальных общих призывных нот поэзия военной поры шла к предметности, к реальной конкретности ликов войны — жестоких, суровых, скорбных и трагических. И в соотношении с этой реальностью еще зримее, убедительнее представляла сила духа человека, воюющего за правое дело.

«...В полевом госпитале, далеко от Азербайджана, звучит «Гарабахское шикесте», струится мелодия звонко-струнного тара и протяжный голос кеманчи. Думы раненых бойцов уносят их на родное, до боли желанное приволье, к горам, увитым туманами, ущельям, по дну которых бегут немолчные реки... Сквозь память, омраченную страданиями и гибелью боевых товарищей, сквозь дым пепелищ проступают лица любимых подруг, матерей, детей... Бойцы наде-

ются встать на ноги, взять в руки оружие, дожить до Победы... Во взорах вспыхивает свет надежды. Да, они могут выжить, дожить, вернуться... Но не все. В углу на госпитальной койке угасает молодая жизнь. Боец обречен.

О брат! Каким зовешься именем?
Что передать твоим родным?
Увы! Вопросы ни к чему.
Он безучастен ко всему.
Не слышит горестного зова,
Не вымолвит уже ни слова...

Это было 13 ноября 1943 г. в военно-полевом госпитале под местечком Беюк-Тохмак. Там родился в сердце поэта эти строки... Еще один горестный аккорд, обращенный к любимой подруге умирающего бойца:

...Да не сорвется крик надсадный,
Не тронет прадей снег досадный.
Он не вернется никогда!
И не ступит вовек ногой
На горы, доли и луга,
Гуляя об руку с тобой!..

Но жизнь сильнее смерти. И бессмертна память о павших в бою во имя торжества жизни. В этом — смысл борьбы и полнота истины.

О вы, сыны земли родной, погибшие во цвете лет,
Венец народной славы, и мирозданья цвет!

История восславит вас,
И пусть мой скромный стих
Пролет, как солнце, свет
На прах могил святых!

В этом скорбном реквиеме «Безымянному герою» явно обозначается стремление Вургуната уйти от отвлеченно-романтических медитаций, общих патетических мест, обнажить трагизм войны и философский смысл героического самоотвержения.

Довольно часто обычная деталь, мимолетное наблюдение подсказывают Вургуну образ, дают импульс рождению поэтической мысли. Под Грозным это было зарево пожара. Через год с небольшим под Мелитополем ему предстает городок, над которым пронесся опустошительный смерч войны. Пепелище. Обугленное иссохшее дерево. На ветке — монотонно и печально воркующая горлица.

О, голубы! Птица мира, ты в тоске,
Ты пролетел сквозь черный вихрь и ливень.
Ты Расскажи на птичьем языке,
Зачем ты шею вынул сиротливо?

Скажи мне, голубь, где она теперь
Та, что, встречая утренние блики,
Шла на крыльцо, распахивая дверь,
В запутанной и влажной повилке?..

И голубь, как бывает в сказке, отвечает человеческим голосом: «Там, у камней, под рухнувшей стеной она лежит... раскинув руки...» — И, вырвав недочитанную книгу... «смешался пепел сердца с пеплом той последней недочитанной страницы...» Поэтический голубь — это одушевленное горе, свидетель беды, живой символ страдавшей народной души. И сам поэт — частица этой души, преодолевающей боль и свято продолжающей уповать на то, что «будут зло и мрак погребены, земля отбросит черные одежды во имя человеческой весны, во имя человеческой надежды».

Особняком в военной лирике стоит «Философия жизни» С. Вургуня, переведенная Б. Пастернаком, — единственный случай сотворчества выдающихся поэтов. В оригинале стихотворение состоит из тринадцати пятистий. В русском переводе оно передано четырнадцатью катренами. Но дело не в арифметике. Б. Пастернак уловил и передал суть, дух этого поэтического размышления, выделяющегося на фоне конкретной нацеленности и, можно сказать, живой «реактивности» военной музыки... Под стихами стоит дата — 22 марта 1942 г.

Как уносятся птиц вереницы,
Полоенья уходят в отлет, —
Человечество то веселится,
То отраву смертельную пьет.

...Всех нас счастье влечет изначале,
Но над нами, смеясь искони,
Подпускало к себе, ускользало
И звало на бегу: «Догони!»

О, безумная дивная пери,
Брось негодную злую игру,
Я свидетельствую и верю:
Все живое стремится к добру...

Этой тяги тающей ради
Окажи свою помощь живым.
См. рть — проклятое ада исчадь,
Жизнь — силующий серафим.

В этом стихотворении мир увидел как бы с высокой, расширяющей горизонты времени и пространства, можно сказать, космической точки. Такой философско-романтический подход, угол зрения особенно характерны для эпических созданий поэта, и мотив глобальной противоположности добра и зла, света и мрака, созидających и разрушающих

сил в той или иной мере трансформируется в будущем — в трагедии «Человек», созданной сразу после войны, в поэме «Мугань» и других произведениях.

«Философия жизни» для нас особенно примечательна тем, что в разгар великой трагической битвы мысль поэта вралась ввысь, прорезая далекие мирные горизонты человечества.

Счастье — детище нашего века,
И, как истинное дитя,
Улыбается человеку,
Солнцем будущего света.

О войне — реальной, конкретной, узнаваемой по деталям — почти ни слова. Есть общий философский постулат: «Свет и мрак в вековой войне», «пусть смерть погибнет, торжествует жизнь». Поэт как бы на минуту отстранился от злобы дня, от всенародной и своей боли, вырвался из-под их мучительного и праведного диктата и взглянул на мир с иных, высоких рубежей духа, откуда трагические подробности современности предстали в океане мировой истории как еще один глобальный катаклизм, проявление титанического и извечного противоборства добра и зла... Сама по себе эта мысль не нова, но примечательно, что ее не смогли заглушить всеобщая боль, слезы, кровь, развороченный дымящийся воздух войны — она нашла в себе силы перелететь через гибельную прорву и высветлить неистребимое «солнце будущего»... — конечное торжество разума и справедливости». «Победит ли разум на земле?» — этот вопрос станет философским лейтмотивом трагедии «Человек», предвосхитившей тревоги современного человечества, над которым нависла тень термоядерного апокалипсиса.

ОРМУЗД И АХРИМАН

Ветер с моря шевелил недописанную страницу. Перо застыло в руке. Поэт на миг устремил взор в раскрытое окно, за которым повисло марево зноя. Ветка кражистой шелковицы звенела густо-зеленой маслянисто блестящей листвою, сквозь которую белели спелые ягоды. Дальше желтел расклеванный песок, по которому стлались виноградные лозы, отягченные еще зелеными, наливающимися гроздьями. Вдоль каменного забора тянулись ряды низкорослого инжира. В пятерных листьях виднелись желтющие плоды. В выгоревшей скупой траве монотонно стрекотали кузнечики. Все говорило о мире, о жизни. Природа вершила свои извечные дела. Земля гнала соки по жилам корней, стволов, ветвей, чтобы сотворить чудо плодоношения.

А где-то на севере стреляли орудия, рвались бомбы, убивали и умирали люди...

Позту выпала короткая передышка. И вот он на шувелянской даче. Неподалеку — сад, принадлежавший до революции известному магнату. Там, в Мардакянах, русолюбый певец России слагал вдохновенные гимны Шагане. Это было не очень давно. Лет двадцать тому назад...

Поэт погрузился в раздумье.

Перед ним рукопись начатой пьесы.

«Ормузд и Ахриман» — так называется пьеса. Эпиграфом могли бы послужить строки из «Философии жизни»: «С сотворения мира две силы — свет и мрак в вековойной войне».

Свет и мрак. Вокруг так много солнца, щедрого, южного... Надо бы «пропахать» тему поглубже. Вот бы прочесть «Авесту»! Узнать о религии огня из первых рук. Да где уж там. Список «Авесты» — где-то в иностранном музее. Гейдар Гусейнов! Вот кто поможет. Философ, историк, эрудит. Друг. Как раз кто-то из знакомцев поедет в город. Надо напомнить другу о просьбе. Гейдар обещал навестить к нему. Поэт берет чистый листок.

«Я — на даче. Возможно, ты приедешь сегодня. Приноси мне обещанные книги — о Прометее и еще об «Авесте». Мне очень необходимо прочесть. Чтобы сказать новое слово, нужно хорошо знать историю».

Он передает записку знакомцу.

Мы не знаем в точности, приехал ли Гейдар Гусейнов в тот вечер к другу и привез ли книги. Но, зная об обязательности большого ученого, можно уверенно предположить: приехал, привез. И представить живленную беседу поэта и философа под ветвистой шелковицей за чашкой чая...

Сердце Вургунa все время точила тревога: «Примут ли его замысел, поймут ли...» Ведь обращение к незапамятным временам. ...Но он сам же себя и убеждал, призывая на помощь очевидные, признанные всесоюзно примеры, а «Александр Невский», Эйзенштейна? А «Петр Первый» Алексея Толстого? «Кутузов»?

В сомнениях рождалась каждая строка. Тем не менее вскоре первая картина была готова... Свадебный пир Султана Гор с Пери Судьбы. Пируют всем миром. Молодых благословляет седобородый старец — мудрый Ормузд. (Святое божество очеловечено поэтом). Но нагрянула беда — божество зла Ахриман двинул свои полчища на мирных подданных Ормузда. Султан Гор поднимает рать против нашествия, предводительствуемого Мраком... Печальная не-

веста напутствует любимого и желает ему возвращения с победой.

Уже густеет темнота.

И молкнет песнь. И занавес содвинут...

Так завершалась первая картина.

Вскоре она была опубликована. И встречена в штыки: «абстрактное сочинение», «отдаление от современности».

Пьесу он не завершил.

Она подверглась нападкам... «литературных подпевал», критиков, «лишенных философского и романтического мышления, не могущих почувствовать духовного аромата нашей истории...», — вспоминает брат поэта.

А через год чувства, обуревавшие С. Вургунa в связи с нападками зонлов, вылились в форму газели:

О дайте исцеленье мне, чтоб душу пламя не терзало,
Чтоб вдохновение в огне, как солнца свет, не утасало.

Зачем мне ползать по земле? Иль воспарить моей душе
До белоснежных облаков, как соколище, не пристало?

..Вольны завистники мои влачиться в низоисте своей,
Они мне душу извели, но им не совестию нямало.

Вольны «друзья» тащить и красть охапками слова мои,
Но пусть мой творческий запал честить не тщатся, где попало.

Зову слагать дастаны в честь родного края своего,
Меня ль собратьям не понять? Меня ли изводить опалой?

Спустя время, С. Вургун предлагает новую свою работу — несколько песен из «Дастана Баку» в газету «Коммунист». Редактор, известный писатель Али Велиев, поначалу не решился принять произведение и признался поэту:

— Воля не моя, Самед. Перед отбытием в Москву «киши» (так в обиходе называли М. Дж. Багирова — авт.) наказал мне ничего твоего не печатать, дескать, ты накатал там что-то националистическое. Напечатаю — шкуру дерет.

Самед пожурил друга:

— Эх, Гараоглы, и у тебя, оказывается, кишка тонка? Давай сюда, не надо, так не надо.

Али Велиев, задетый за живое, решил рискнуть... Четыре песни «Дастана...» увидел свет. По возвращении «хозяина» редактору пришлось отсидеть в камере двое суток... Можно сказать, отделался легким испугом.

«Дастан Баку» постигла участь «Ормузда и Ахримана» — он остался незавершенным. Хотя к этому своему творению поэт возвращался несколько раз. «Чем он завер-

шится, я и сам не знаю,—признавался Вургун, — вдохновенно — как орел. Когда он летит, невозможно обозначить никакого предела...»

Всего было создано пять глав-песен. А ведь замах был грандиозный: дать образ Баку в историческом объеме, с его прошлым, революционной памятью и новью, свершениями нефтяников, рабочего класса, города — святыни, очага научной мысли и творческих дерзаний... Сamed Вургун, родившийся на берегах Куры, ощущал себя ревностным и благодарным гражданином столицы родной республики...

На бакинской нефти шли в атаку танки, поднимались в небо самолеты, работали военные заводы... Об этом — песня «Царство буровых».

Одна из вдохновенных песен — «Ичери-шехер» (буквально: «Внутренний город») — о древней цитадели с ее сокровенной окаменевшей памятью... Оживают страницы былого — народные обряды, игрища, когда боролись на полях, устраивали скачки... В голосе поэта сквозит гнев и сарказм, когда он ведет речь о Европе толстосумов, взиравшей на Восток с колонизаторской надменностью, видевшей в Востоке только лишь душищипательную экзотику.

Легенда «Два брата» об удивительной человеческой преданности, продолжая тему о благородстве жителей древнего «Города ветров», повествует: один из братьев-рыбаков погиб в штормовом море, другой, потрясенный горем, не в силах вернуться домой и поведать страшную правду матери и невесте. Так проходят годы, десятилетия. Невеста не перестает ждать и надеяться...

Итак, двум большим замыслам не суждено было развернуться в намеченную панораму, обрести очертания законченного создания. Мысль об этом не дает поэту покоя. В беседе со старшим братом Сamed как-то в сердцах посетовал: мол, зря он не дописал «Ормузд и Ахриман», ведь будущие поколения (читай и литературные «судьи») будут умнее нынешнего. «Я вновь вернусь к этой вещи», — твердил он.

Нет, поэт не дописал поэтическую пьесу. Но идеи ее, трансформировавшись, вошли в философскую трагедию «Человек», мифологические образы были заменены реальными людьми двадцатого века. Битва между воинствами добра и зла предстала кровопролитной схваткой с фашизмом, происходившей на советской земле. Мифологические страсти уступили место глубокому отзвукам войны в духовном и душевном мире человека...

ПОБЕДА

Красные флажки и стрелы на географических картах устремлялись на Запад.

Гитлеровской армии были нанесены сокрушительные удары: битва под Москвой, сталинградский «котел», Курская дуга, прорыв ленинградской блокады...

Измученный мир с надеждой взирал на победоносный натиск советских войск. Не только взирал. Росло движение Сопротивления, формировались и действовали освободительные воинства Польши, Чехословакии... Брезжил рассвет Победы. И тогда...

Сотрется злого зверя след — след поступи его кривой,
И шрамы на груди земли весенней зарастут травой...
...То будет новая весна, совсем особая весна,
Невиданная красота, неслыханная новизна!
(Перевод А. Адалис).

Это из «Слова о грядущем», написанного в 1943 г. Мечтательная муза поэта неудержимо рвется по ту сторону желанной победной черты, обнимая взором возрожденную из пепла землю, мирную планету.

По Украине вновь пройдет волшебной славы бандурист.
В долинах Крыма виноград, как солнце, станет золотист...
...Грузинка на заре споет о счастье жизни молодой,
Кубань расстелет, разольет моря пшеницы золотой,
А вдалеке степной старик с лукавой мудростью в глазах
Накосит тысячи стогов колхозник Азии, казах...

Взор поэта устремляется еще дальше, за десятилетия, когда «в музеях пики и штыки задремлют, крови не ища, и башни танковой модель, и первобытная праща...», «в иных доспехах человек направится в меджлис планет»... Сквозь гул канонад и грохот разрывов поэт словно угадывал и слышал знаменитое гагаринское: «Поехали!»

Все годы войны Сamed Вургун жил и дышал священным патристическим порывом сражающегося народа, как боец в горячке боя, не замечая наносимых подчас ран и вероломных ударов в спину. Но боль давала о себе знать. Боль живого, ранимого сердца...

Вступивший в свое сорокалетие, он выглядел намного старше своих лет. Черную копну волос и усы густо посеребрила проседь. Резче обозначились морщины на смуглом лице, особенно две крутые складки у углов рта. В 1944 г. на одной из встреч в Гяндже к нему подошла молодая женщина — некогда его ученица — и не смогла сдержать изумленно-сочувственного восклицания: «Поэт, как рано постарел?..» Эти слова, печаль, сквозившая в них, всколыхнули

душу, задела в ней ранимую струнку... И — проросли удивительными, пронзительно волнующими строками... Через несколько лет он вернулся к ним, и стихотворение обрело окончательный вид. В 1956 г. Константин Симонов с бережной любовью воссоздал стихи друга, утасающего, прикованного к постели, на русском языке.

Поэт, как рано постарел ты...
Ты, говорят, счастливый самый,
Хотя всю жизнь ты горем сыт,
Как снег в горах, оно висит
Над головой твоей упрямой...
И скольких бы других ни грел ты,
Ни влек бы к сердца очагу.
Вся голова твоя в снегу!
Поэт, как рано постарел ты...

...В конце марта 1945 г. поэта Самеда Вургуня избирают действительным членом новообразованной Академии наук республики в числе пятнадцати выдающихся деятелей науки и культуры. Среди них — основоположник национальной профессиональной музыки Узеир Гаджибеков, писатель и литературовед Мирза Ибрагимов, профессора медицины Мустафа Топчибашев, Миркасим Миркасимов (избранный президентом), философ Гейдар Гусейнов.

А 28 Апреля республика отмечала четверть века своей «советской» истории. В Баку съезжались посланцы других республик. Праздничное воодушевление было особенным — все жили ожиданием близкой Победы.

Среди гостей была и делегация Южного Азербайджана — встретились сонародники, братья, товарищи по перу, знавшие друг друга заочно, по книгам, по голосам, перелетавшим через Аракс на радиоволнах. В силу ухуждения советско-иранских отношений при режиме Реза-шаха Пехлеви живые контакты с Югом, можно сказать, были сведены на нет. Река Аракс стала своего рода «великой китайской стеной» между людьми, едиными по языку, по крови. Поэт в стихотворении «Тебризской красавице», с болью говоривший о разобщенных братьях и сестрах, не терял надежды на встречу. После вступления объединенных союзнических сил СССР, США и Англии в Иран возникла новая политическая ситуация, благоприятствовавшая развитию национально-освободительного движения. Границы были открыты.

Встреча с друзьями из-за Аракса вылилась в праздник. Из воспоминаний народного поэта Азербайджана Балаша Азероглы, в ту пору молодого посланца из города Ардебиль, мы узнаем, сколь сердечно и восторженно принимал

гостей Самед Вургун — «как если бы был с нами знаком целый век».

..9 мая 1945 года Баку ликовал вместе со всей страной. Объятия, поцелуи, слезы. Толпы людей с песнями, музыкой устремились на центральную площадь. Звучала гармонь, гулко отбивали ритмы нагара... В вечернем небе расцвели гирлянды салюта...

В старой гостинице «Интурист» состоялся банкет в честь гостей. Звучат здравицы в честь советского народа, его победоносной армии. Известный иранский поэт Бахар берет слово и, завершив здравицу экспромтом-двустийшем (бейтом) на фарси, просит перевести его на азербайджанский язык видного революционера и литератора Южного Азербайджана Сенд Джафара Пишавари. В бейте говорилось, что советские люди в этой войне одной стрелой поразили две мишени: победили врагов, напавших на их страну, и этой победой избавили от ига многие европейские народы.

Выслушав перевод, гости обратили взоры к Самеду Вургуну, ожидая от него ответного экспромта. Самед помедлил, собираясь с мыслями, затем раскрыл коробку «Казбека», что-то написал на ней карандашом, вскинул голову и с улыбкой взглянул на Пишавари, и попросил перевести на фарсидский двустийше. Смысл его был таким: «Советские люди явили на войне перед миром два великих качества — героизм и человеколюбие. Это было не «поражением двух мишеней одной стрелой», а их духовным достоинством».

Слова Самеда вызвали гром рукоплесканий. А иранский поэт, встав с места, устремился к Самеду и по-братски обнял его.

«ПОБЕДИТ ЛИ РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ?»

Несмотря на неудачу с пьесой «Ормузд и Ахриман», поэт не покидала мысль о широком осмыслении темы противоборства добра и зла. В трагедии «Человек» он на ином, современном материале развил идею, положенную в основу «Ормузда и Ахримана».

Нельзя не удивиться энергии и размаху его замысла, который он осуществил в напряженнейшую пору в жизни страны и мира, по горячим следам переживаемых событий, в тревожном вихре дел и забот... Но, может быть, это все в совокупности и подклестнуло его, воспламенило творческое самолюбие, утвердило в стремлении доказать право на свое, неординарное понимание и поэтическое осмысление эпохи... И быть может, этот неукротимый запал, это жела-

ние успеть выразиться как можно быстрее, обусловили уязвимые точки его нового создания...

Противоборство добра и зла, борьба сил разрушения и сил созидания, война и мир, могущество и возможности человеческого разума, познание и совершенствование жизни — вот спектр проблем философской романтической трагедии «Человек». В азербайджанской литературе эта тема имела такой яркий прецедент, как трагедия «Дьявол» Гусейна Джавида — отзвук событий Первой мировой войны.

Чтобы понять принципиальное отличие вургуновской концепции от художественной интерпретации его предшественником Джавидом «вечных вопросов», приводим заключительный саркастический монолог Дьявола из одноименной трагедии Джавида, здесь социальное зло предстает фатальной, безнаказанной стихией.

ДЬЯВОЛ

(разражаясь хохотом, то насмешливо-надменным, то неистово-злобещим)

...В чертогах, лачугах, руинах являюсь я, Дьявол!
В Каабах, трактирах, кумирнях являюсь я, Дьявол!
Всяк, внемяи моим наущеньям, меня ж презирает.
Всяк раб мой покорный, тягаться со мною дерзает:
Возмечт убогий, кланяющийся, не старайся!
Пока ты во власти ничтожной и низменной страсти,
Тебе в моих лапах терзаться и корчиться, знай же,
И быть попираемым, чакнуть и дохнуть тышаще.
И есть кому править без дьявола вашей оравой,
У вас короли, исходящие злобой кровавой,
И шахи, хаганы, тираны побольше, поменьше,
Зрочки вожделеющих злата и женщин,
Политики — лисы, плетущие всякие козни,
Служители культа, заиницики распри и розни,
Уж их-то довольно, чтоб вас перергизать подневольно,
Чтоб вас перемучить и со свету сжить — их довольно...
Я вас покидаю — и медлить не стану!
Из нетей явился, и в нетях я кану...

Всем пафосом своего трагического полотна Гусейн Джавид как художник-гуманист восстает против порабощения и насилия. Но где силы, могущие противостоять злу?

Кредо драматурга совпадает с мыслью Достоевского — «Красота спасет мир». У Джавида, в сущности, та же идея: «По-моему, есть две силы, призванные спасти мир... это — красота и любовь...». Джавидовский Пророк, в отличие от исторического исламского вероучителя, проповедует вселенскую любовь, он видит счастье в идее братского единения людей. Пророк жаждет такого мира, где бы торжествовала

любовь, где бы дух воспарил и возвышался, а дьявол был бы обречен на скорбь и плач. Каким образом, какими реальными средствами возможно спасение? Где поборники «красоты, которая спасет мир»?

Если пьеса Джавида «Дьявол» завершается картиной смятения и растерянности героев перед разрушительной, слепой, «дьявольской» силой, то у Самеда Вургун, повествующего о позднейшей исторической реальности, пьеса начинается с сомнения и смятения героя, потрясенного массовой гибелью и истреблением людей в годы Второй мировой войны. Мучительные раздумья о тернистых путях человеческой цивилизации приведут его к убеждению в конечном торжестве разума, справедливости.

Стремясь художественно воплотить борьбу двух миров, двух идеологий — социализма и фашизма, проявление извечного конфликта добра и зла в XX веке, Самед Вургун обращается к различным литературно-философским источникам; неслучайно в произведении встречаются имена Зороастра (Заратустры), Гете, Ницше, упоминаются Ормузд, Ахриман, Фауст, Мефистофель...

Задача предстояла архисложная — найти художественно-конкретное преломление борьбы идей в образах-антиподах, наделенных плотью и кровью, раскрыть их духовное существо в динамике поступков, в экстремальных, как бы мы сейчас сказали, ситуациях, которые бы одновременно передавали правду войны. Иначе неизбежен был бы риск сбиться на публицистику, на умозрительную дискуссию.

Самед Вургун, приверженный к романтической поэтике, к образам-метафорам, поляризует противостоящие силы в двух главных персонажах — советском ученом Шахбазе и нацистском министре пропаганды Альберте фон Хольте.

Но прежде чем они столкнутся в кульминационной сцене, нам предстанут перипетии трагичной судьбы Шахбаза.

Мы застаем тридцатилетнего Шахбаза в кризисных, мучительных раздумьях, вызванных удручающим ходом разразившейся войны и временным (это сейчас легко назвать: «временным») превосходством противника. Эти сомнения оставляют нерешенным главный вопрос создаваемого им философского труда:

...Орудья, самолеты — все в движенье.
И алой кровью захлестнулась твердь.
Все это явь... не зрелище на сцене...
Быть может, жизнь обречена на смерть?
Беда несется бешено в седле.
О, победит ли разум на земле?..

...Бой. Шахбаз ранен. Гитлеровцы захватывают Шахбаз в плен. Пленников привозят в оккупированный Киев, куда прибыл нацистский министр пропаганды Альберт фон Хольте, озабоченный падением боевого духа в немецких войсках. Рейхс-министр интересуется, не удалось ли кому-нибудь из военнопленных «перетянуть на нашу сторону?»

— Есть, — отвечают ему. — Но бестолочь..., безликие...

— А из ученых?

Ему сообщают, что среди военнопленных — кавказец, ученый из Азербайджана.

И вот они стоят лицом к лицу. Министр, в голосе которого сквозят геббельсовские нотки, предполагавший возможность розни между кавказскими народами и русскими, удивлен и обескуражен. Сплоченность народов страны, в которую они пришли захватчиками, выше его понимания.

«Просвещенный» палач пытается убедить своего «собеседника» в истинности нацистской доктрины, культа силы, при этом он ссылается на свои наукообразные упражнения, а они не что иное, как перелыки нацистской теории. Видя решительное неприятие, он спрашивает, кого же из великих немцев Шахбаз чтит. Шахбаз называет автора «Фауста», замечая, что не может примириться с торжеством Мефистофеля. Нацист насмешливо парирует:

— ...А как у вас... Ормузд и Ахриман?

Шахбаз отстаивает оптимистический и гуманный пафос зороастризма:

Ормузд — вешатель вековых тайн.
Хотя добро и зло сплелись в клубок,
Но человек убьет в себе порок.
Хоть свет Ахриман повсюду мрак,
Любовь Ормузда светится в сердцах.

Фон Хольте вопрошает:

— И ныне бьются Ахриман с Ормуздом? — и получает утвердительный и прозрачный ответ. Ахриман — это бесноватый фюрер.

Нацист раздражен, разгневан дерзкой прямоот «красного оппонента». Но очень уж заманчива мысль сломить большевистского строптивца и заполучить его в качестве живого винтика пропагандистской машины... Он не может не ощущать остроты мысли и эрудиции ученого. Тем дороже «добыча». Фон Хольте ставит условие, служение рейху или смерть. Шахбаз, зная свой выбор, умышленно просит времени подумать и, вернувшись в камеру, успевает записать последние строки в свое заветное творенье: «Я умираю... Не окончен труд. Мой сын или внук допишет, доведут...»

Незавершенность труда ученого — метафора, символ. Само время, грядущее должно ответить на вопрос: «Победит ли разум на земле?»

Труд упрятан в стене. Шахбаз отказывается от предложения фон Хольте. И разделяет участь военнопленных, заживо сожженных в темнице. Пройдет время, и освободители обнаружат труд ученого в кладке обугленной стены.

Трагическое действие композиционно обрамляется событиями, последовавшими 30 лет спустя после войны. Тогда это было небыликим будущим. Для нас, людей девяностых — это недавнее прошлое... Так стремительно бежит время. Каким же виделось наше будущее поэту и его героям? Мы видим «Город братства», где некогда сражался и попал в плен герой трагедии и куда теперь съехались гости со всех концов света, чтобы почтить память павших у братской могилы. Там высится статуя Шахбаза, творенье рук его русского фронтового побратима. Звучит «Песня разлуки», автором которой являлась жена Шахбаза — Сехер. Здесь знакомятся дочь и сын фронтовых друзей — Таня и Шахбаз-младший. В последней картине мы их увидим в Баку, невестой и женихом. Шахбаз довершает труд своего отца.

Так победит ли разум на земле?
Оциром моим завещанный вопрос
Решился...

ЗЕРКАЛО И НАЖДАК

Премьера спектакля состоялась 7 ноября, в год Победы. Критика реагировала активно — появились рецензии Мамеда Арифа, Г. Оруджали, Ахмеда Джамиля, Мамеда Джафара, Мехти Гусейна, Азиза Шарифа. Автор услышал и одобрение, и претензии, и хвалу, и... хулу...

Одни расценивали пьесу как значительный успех. Другие сочли пьесу абстрактной, умозрительной. Копья ломались вокруг главного героя. Оппоненты обвиняли его в анахронизме предмета философских изысканий, в стремлении решать уже решенные проблемы и даже в «отходе от марксизма». Другие же приветствовали желание Вургуната придать герою современное... «фаустовское» звучание, вознести его на высоту прометейского самоотвержения.

Пьеса вскоре была снята с репертуара. Дело объяснялось не только отношением литературной критики. Спектакль, действительно, не удался. Публика, валом валившая на «Вагифа», «Фархада и Ширини», оказалась не в состоянии принять это сценическое создание. Постановка не смогла нисколько признание массового зрителя. В режиссуре

были допущены серьезные просчеты. «Зря режиссеры, — писала пресса в те дни, — всевозмозже пытались придать некий символический смысл, некий оттенок метерлиновской драмы постановке «Человека», являющегося, в основном, реалистическим произведением. Их ввело в заблуждение название произведения. Потому были упущены из виду простейшие внешние атрибуты, требуемые реализмом, — возрастные особенности, костюмы, грим и другие признаки...»

Любое значительное, неординарное произведение вызывает споры. Но Мехти Гусейн, резко критиковавший пьесу, оговаривался: «...после долгих размышлений и... диалогов со своей совестью я прихожу к заключению, что зеркало в вургуновском чертоге нуждается в чистой тряпичке... эта тряпичка должна быть бархатно мягкой, а человек, желающий протереть ею зеркало, вместо ласки безупречным. Берегитесь грубых рук! Ибо они вместо того, чтобы очистить пятна с этого драгоценного кристалла, могут разбить его...»

Это предостережение было не напрасным. В начале сорок шестого года иные «доброхоты» по-своему воспользовались спорами вокруг «Человека». Нашлись грубые руки, вооружившиеся не «бархатным лоскутком», а наждачной бумагой...

Самед Вургун не может скрыть недоумения и горечи по прочтении письма некоего Прокофьева, адресованного в ЦК... Как можно так, одним махом перечеркивать пьесу? К тому же, когда успел сей критик ознакомиться с пьесой, не переведенной на русский язык? Не оставалось сомнения, что письмо было организовано. Автор письма предьявлял прокурорские обвинения: дескать, общество будущего воспроизведено идиллически; герой пьесы Шахбаз — идеалист, философия зороастризма, противопобства добра и зла (Ормузда и Ахримана) устарела для современной эпохи; автор ратует за пацифизм и т. п.

Печальный опыт недавнего прошлого показывал, чем оборачивались подчас подобные инвективы, они могли приобести политическую окраску...

Надо было защищаться. Именно так можно расценить письмо поэта «товарищу М. Дж. Багирову» от 24 апреля 1946 года. На десяти машинописных страницах. Нельзя не отдать должное логике и твердости, с которой автор отстаивает свою творческую позицию. Обратим внимание на некоторые его аргументы.

«Тов. Прокофьев обвиняет меня в утопическом описании будущего, то есть коммунистического общества, и потому он сроднил меня с Томасом Мором...

...Уважаемый рецензент должен понимать, что... мой

слова, выраженные в поэзии, не являются научным трактатом о коммунизме, а являются поэтическим осмыслением этой именно романтической и возвышенной действительности... Больше того, поэзия ничего общего не имеет с бухгалтерским расчетом холодного рассудка. Вот почему нельзя требовать от писателя статистической точности...»

Касаясь ключевого образа, Самед Вургун подчеркивает, что «не преследовал цель создать в лице Шахбаза законченного марксиста, каким не является ни автор данной пьесы, ни уважаемый рецензент», «образ... не дает ему (Прокофьеву—авт.) никакого основания так огульно объявлять его беспомощным идеалистом...»

Доводы в защиту главного героя проливают свет на подробности творческого замысла. Автор смело настаивает на неоднозначности ищущей натуры своего героя и это во времена, когда по тиражированным страницам широко шагал литературный праведник с партбилетом или без, не знающий сомнений и колебаний, во времена, когда всякое честное инакомыслие в науке и искусстве каралось как ересь и крамола. Напомним: уже было обнародовано постановление о журналах «Звезда», «Ленинград» и не так долго оставалось до печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ, учинившей разгром отечественной генетики...

Представим одного из погромщиков республиканского масштаба, читающего строки:

«...мы видим у Шахбаза внутреннюю борьбу между его материалистическим мировоззрением и остатками идеализма в его сознании. («Ага! — усмехается высокопоставленный адресат. — Сам же признался»). Это путь реализма в литературе... («Ничего себе путь — «с остатками идеализма»...), ибо каждый человек, будь он философом или рядовым, развивается в обществе не только в борьбе с внешними противоречиями, но и в борьбе с собственными... («Интеллигентское самокопание!») в психологии, нравах, даже идеологии и мировоззрении...» («Договорился». — Как всегда в минуты раздражения и гнева, грозный «судья» снимает и протирает очки... У него портится настроение. «Но, посмотрим, что же он пишет дальше...»

«...Если бы я показал образ Шахбаза со всеми его внутренними качествами в чисто законченном виде, закрыл бы глаза на его собственные пороки... присущие каждому живому человеку, полученные бы не образ живого человека, а какая-то догма... вулгаризованный материалист...»

В заключение своего письма к Багирову С. Вургун признавал: «...Мой творческий путь — это путь больших романтических обобщений нашей реальной действительности,

что наталкивает меня на творческий риск, в котором возможны и существенные творческие ошибки...»

Но для «хозяина» все эти признания были ни к чему. Участь пьесы была уже решена. «Хозяин», видимо, был движим отнюдь не интересом к творческой лаборатории художника. Ему попросту хотелось пострадать, чтобы непавадно было в будущем тащить на сцену и в литературу героя с «остатками идеализма» и «внутренней борьбой». Борьбу должествовало вести только и только с идеологическим врагом.

«Человек» увидит огни рампы уже после смерти своего создателя, возрожденный постановкой Мехти Мамедова.

«Наждак» обезобразил «зеркало».

...Три замысла художника остались не воплощенными до конца — «Ормузд и Ахриман», «Дастан Баку», «Человек». Довести эту пьесу до безупречной художественной полноты — отбили охоту... И кто знает, сколько еще творческих зерен не проросли в сердце художника и были загублены ледяным недреманным оком «судьи», который сам оказался на скамье подсудимых в достопамятном пятьдесят шестом году?..

ЧАСТЬ

IV

СЛАВА И ГОРЬКАЯ ПРАВДА

«ЕЩЕ ЗЕМЛЯ РОДНАЯ В РАНАХ...»

Вернемся на год назад, в 1945-й.

Минули первый день мира и первая мирная ночь...

На другой день азербайджанские писатели держали путь на Москву.

— Самед, не надоело тебе созерцать солончаки?

Поэт обернулся и, заглянув в раскрытую дверь купе, увидел улыбающееся лицо крупного, богатырского сложения Сулеймана Рагимова. В купе было весело и шумно. Весна! Победа! Друзья хотели оторвать мечтательного собрата по перу от окна, за которым кружилась завесневшая, ожившая земля. Но не тут-то было. Вургун жадно впитывал все то, что открывалось ему за окном вагона. Чем дальше на север, тем зримее были незарубцевавшиеся раны. Среди зеленого победительного великолепия проросшей природы бросались в глаза покореженные машины — стальные, железные останки войны, затравевшие воронки, окопы, траншеи, обугленные руины... В памяти всплыли строки:

Еще ржавеют пятна крови на травах, тянущихся ввысь,
Еще земля родная в ранах... Еще родимая в рубцах.
И вьется алый стяг победный, которому мы поклонились,
В зажженных жаждою возмездья неугасающих сердцах!..

Быть может, там, в дорожных раздумьях, он утверждался в мысли, которую высказал на первом послевоенном писательском пленуме, — о необходимости воссоздать образ Победы как духовного и морального триумфа советского общества, языком высокой поэзии в философии масштабных произведений. Именно в русле этой задачи шла его работа над драмой «Человек» и «Дастаном Баку»...

...Пленум начался 15 мая. Целью его было подвести пока что предварительные итоги работы литературы в период только что окончившейся войны и определить ее ближайшие задачи. Выступали Н. С. Тихонов, А. А. Сурков, Н. Погодин и другие.

Слово писателей сослужило в годы войны действительно боевую службу. Стихи, статьи, рассказы, песни прошли по фронтовым дорогам вместе со сражающимися советскими солдатами, но на пленуме в оценках сделанного возникли и расхождения, были и споры. Слишком многомерен, многозначен, необычен был еще не отстоявшийся опыт... Самеда Вургунга, например, не устраивало перечисление образцов поэзии национальных республик в докладе А. Суркова, он считал необходимым творческий разговор об этих произведениях, чтобы русский и европейский читатель лучше узнал эту поэзию, постиг дух создавшего ее народа в прошлом и настоящем. С присущей ему горячностью предъявил он претензии и к докладчику по драматургии, обобщившему национальную сценическую литературу: «...Если мы действительно любим друг друга и питаем уважение друг к другу как братья, как друзья, то мы должны любить друг друга и жить во взаимном уважении, исходя из творчества друг друга».

Эта встреча с Москвой была особенно отрадной: война — позади! Двери домов Н. Тихонова, А. Фадеева, П. Антокольского и других товарищей по перу были всегда открыты для их азербайджанского друга. Но Самед предпочитал звать москвичей к себе, в «Москву». Здесь они не раз сживались за дружеским импровизированным застольем. «Он умел восхищаться, заражать своей жизнерадостностью, своими чувствами всех окружающих его людей», — свидетельствовал близко знавший поэта его таджикский друг — Мирзо Турсунзаде. От Самеды исходило природное, естественное обаяние. Это не было розовым прекраснотушением, расчетливым умением производить приятное впечатление. Это была привлекательность прямодушного, открытого характера, чуждого вежливой лести и дипломатических недомолвок. Николай Семенович Тихонов имел в виду эти черты его мужественной природы, проводя образное и несколько «экзотическое» сопоставление:

«Однажды мы охотились в Ферганской долине, где переливались голоса птиц и зверей. Внезапно издали послышался рев. Сразу птицы разлетелись в гнезда, прервался голос других зверей. Один из товарищей, увидев мое удивление, сказал: «Этот рев — рев тигра. Все звери услышали его, разбежались, и в долине наступил покой и тишина... Самед — тигр нашей поэзии».

Когда он приезжает в Москву, в нашей литературной среде наступает затишье. Все говорят: «Приехал тигр советской поэзии»...

В тот первый послевоенный приезд в Москву Самед

Вургун утрясает и свои личные, творческие дела: переводы стихов, издание книги, постановка пьесы. Аделина Адалис переводила еще незавершенный «Дастан Баку». Ее участие в приобщении русского читателя к поэзии Самеды Вургунга было особенно шедрым и плодотворным. Послушаем ее: «Переводить его стихи, даже наименее удачные, всегда было радостно потому, что он был в своем творческом таланте неизмеримо щедр и столь же придирчив. Ему ничего не стоило дарить переводчикам блестящие выдумки для их собственных стихов... Но из-за формальной путаницы или из-за ничтожной неточности он мог поссориться не на шутку, — тут же принимая все-таки любой совет, родственник ему «по душе». Это были искренность, одаренность, вдохновение в самом процессе товарищеской работы. Он умел быть благодарным и беспощадным... Я перевела очень много его стихов, перевела много стихов других поэтов. Но не помню такого празднества совместного труда, такого пиршества тяжелой товарищеской работы в обществе самедовых стихов, шуток и бесед...». Можно представить по этому достоверному свидетельству и характер сотворчества нашего поэта с Владимиром Луговским, Павлом Антокольским, Маргаритой Алигер, Константином Симоновым, частных к русскому перевоплощению его своеобразной музыки...

...От гостиницы «Москва» до театра Станиславского и Немировича-Данченко — несколько минут ходьбы. Там шли репетиции «Фархада и Ширин». Там, на Пушкинской улице, оживали герои Низами и Вургунга. Легендарный витязь крушил скалы и побеждал тирана, но погибал сам... не желая пережить любимую... А седой мудрец под занавес произносил слова, непременно вызывавшие волнение сидящих в зале зрителей: «Клянись, народ! Жестоко покарай тех развращенных, тех несправедливых, кто зло принес в благословенный край!»

Из седой старины тянулась живая нить в современность. И голос мудреца, взывавшего к возмездию, невольно будил ассоциацию с гордыми словами вонгеля и заступника Руси, павшего чуть позже Низами: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Драматург был доволен молодым режиссером Мальковским. Чтобы воссоздать мир Низами и Вургунга на московской сцене, он побывал на родине «гянджинского мудреца» и в Баку, смотрел пьесу в постановке А. Искендерова. «Кто хочет постичь поэта — должен отправиться в его страну», — эта заповедь Гете бесполезна и для режиссеров.

Дороги приведут поэта в Москву в августе, когда Советский Союз объявит войну Японии. На антифашистском

митинге Самед Вургун вспомнит своего знаменитого земляка, генерала старой русской армии Алиагу Шихлинского — одного из героев Порт-Артурской эпопеи, дожившего до дней Сталинградской битвы...»

По возвращении в Баку С. Вургун включается в работу по подготовке пленума писателей республики, который намечен на 11 июля, пишет к пленуму доклад: «Предстоящие задачи азербайджанской литературы». Это — преломление московского литературного разговора и наметок. Поэт разбивает мысль о необходимости эпического, монументального замаха, романтических воплощений. «Давайте создадим «Искендернаме», «Илиаду» нашего века! Разве нам не под силу? Я убежден, что долгий труд, великая творческая страсть способны свершить все!»

Его также очень занимает проблема романтического и идеального героя. Эта настойчиво декларируемая им концепция была глубоко и органично связана с природой его таланта, с его духовным существом и характером. Личность крупная, недожизненная, одухотворенная, он терпеть не мог бескрылого бытовизма, приземленности и мелкотравчатости. Даже в обыденных разговорах ему претило пошлое копание в прозе жизни. Не зря Фадеев в разговоре о романтическом воплощении, упорно отстаиваемом его другом, сказал: «Конечно, ты имеешь право на свой высокий подход, на большой масштаб. Ты и сам такой характер, что годишься в пьесу высокой поэзии».

Самед Вургун как художник видел и не мог не видеть и светлые, и теневые стороны жизни, ее диалектику, ее радости и ее трагизм, но был верен жизнеутверждающему возвышающему началу. Вместе с тем абсолютизация романтического подхода и преломления жизни, за которые столь убежденно и горячо он ратовал, была бы неверна и сузила бы горизонты многообразного творческого процесса. Способ и ключ воплощения каждый раз решается характером жизненного материала и индивидуальной природой художника. Более того, сейчас, с дистанции времени, в соответствии с нашим сегодняшним знанием о реальностях жизни тех лет, установка на романтическую трактовку, на поиск идеального и положительного героя, за которым, как водится последнее, решающее слово — эта установка так или иначе, вольно или невольно выглядит противовесом, склоняющим чашу весов не в пользу критического начала, в котором общество, духовное бытие нуждалось куда больше...

Так или иначе, вопросы, затронутые в докладе С. Вургун на пленуме, были острые и вызвали споры. Остановимся только на одном их аспекте. Ряд ораторов в при-

зыве к философскому размаху и обобщению усмотрел опасность абстрактности. М. Рзакулизаде, обращаясь к С. Вургу, которого считал «лучшим представителем и, можно сказать без преувеличения, знаменосцем нашей поэзии», говорил, что создание философского произведения не может быть самоцелью для писателя, философичность должна проникать из природы жизненного материала, жизненных подробностей, характеров... Конечно, подобным возражением нельзя отказать в резонансе.

СОЮЗ МУЗ

Твое искусство — воплощение одушевленной красоты, Навек восславлены Отчизны его высокие плоды, И струнами волшебной лиры струясь немолчно и звеня, Поэт стоюстою свирелью азербайджанская земля, И на устах красавиц милых обходит всеи песнь твою. И окрыляет мир любовью, и вдохновляет соловья, Когда бушует океаном душа твою, к волне волна, Я ощущаю вещей отзвук священных чашаний сполна. Поющий жизнь, — и да пребудет твою высокая любовь! И да пребудут дар и мия из века в век и вновь, и вновь!

Эти строки из посвящения великому композитору Азербайджана Узеиру Гаджибекову, которым поэт завершил свой доклад на чествовании шестидесятилетнего юбиляра. Мы не оговорились: именно ему было доверено прочесть доклад на сентябрьском торжестве. Обычно подобную миссию возлагают на компетентного коллегу. А тут — председатель писательского союза (Самед Вургун в августе сменил на этом посту Сулеймана Рагимова, возглавившего Комитет культурпросвещения) держит «музыкаведческую» речь... Это было вдохновенное поэтическое слово о всенародно любимом и всеосознано признанном Мастере, аксакале национальной культуры, «отце азербайджанской музыки». Мы ведь помним об ашугской песенной стихии, которой сымала дышал Самед, помним о его музыкальных способностях, обнаружившихся в семинарские годы, вселявших надежды на композиторское будущее... Как слушатель, он был страстным поклонником музыки Узеира. Как художник, он видел в великом композиторе прекрасный пример духовной преемственности развития национальных традиций, пример творца, заново представившего народу и миру многовековую азербайджанскую музыку на профессиональном и симфоническом языке XX в. Он призывает в свидетели Аристотеля, говоря о существовании богатой музыкальной культуры у наших пращуров. Магическую силу и очарование творений Узеира — опер «Лейли и Меджнун» и «Кероглы», его оперетт, романсов и многих других — он

видит именно в их творческом сообщении с народным гением. В своем взволнованном слове Самед Вургун с благодарностью говорил и о гражданском подвижничестве композитора. В тридцатые годы, когда под влиянием пролеткультовского нигилизма раздавались воинственные призывы: «Долой тар!», «Долой Физули!» (вспомним: «Сбросим Пушкина с парохода современности!»), композитор создал первый на Востоке нотный оркестр национальных инструментов, «вооружил» его симфоническим репертуаром, ввел тар, кяманчу, балабан, зурну — инструменты сугубо «несимфонические» — в темперированный строй, вдохнул новую жизнь в народную музыку, в частности, старинный боевой танец «Джанги»... — все это в ряду его выдающихся заслуг. В слове Вургун привлекает и завидная музыкальная грамотность, культура. Он, умеющий играть на сазе, таре, скрипке, гармонии, фортепиано, не чуждый и певческих склонностей, при случае храбро вступавшего в полемику с музыкантами, не был случайным «докладчиком на тему». Не зря композиторы в своей среде именovali его Узеиром азербайджанской советской поэзии. «Он знает азербайджанские мугамы столь же совершенно, как профессиональный музыкант, — вспоминал композитор Афрасияб Бадалбейли. — Обладая совершенным слухом и тонким музыкальным вкусом, он очень верно определяет ценность любого музыкального произведения. Это я испытал еще в 1939 г., когда пьеса «Ханлар» впервые готовилась к постановке.

При репетиции нового куска из написанной мной к пьесе музыки Самед Вургун поверг в изумление дирижера и музыкантов, тотчас же уловив фальшь в игре оркестра — из-за мизерных ошибок, допущенных при переписке нот. Он же легко доказал мне не только действительное несоответствие одной из написанных мной песен характеру показываемого сценического действия, но и вообще ее слабость:

— По-моему, сочини ты ее не на ладе «шур», а на «сейгах», достиг бы большей удачи.

Он был совершенно прав.

В отношении Самеда Вургун к творцам родного искусства проявляется тот высокий взыскательный счет, который выражен пушкинским заветом: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво». В союзе муз, в сотворчестве с товарищами по искусству он прозревал обновляющиеся, расширяющиеся горизонты новой художественной культуры. Потому он с такой благоговейной, по-сыновьи почтительной любовью относился к Узеиру Гаджибекову — художнику-первостроителю, объедините-

лю творческих сил родной культуры. И эту любовь он щедро выразил в поэтических посвящениях. Последнее, печальное — исторглось из его сердца в ноябре 1948 г., когда не стало великого Узеира... Спусти три года после своего юбилея, когда он выглядел бодрым, полным жизни... Кто знает, как сложилась бы судьба композитора, если б не сенсационный успех оперы «Кероглы» в апреле 1937 г., чуть позднее удостоившейся в Москве похвалы самого «вождя народов», равносильной «охранной грамоте»...

Кто знает, насколько укоротили его век одергиванья и окрики местного «хозяина», тыкавшего ему прилюдно в глаза тем, что композитор имел неосторожность быть автором гимна мусаватского правительства?

Строки поэта, оплакивавшего Мастера, завершались на утешительной, преодолевающей боль утраты ноте:

Пусть не ликует смерть!.. Недаром прожил век,
Кто краем больше жизни дорожил родимым.
Пребудет память на земле о тех,
Кто жил любви, покинул жизнь — любимым...

«ОХОТОЙ УВЛЕКАЛСЯ ТЫ...»

В доме-музее поэта под стеклом хранятся двустовка и охотничья куртка. Он был заправским охотником, легким на подъем, неутомимым ходоком, храбрым в минуту опасности, метким и расторопным стрелком... Но охота была для него не самоцелью, а желанной отдушиной, счастливой возможностью общения с любимой природой, дарившей неповторимую радость встреч, узнаваний, пробуждавшей творческую энергию, подсказывавшей новые замыслы... Охотником был и его большой друг Александр Фадеев. В истории их дружбы осталась еще одна яркая страница, связанная с путешествием по республике в обществе Николая Тихонова, который, в отличие от первых двух, ни разу не брался за охотничье ружье. Но мы благодарны незабвенному Николаю Семеновичу, запечатлевшему эти дни в «Страницах воспоминаний».

«И вот сейчас, идя по лунным полянам, вдыхая железистый воздух предгорий, настоящий на осеннем лесном экстрате, я думал о том, что для таких людей, как Фадеев и Самед Вургун, жизнь без большого внутреннего общения с природой, глубокого и им одним понятного, невозможна, что никакие городские радости не заменят им вот такой сладостной осенней ночи с ее горькими запахами и тревожной тишиной».

Мы знаем замечательные образцы творчества писателей, странствовавших по природе с ружьем: Тургенев, Ар-

сеньев, Сетон-Томсон, Хемингуэй... Они поведали нам о сокровенном бытии природы, драматичных эпизодах, связанных с жизнью «братьев наших меньших», о людях и судьбах, узанных в таежной глухомани, африканской саванне или среднерусской равнине... В послевоенную пору, в последнее десятилетие, опущенное судьбой Самеду Вургуну, природа Азербайджана, как и вся природа страны, еще не понесла тех потерь, о которых мы знаем сегодня. Еще не поредели леса Гараязы, тугайные прикуринские рощи, еще водились в несметном количестве турachi и кеклики, джейраны на Мугани, косули в чащах Джанги... Еще не остались под рукотворным Мингечаурским морем живописные, полные дичи и зверья, Самухские леса. Еще плотины не пресекли путь бесценной каспийской рыбе и исконным пресноводным нерестищам... но не предчувствие ли грядущей экологической драмы подсказало поэту уже тогда, задолго до дружного хора современных публицистов, эти тревожные строки:

Будь добр, охотник! В эту степь — ни шагу.
Убийством не лить свой отвагу,
Вели не злу ей послужить, а благу!
Мне прямо в сердце поглядел джейран!

Сейчас-то мы хвятились: созданы заповедники, заказники, даже фазанья ферма затевается в республике, возрождаем, восстанавливаем порушенное, загубленное... Увы, есть раны неизлечимые, ошибки непоправимые.

Когда поэт тревожился за участь джейрана, это было сказано, смеем думать, не ради красного словца.

В наше время появилось выражение — «разумное природопользование», точно обозначающее сущность дела. В том числе и охоты. Охотничья страсть и бережное, рачительное отношение к природе не исключают друг друга. Самед Вургун был не только азартным охотником, но прежде всего гражданином, далеко не безразличным к участи родной природы. И его призы поощить джейрана, «красу Мугани», не был вызван риторическими сантиментами. Так же не был праздным вопрос Тихонова в памятную сентябрьскую поездку по Азербайджану — после юбилейных торжеств, посвященных 800-летию Низами Гянджеви. Посетив строительство Мингечаурской ГЭС в обществе Вургун и Фадеева, Николай Семенович поинтересовался у строителей, какова будет участь зверья в Самухских лесах, отведенных под затопление, и его заверили, что приняты меры, фауна переселяется. Мы не знаем, поверил ли проницательный гость в это заботливое поштучное переселение...

Но, повторяем, вылазки на природу были для поэта и отдушиной, отдохновением. Не только от кабинетных забот, «увязания в бумагах», не только избавлением от шумной городской суety. Литературные и директивные громы и молнии все еще давали о себе знать.

ПИСЬМО ИЗ-ЗА АРАКСА

Победоносная борьба СССР во Второй мировой войне дала мощный толчок национально-освободительному движению в восточной Европе, Югославии, Болгарии, Польше... Но только ли в Европе? Победа над гитлеровской Германией не прошла без воздействия и на Востоке.

21 числа месяца Азер — 12 декабря 1945 г. — народ Южного Азербайджана, изнывавший под двойным гнетом шовинистского пехлевийско-фарсидского режима и местных феодалов учредил в древнем Тебризе Национальный меджлис. К этому акту население, преимущественно пролетарское и крестьянское по составу, пришло сплоченное вокруг новосозданной (в сентябре) Азербайджанской демократической партии. Суверенное национальное правительство незамедлительно приступило к осуществлению мер, намеченных программой партии, созданию анджуманов (выборных органов власти по типу Советов), национализации земли, введению восьмичасового рабочего дня и преподавания на родном языке...

Демократическую партию и национальное правительство возглавлял Саид Джафар Пишавари — испытанный марксист, ведший революционную работу в Баку, позднее участвовавший в национально-освободительном движении под руководством Шейх Мохаммеда Хиябани (1920—1921), проводивший десять лет в шахских застенках.

Это была ослепительная и, увы, короткая весна возрождения. Азербайджанские дети по ту сторону Аракса учатся на родном языке. В Тебризе открыт университет. Воздвигаются монументы героическим борцам за свободу — Саттархану, Багирхану, Хиябани.

Тегеранская «метрополия», вступившая в сговор с империалистическими силами, стремилась задуть молодую революцию. Особую ярость вызывали у нее свершившийся факт суверенного Южного Азербайджана, национализация, земельная реформа и утверждение родного языка в правах.

Взоры освобожденного народа с надеждой устремлены на север, за Аракс...

В Тебризе создано «Общество друзей Советского Азербайджана». В октябре 1945 г. в Баку учреждается республика.

ликанское Общество культурных связей (АзОКС) с Ираном. Возглавил его Сamed Вургун. Задачи Общества определены председателем: «...ознакомить иранцев с культурными достижениями азербайджанского народа, а также довести до сведения широких трудящихся масс Азербайджанской ССР успехи Ирана в области науки и культуры».

Радиоволны несли за Аракс слово северных собратьев. Сопародники с Юга получили книги классиков родной литературы — Саиба Тебризи, Шаха Исмаила Хатаи, отпечатанные в Баку арабским алфавитом. На этом же алфавите выходил журнал «Азербайджан» — орган АзОКС, под редакторством известного поэта Расула Рзы — окно в мир родной культуры и истории.

Председатель АзОКА приложил немало усилий в строительстве этого духовного моста.

Самед Вургуну знали и любили и по ту сторону. Хотя разнища в алфавите была камнем преткновения в духовном общении советских и зарубежных сопародников, этот «камень» не мог стать непреодолимой стеной. В серии книг, выпущенных еще в начале сороковых в арабской транскрипции, одной из первых был сборник Вургуну — «Героический дастан». Позднее его стихи широко публиковались в тебризской азербайджанской печати.

Выражением любви к поэту явилось стихотворное послание за подписью десяти тебризских поэтов, написанное всего три дня спустя после создания национального правительства и опубликованное в декабре газетой «Вэтэн йолунда» («За Родину»).

Послание обложено в форму традиционной атрибутики восточной поэзии.

...Ты светоч лучезарный поэзии родной,
Сердцам, любви открытым, дарящий вдохновенье.

Ты плуце тысяч копий пером разил фашизм,
Повергнув зла исадые, зловещее виденье.

Вагифам и Сабиром воздвигши монумент,
Народ в тебе увидит достойное сравненье.

Восславивший героев сын родины, герой,
Все держат на героя отважного равненье.

Ты наш руководитель, поэзии уstad,
Прими любовь собратьев, почет и уваженье.

Ты милость окажи нам и посети Тебриз, —
Вчера единодушно мы приняли решение.

Мы как чета жемчужин от матери одной,
Едины словом, кровью, народом от рожденья.

Послание взволновало поэта, с тоской устремлявшего взор к Югу в «Тебризской красавице», мечтавшего создать «Дастан Тебриза» вслед за «Дастаном Баку», повторявшего слова великого предтечи Хагани: «Коль матеря нам — Ширван, отец для нас — Тебриз». Он написал ответ своим родным по крови собратьям:

Собратья! Приведут в Тебриз пути меня,
Душа Вургуну сазом — сазом нас приветит...

Но не судьба была свидеться ему с Тебризом. Дел невпворот. Все откладывал, все надеялся. Не ведал поэт, что и эта, вновь обретенная свобода, как две предыдущие революции, будет потоплена в крови, и музе его вновь придется оплакивать разлуку...

Счастье оказалось не вечным. Поэт обманулся.

10 февраля 1946 г. предстояли выборы в Верховный Совет республики. Предвыборная кампания прибавила забот. Поэт выдвинут кандидатом в депутаты от Кубинского избирательного округа.

После литературных дебатов, неприятностей со злоплучным «Человеком» встреча с избирателями в мединституте города Кубы была отрадой. Ведь здесь он учительствовал, здесь на склонах Шахдага, на берегу немолчного Гудиял-чая его молодое очарованное сердце истачало песни несложившейся любви... «О кравчий, к затишью вино приурочь, чтоб в тайне осталось безумное рвенье, есть горькая сладость в печальную ночь, есть бабочки в пламени саможженье...» Как быстро пролетели годы! Давно ли он отрезанно и неприкаянно бродил по горам, по долам, одержимый несбыточной мечтой? Давно ли исповедовал израненную любовь в безутешных, мятущихся строках? А ныне он всенародно признанный, любимый поэт, волосы которого густо убелила седина... Его бывшие школьные питомцы — ныне взрослые отцы и матери, рабочие, инженеры, труженики полей. Они будут голосовать за своего учителя. Он для них и поныне Сamed муаллим. Учитель Сamed.

Он обещает оправдать доверие избирателей.

Обещает оправдать их доверие и Мир Джафар Багиров, встреча которого с избирателями состоялась в русском драмтеатре в Баку... Грозный правитель, поблескивая стеклами очков, взирал в зрительный зал со сцены, еще не доиграв свою зловещую роль. «Слуга народа» преуспел в поисках «врагов народа». Вслушиваясь в интонацию дежурных речей и казенных дифирамбов, Багиров изредка косился на поэта, участника этой встречи, ревниво перехватывая восторженные взоры, обращенные к Вургуну. Поэт и тиран.

Они не раз выходили на эту сцену в образе Вагифа и Гаджара...

...Календарь пестрит событиями: литературный вечер, посвященный классику национальной поэзии, основателю Сефевидской державы Шаху Исмаилу Хатаи; сессия Верховного Совета СССР; открытие памятника Низами Гянджеви в Гяндже; постановка «Вагифа» в Бакинском армянском театре, в Русском драмтеатре, в городе Губе...

Не за горами — московская премьера «Фархада и Ширин», куда ему не удастся выбраться: заседательская суета, «текучка» заели.

В 1946 г. Самед Вургун написал сравнительно мало. Гражданин отнимал время у поэта. Вспоминается некрамовское: «Мне борьба мешала быть поэтом, песня мне мешала быть борцом».

Конечно, он осознавал необходимость деятельного участия в общественной жизни. Но чрезмерно щедрая, расточительная трата сил на этом поприще не могли не отразиться на творчестве. Поэт и сам это чувствовал. Не случайно в насыщенные мероприятия, торжествами весенние дни 1946 г. из-под его пера родились отнюдь не веселые, глубоко раздумчивые строки «Одной забытой могилы» (в оригинале: «одинойкой»). В этом стихотворении возникает картина фантастическая, метафорическая. Поэту, иль как любят писать критики, лирическому герою, на кладбище предстает заброшенная, безымянная могила. Он вопрошает у старого зрителя — чья она?

И усмехнулся тот старик,
И мне ответил напрямик:
«Да сам ты будешь в ней зарыт.
И не помянут и не помят —
Того, кто много говорит,
А пишет мало, разве помят?»

(Перевод В. Кафарова).

Поэт поражен и подавлен ответом. Он рвется к творчеству в печальном осознании:

«Обманчив блеск прошедших дней,
Что в торжествах я пышных прожил...»

Думается, временная творческая пауза объяснялась и напряженной внутренней, духовной работой, критической самооценкой совершенного. К этому побуждал, несомненно, резонанс «Человека», «Дастана Баку», ряда философских стихов.

«ДУШНОЕ ЛЕТО»

14 августа 1946 г. было принято постановление о журналах «Ленинград» и «Звезда». На другой день на собрании партийного актива Ленинграда выступил с докладом А. А. Жданов. «Обвинения», предъявленные талантливому сатирику М. Зощенко и выдающейся поэтессе А. Ахматовой, общезвестны: «клевета на советских людей», «чуждое советской идеологии творчество»... Недостатка в клеймящих формулировках не было. Под лозунгом «Создадим высокоидейные произведения», живое многообразие творческих индивидуальностей, художественной мысли втискивалось в прокрустово ложе умозрительных постулатов. По сути, постановление было первым шагом в продуманной системе мер, призванных после войны упрочить созданный Сталиным авторитарный режим. Чуть позже затеется «Ленинградское дело». Великий город, героически, ценой неисчислимых жертв выстоявший в блокаду, потеряет сотни своих достойных сынов, партийных и государственных руководителей. Так уже было — в 1930-х годах...

Логическим продолжением происшедшего в Ленинграде было обсуждение на президиуме правления СП СССР М. Зощенко и А. Ахматовой были исключены из рядов Союза, Н. С. Тихонов — отстранен от должности председателя. Анафеме подверглись и другие писатели. «Микроб безыдейности» был «обнаружен» у многих. Поэзию Б. Пастернака уличали в «отрыве от политической жизни». В отдельных литературах углядели пробуждение «буржуазно-националистических тенденций». В резолюции обсуждения, вернее, осуждения угодили «Очерки по истории украинской литературы» Кирилюка, «ханско-феодальный» (!) башкирский эпос...

История доказала беспочвенность этих обвинений и преступное небрежение духовным достоянием народа. Сейчас нас занимает вопрос: как преломилась акция 1946 г. в атмосфере азербайджанской литературы?

На октябрьском пленуме писателей республики Самед Вургун выступил с докладом, содержащим критический обзор литературной панорамы. Критические претензии, в частности, предъявлялись к циклам сатирических рассказов С. Рагимова и М. Джалалы, комедии С. Рахмана «Дружки». Оратор не обошел и свое творчество, признавая, что допустил отвлеченность критериев в «Человеке». Эта самокритика, однако, не совсем вяжется с духом объяснительного письма М. Дж. Багирову, написанному четыре месяца назад, по сути, не изменившему отношения к пьесе в верхах.

Ведь в июле «хозяин» с трибуны республиканского совещания повторил претензии Прокофьева и иже с ним.

«...есть товарищи, которые, когда им говоришь о том, что нельзя же все время писать об истории, о прошлом, посмотрите, что делается вокруг вас, пишете о современной жизни, о настоящем. А когда напишут, то оказывается, что в их произведениях речь идет не о настоящем, а о том, что будет лет через сто, при этом пишут очень неудачно («Бакинский рабочий», 18 июля 1946 г.).

Думается, в душе оставшихся при своем мнении (что ковенно подтверждает и то, что он не вернулся к пьесе и не переработал ее с учетом претензий), Самед Вургун пригнул к «самокритике», дабы не дразнить чиновных гусей... Позднее, и газета «Коммунист» упрекалась в том, что руководством республики не организована критика таких произведений, как пьеса Самеда Вургун «Человек»... показывающая советских людей... в пустом, безжизненном, отвлеченном виде...» («Адабият газети», 16 октября). Громы и молнии обрушились и на редактора газеты Али Велиева.

По резкости выступлений (порой справедливых, а порой — неправедных) пленум напоминал приснопамятное писательское собрание летом 1937 г., после доклада М. Дж. Багирова. Чувствовалась «дирижерская палочка». Но, благо, обошлось без политических ярлыков, попыток очернительства. Горький опыт научил их, тогда молодых и запальчивых, а ныне бывалых и умудренных, чем чреватые неосторожные уколы и эпитеты... Речь больше шла об «устранимых творческих просчетах».

Писательская жизнь после этих событий напоминала море после шторма. Волны улеглись, но воды еще взбаламучены. Работа вошла в берега, но у всех еще, как говорится, на душе кошки скребли...

СВОБОДА НА КОСТРЕ...

«Душное лето» 1946 г. сменялось «ненастной осенью». За ней последовала роковая «зима тревоги нашей». По ту сторону Аракса разразились трагические события, потрясшие весь азербайджанский народ. После того, как советские войска в соответствии с условиями союзнического договора 1943 г. покинули пределы Ирана, революция была потоплена в крови.

При содействии Центрального тегеранского правительства во главе с Гавамус-Салтане Азербайджанское национальное правительство в Тебризе пало. За кровавой вакханалией последовало варварское уничтожение культурных оча-

гов и реликвий. Рушились памятники героям свободы. На кострах запалили книги на родном языке...

Жестокая расправа вызвала гнев и возмущение народа Советского Азербайджана, всех, кому были дороги интересы демократии и социальной справедливости. Волна митингов протеста прокатилась по заводам и промыслам, школам, вузам... Болью и возмущением дышало печатное и изустное слово Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Рустама, Османа Сарывелли, Гулама Мамедли и многих других.

В эти дни поднял свой гневный голос и Самед Вургун, обращаясь к палачам свободы: «Если даже вы будете возводить костры из книг на азербайджанском языке... не должно забывать, что горит лишь бумага... вы только еще больше разжигаете и распяляете ненависть и гнев... к вам, господам, в сердце азербайджанского народа...»

Пылали книги... Жгла их средневековая инквизиция... Жгли нацисты... Будут жечь — пиночетовские жандармы... Свобода пылала на костре. Жгли родную речь. Память. Святыню. Но оно, это же сожженное слово, отомстит поджигателям. Оно возродится из пепла и само обратится в испепеляющее проклятье.

Палач! На языке моем — гошма и баяты,
Тебе ли их понять душой бесчувственной своей?!
Любая песнь моя — дитя возвышенной мечты,
И в каждом герайлы* сердца бессонных матерей...
...Настанет день... Его шаг, я чувствую, близки...
И павших жертв восставший дух возьмет вас за грудки...
(«Сожженные книги»).

БОЛЬШЕВИК И ЛОРДЫ

В марте сорок седьмого представительная делегация советских парламентариев отправляется в Англию. В составе ее и Самед Вургун. Это его первое зарубежное странствие.

Над послевоенной Европой подул ветер «холодной войны». Уинстон Черчилль уже успел произнести печальную память фултонскую речь. А за океаном сменивший покойного Рузвельта на президентском посту Трумэн усиленно внедрял политику с позиции силы. Атомный гриб над Хиросимой и Нагасаки был ее зловещим прологом.

...Под иллюминатором плыли мирные облака, в просветах между которыми возрождались истерзанные города и веси.

Позже Константин Симонов, участник «английской по-

* Гошма, баяты, герайлы — формы народной поэзии.

ездки», запечатлел ее эпизод в «Речи моего друга Самеда Вургуна на торжественном обеде в Лондоне»:

Мой друг Самед Вургун, Баку
Покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так — большевику
Вдруг надо съездить к лордам,
Увидеть двухпалатную
Британскую систему
И выслушать бесплатно там
Сто пять речей на тему
О том, как в тысяча... бог память дай, в каком...
Здесь голову у короля срубили,
О том, как триста лет потом
Все о свободе принимали билли,
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы.
Свободными до умиления
И их самих, и населения...

По дороге — остановка в Берлине. Проснувшуюся в сердце ностальгию сменяет радость: на аэродроме их встречают соотечественники, советские воины.

Бывшая столица третьего рейха в руинах. Идет снег. Изрытые воронками автострады. Зияющие пустыми глазами здания. Изможденные лица, настороженные взоры... Стены рейхстага, испещренные ликующими надписями победителей. «И капитан воскликнул: «Вот рейхстаг!» И я увидел битый камень, щебень, куски колонн, проломы в ста местах. И купола раздавленного гребень...». Вургун думает о павших, о горькой и великой цене Победы, о бесславной участи завоевателей... Автографы на обугленных стенах... «Здесь вписаны и ваши имена, сыны Баку, сыны родного края. Пускай придут иные времена, ваш подвиг будет жить не умирая!»

Здесь, в Берлине, испытывая гордость за свою страну, выставшую и победившую, он размышляет об участи немецкого народа, переживающего горькое отрезвление после коричневой эйфории. Он вспоминает о доблестных сынах этого народа, противостоявших массовому психозу.

В «Человеке» он свел лицом к лицу советского философа и нацистского министра. В Берлине рождается иной философско-контрастный образ, очевидно, подсказанный живым наблюдением: «Немецкий камешник и советский офицер». Поэтически рассказывая об их чаяньях и мыслях, Вургун обнажает суть войны как национальной трагедии народов и говорит о долге перед будущим. Старый камешник опечален гнетущей мыслью о тщетности своих усилий перед лицом новой возможной беды. Ответ советского офицера однозначен и суров: «Все от тебя зависит... Ото всех

творящих возрождение Берлина. Коль род фашистский вытравить навек сумеете на родине... трагедия не повторится...»

В этой поездке Вургуна ждала большая радость: на берлинской сцене заговорил по-немецки его «Вагиф». Конечно, творческому коллективу было интересно и полезно выслушать мнение и советы автора. Примечательно еще и то, что немецкий режиссер привнес в образ Гаджара-побитителя штрихи, присущие фюреру...

И вот «туманный Альбион» пасмурный Лондон, увитый смогом. Советских гостей встречают с английской торжественностью, по всем правилам дипломатического этикета. Отель «Дорчестер», пунктуально расписанные программы, прием в парламенте, встречи, знакомство с достопримечательностями. Судоверфь, сталелитейный завод, киностудия «Пайнвурд», музеи.

В шотландской деревушке он переступает порог дома, где витает тень великого Роберта Бернса. И, созерцая неприглядное по-крестьянски убранство жилья, думает об истоках вдохновения, о народных корнях, питающих долговечное искусство. Мысленно он переносится к далекому прикуринскому приволью, в леса Гараязы. «Рано или поздно вернусь в село. Какое это великое счастье — дышать теплом земли, вдаль от шума городов, в родных краях, быть раскованным, как сама природа, жить на лоне неохватной глазом красоты, в гуще народа...» В эту минуту он, быть может, позавидовал Бернсу, прожившему не столь уж безбедную жизнь.

Советская делегация, возглавляемая Александром Фадеевым, встречается в Пен-клубе с литераторами Англии. Самеду Вургуну выпало на долю выступить с кратким обзором литератур народов СССР, по свидетельству К. Симонova, произведшим впечатление. На встрече с чинными хозяевами он, как говорится, за словом в карман не лез, его реплики и вопросы отличались прямотой, чуждой «дипломатических» околичностей.

К. Симонов вспоминал о поездке: «Самед Вургун... вел себя с присутствующим ему большим достоинством, а это было не по душе иным англичанам, встречавшимся с нами и взиравшим свысока на людей Востока. Таких собеседников Самед Вургун не однажды на моих глазах сажал на место».

Кульминацией подобного рода встреч явился банкет, устроенный в честь советской делегации английскими государственными руководителями. Обходя салоны и амфилады, устланные восточными коврами и блистающие благолепием, «гость с Востока» невольно задумался об истоках этой роскоши. «На мраморных полах — богатство мира,

ковры невыразимой красоты. Ковторкачи древнего Кашмира здесь огненные выткали цветы...

Там же на банкете Самед Вургун произнес свой отнюдь нелепый «спич», поэтически запечатленный в симоновском стихотворении.

...Когда же не хватило нам
Терпения двухильного,
Самеду на обеде там
Взять слово предложили мы:
«Скажи им пару слов, Самед!
Испорти им, чертям, обед!»

«...это тот, сравнительно несчастный в поэзии случай, когда для того, чтобы превратить рассказ о действительном событии в стихи, не понадобилось ничего придумывать. Все это было именно так, как написано в стихах. Были британские политики и чиновники, еще не хотевшие и не собиравшие отвыкать от своих колониальных привычек. Были попытки смотреть на нас свысока и задавать нам вопросы, обличавшие в наших собеседниках полное непонимание всего, что сделала с нашей страной Октябрьская революция. И был Самед — чувствовавший себя одновременно и представителем своего Азербайджана, и всего своего Советского Союза...». Заметим попутно, что в понимании того, что «сделала с нашей страной Октябрьская революция», со времени написания симоновских воспоминаний произошли кардинальные перемены. Учтем и то, что на настрое воспоминаний лежит печать традиционно советского взгляда на «буржуазный Запад».

Так говорил Самед, мой друг,
А я смотрел на лица их.
Сначала был на них испуг,
Безмолвный вопль: «В полицию!»
Потом пошли они густым
Румянцем, вздувшим жилы,
Как будто этой речью к ним
Горчичник приложило.
Им бы не слушать этот спич.
Им — палец бы к курку,
Им свой индийский взвить бы бич
Над этим — из Баку,
Плясать бы на его спине,
Хрустеть его костями,
А не сидеть здесь наравне
Со мной и с ним, с гостями...

Мы с облегчением думаем о том, что современный мир отошел от подобных крутых диалогов времен «холодной войны»... Но что было — то было...

Наш рассказ был бы неполным без позднейшего комментария автора процитированного стихотворения. Речь идет о завершающем стихи пассаже, несшим на себе печать тогдашнего укоренившегося отношения к «вождю народов»: «...не слыша, как сам Сталин молча во время речи встал за ним. Встал и стоит, и улыбается. Речь, очевидно, ему нравится». Спустя тридцать два года Константин Симонов, уже неизлечимо больной, успел продиктовать первую часть задуманной работы о Сталине «Глазами моего поколения», раскрывающей непростую, подчас мучительную эволюцию во взглядах на роль этой личности в истории страны. Там мы встретим такие строки: «Я очень любил свои стихи... «Речь моего друга Самеда Вургун на обеде в Лондоне». На мой взгляд, это были одни из лучших моих стихов, написанных за всю жизнь, но, зная уже о Сталине все, что я узнал после пятидесяти шестого года, я не мог прочесть вслух конец этих стихотворений, где Сталин вставал как символ и образец интернационализма. Этот конец противоречил сложившимся у меня к этому времени представлениям о Сталине, а поправлять стихотворение, точнее, отсекать его конец считал безразличным, и больше никогда его не печатал». («Знамя», № 3, 1988 г., стр. 46).

Мнение автора о безразличности отсекаемого этой концовки задним числом (как это позволило себе одно из местных издательств, опубликовав «Речь...» в усеченном виде), заставило нас призадуматься о соответственной корректности: в какой мере и в каком преломлении можно включить «Речь...» в ткань повествования об английских встречах? Можно ли обойтись без этого поэтического свидетельства одного из близких и верных друзей Самеда Вургун? Мы решили, не выкидывая из песни слова, сказать всю посильную меру истины, памятуя о том, что речь идет не о целостности публикации стихотворения Симонова, а о целостности рассказа о его друге...

ГОД НИЗАМИ

Близился юбилей великого «мудреца из Гянджи», отброшенный войной на несколько лет. Самед Вургун был одним из руководителей подготовки к торжествам.

Многие литературные акции приурочивались к юбилею. В их числе было издание сборника азербайджанской прозы в Москве. В апреле 1947 г. в Баку приехал составитель и редактор этого сборника Юрий Либединский, возглавлявший совет Союза писателей СССР по азербайджанской литературе. Полтора месяца он с Самедом Вургуном зани-

мался отбором материала. Радужие, энергия и заботливость Самеда Вургуня запечатлены в воспоминаниях Лидии Борисовны Либединой: «Мне пришлось присутствовать на заседании в Союзе писателей... Казалось бы, что может быть на свете скучнее заседаний. Но это заседание ведет Самед Вургун, и оно наполняется поэзией. Оно проходит деловито, четко, красиво. Самед держится с товарищами весело и демократично, не допуская при этом ни малейшей фамильярности. Он дирижирует собранием, как дирижер оркестром».

В ходе этого общения и сотрудничества родилась мысль — совершить поездку по Азербайджану, которая помогла бы составителям вжиться в атмосферу будущей книги. Самед с готовностью согласился. Давненько он не бывал в родном Газахе. Но, разумеется, двухнедельный маршрут, намеченный с Мехти Гусейном, охватывал не только Газах.

И вот — поезд, дорога, Газах, дом родича Мехти Гусейна, где остановились гости.

Наутро Юрия Николаевича разбудил шум оживленных голосов. Он из любопытства вышел на балкон. Оказалось: люди, стар и млад, пришли повидаться со знаменитыми земляками. Аксакалы журят поэта: мол, позабыл ты родные края. Этот эпизод напоминает сцену из незаконченной автобиографической пьесы Самеда Вургуня «Жизнь поэта», где старый чабан, поначалу не узнавший земляка-поэта Элоглу, произносит укоризненные слова: «...Чего ты ухватился за этих городских, не сводящих взгляда с весов?» В этой сцене мы видим поэта, застывшего в печально-совестливых раздумьях у могилы рано ушедшей из жизни матери. Мелодия баяты, которую играет на свирели чабан, задевает заветные струны в душе. Полад, другой персонаж, к которому поэт обращается задушевно: «брат мой», — стремится отвлечь его от тягостных дум. В Поладе нетрудно угадать черты брата поэта — Мехтихана Векилова.

В Газахе Либединой воочию видят, сколь пламенно и органично любовь тружеников земли к поэзии, фольклору и музыке.

Для гостей устраивают импровизированный концерт исполнителей ашугов — «меджлис саза». Это отнюдь не профессионалы. Один — сельский учитель, другой — рабочий торга... Тем не менее гости восхищены их вдохновенным исполнением. Звучат стихи народных поэтов, гошмы Самеда Вургуня, дастаны... Мехти Гусейн попутно переводит их содержание.

Из Газаха путь их пролег в Гарабах, в древнюю Шушу — уже в выдавшей виды «Побезде», которую пригнал из Баку шофер Анатолий, долгие годы верой и правдой служивший поэту в странствиях по родным городам и весям, в охотничьих «походах». В Шуше они посещают могилу великого Вагифа, ханский дворец, дом поэтессы Натаван...

Путешествие завершается на родине Низами — в Гяндже. Конечно, с такими искушенными и вдохновенными «гидами» гости узнали неизмеримо много о сокровенной памяти и духовных святыхнях представшей их взору земли...

Третьего июня в Баку открывается Всесоюзная научная конференция, посвященная жизни и творчеству Низами Гянджеви. В большом зале Академии наук республики звучат голоса светил востоковедения, замечательных ученых и мастеров слова.

Самед Вургун выступает с большим и ярким докладом — «Азербайджанская советская литература и Низами», который в расширенном виде увидит свет в журнале «Новый мир». Гуманизм Низами, его патриотизм, романтика, мировоззрение, преемственная связь новой литературы с традициями великого классика — таковы магистральные линии яркого слова Самеда Вургуня.

За четыре дня был заслушан и обсужден целый ряд глубоких исследовательских выступлений, раскрывающих масштаб и значение наследия Низами. Е. Э. Бертельс говорил о поэтике Низами, М. Рафили — о национальной культуре предшествовавшей эпохи, А. Маковельский обрисовал панораму азербайджанского общества XII в., каким оно представляло из творений автора «Пятирицы». А. Султанлы обозначил контуры духовных мостов, связующих Низами с западноевропейской литературой, Г. Араслы — национально-фольклорную подоснову художественной ткани произведений Низами...

Календарь юбилейного года полон событиями не только юбилейными. В июне состоялось совещание молодых литераторов республики. Доклад председателя писательского Союза Самеда Вургуня был посвящен анализу современного литературного процесса. Название несет на себе печать времени и отражает традицию, когда движение литературы соразмерялось с экономическими этапами: «Новая сталинская пятилетка и задачи азербайджанской советской литературы». Была создана комиссия по работе с литературной сменой. Увидел свет альманах «Голоса молодых», чьим составителем и редактором был С. Вургун.

Заботу о молодой смене маститый поэт проявлял не только по долгу службы — она была согрета теплом исклю-

чительной, взыскательной доброты и человеческого участия. Один из многих, окрыленных его щедрой добротой, поэт Алиага Кюрчайлы вспоминал с благодарностью, как он, сельский парнишка, напечатавший первые пробы пера, был приглашен на совещание в столу. Сamed Вургун письмом секретарю райкома просил отправить молодого автора в Баку, обеспечив недельным хлебным пайком. На совещании в писательском клубе Сamed Вургун, послушав стихи парня из села Кюргарагашлы, спрашивает его об учебе. Оказывается, после девятого класса Алиага, бросив школу, пошел в рабочие: шла война, семье без отца трудно было сводить концы с концами. «Зайди ко мне в пере-
рыве», — сказал ему Сamed.

В кабинете Вургун обращается к Осману Сарывелли, глядя на оробевшего парнишку в стоптанных башмаках.

— Слушай, Осман, чем мы можем ему помочь?

— Пусть окончит десятилетку у себя в селе.

— Нет уж. Надо бы все устроить тут, в Баку. Устроим в вечернюю школу.

— Но здесь же ему негде жить.

— Выхлопочем место в гостинице. Пусть поживет за счет Союза...

Алиага Кюрчайлы впоследствии прочно утвердился в ряду поэтов послевоенного поколения.

Один из пишущих эту книгу помнит и поныне счастливую минуту, когда он, еще студентом, опубликовавшим первые стихи, был приглашен мастером, удостоился его одобрения и рекомендации в писательский союз, помнит неусыпное внимание и пронизательные советы в дальнейшей работе... В сборнике «Я сын народа своего», изданном в Баку в 1984 г., можно увидеть и дань взволнованной признательности армянского прозаика Аршавира Кочаряна...

Зимой 1948 г. Аршавир приехал из Гянджи в Баку, прихватив с собой рукопись повести, и переступил порог кабинета Самеда Вургуна. Поэт радушно встретил молодого автора, вспомнил, что знал его отца, слушал ашургские песни в исполнении Кочаряна-старшего.

Аршавир был смущен расточительно-щедрым временем и вниманием, которые уделил ему знаменитый поэт, разговор перенесся из кабинета в ресторан, за обеденный стол. Узнав, что молодой собеседник был вынужден прервать учебу в Ереванском педагогическом институте из-за затруднительного положения семьи, Сamed посоветовал:

— С публикацией повести не спеши. Сперва надо завершить образование. Надо что-нибудь нам придумать.

На другой день он вручает Аршавиру два конверта —

в одном — ходатайство ректору Ереванского пединститута, в другом — деньги на дорогу...

А о печатной судьбе повести он попросил позабиться писателя Маркара Давтяна. Кочарян был восстановлен в институте, причем, в середине учебного года. В письме он благодарит поэта. Ежемесячно Аршавир получает денежный перевод по почте, полагая, что это пособие в счет Литературного фонда, и лишь впоследствии узнает, кому он обязан этой помощью... «Я всегда движим одной мыслью: достойно оправдать доверие большого человека — Самеда Вургуна! Да, тем, что получил высшее образование, стал писателем, я обязан народному поэту Азербайджана Самеде Вургуну», — эти строки воспоминаний из упомянутого нами сборника.

Сопоставление слов А. Кочаряна, в искренности которых мы не сомневаемся, с горькими реалиями современности, наводит на грустные размышления.

Мы стали свидетелями того, как 200000 соплеменников С. Вургуна, человека, дружившего за свою недолгую жизнь с представителями многих народов, в том числе и армянского народа, испытавшего огромное уважение ко всем народам, в течение буквально нескольких дней 1988 г. были безжалостно, бесчеловечно изгнаны со своих исконных земель... Грязные руки тех, кто мечтает о создании «Великой Армении» за счет чужих земель протянулись к самому сердцу Азербайджана — Карабаху. Скорбный перечень осиротевших очагов в Кафанах, Гугарке, Масисе продолжился трагедией сожженных и опустошенных карабахских сел, оккупированных затем Шуши, Лачина, Губатлы, Кельбаджар, Физули, Агдама, Зангила... Слезы и кровь изгнанных, замученных и погибших...

На древней азербайджанской земле Гекча (ныне Варденисский район Армении), где жил и творил великий мастер народной поэзии Ашуг Алескер, бульдозером прошлись по его могиле. Мы не станем вступать в полемику о том, что на этой земле тысячелетиями жили наши предки, для этого достаточно обратиться к героическому эпосу VI—VIII вв. «Китаби-Деде Горгуд», события в котором разворачиваются именно на этих землях (там упоминаются географические названия, сохранившиеся и до наших дней). Мы напомним лишь о священной для всех народов обычая, о неписаном законе — о святости, неприкосновенности могил!

В школе села Алдара Мегринского района, которой решением правительства Армении было присвоено имя С. Вургуна, сровняли с землей памятник поэту.

Во всей Армении не осталось ни одного азербайджан-

ца. Более того, захвачена значительная часть территории Азербайджанской Республики. Поруженные святыни. Человеческие жертвы. Разбитые судьбы. Преданные заветы великих и мудрых. Но мы верим, что правда восторжествует и разум победит, что на многострадальную нашу землю придет мир. Ненависть и злоба, какими бы «патриотическими» лозунгами они не прикрывались, обречены. Будущее — не за Ахриманом, а Ормуздом.

ГНЕВ «БУХАРСКОГО ЭМИРА»

По осенним апшеронским дорогам пылят черная «Победа» и бледнозеленый «Додж». Кругом тянутся холмы с пожухшей травой, седые полосы солончаков, попадают глинистые шапки грязевых вулканов. Чем дальше на запад, тем щедрее покров земли, тем круче острейшие гребни — начинаются горы. Кусты тамариска уступают место плодовым деревьям, подступающим к обочине, листья тронуты желтизной.

Уже отмахали добрую сотню километров. Оживленные разговоры сменяют короткие паузы — живописный силуэт скалы, сбегующее по склону село или речка приковывают взгляд. Охотничьи ружья молчат. Собственно говоря, охота — только побочный повод этой поездке. Николай Тихонов, один из спутников, сроду не стрелял в зверя, в дичь. Иное дело — Фадеев и Вургун. Но и они сейчас настроены на иной лад. Все живут впечатлениями от бакинских и гянджинских юбилейных торжеств, посвященных Низами, собравших большую аудиторию со всех республик. Тихонову, в сущности, довелось участвовать в юбилее дважды: ведь было еще незабываемое заседание в Эрмитаже, в короткий час затишья между артобстрелами...

Для них юбилей был сложной, благодарной, требовавшей длительного напряжения работой. Сознание исполненного долга, созерцание осенней природы, тепло дружеского общения, ни с чем несравнимая радость дороги — вододушевляли их.

Позади древняя Шемаха... Путь лежал через живописный Ахсуинский перевал — к равнине. В Агдаше — привал. Первая охотничья вылазка не удалась. Но разве это могло омрачить радость общения с народом, задушевных встреч, бесконечных бесед о жизни, о литературе, перемежавшихся шутками, рассказами о курьезных и занятных приключениях...

В Агдаше, после застолья, беседа затянулась заполночь. Друзья допытываются у Самеда об его охотничьих

трофеях: «Неужели нет такой птицы, такого зверя, какого ты не бил?» «Нет такого», — отвечает Самед...

— А ленокоранского тигра бил?

Лицо Самеда делается хитрым. Он шелкает языком, отвечает не сразу.

— В Ленкорани мы охотились на кабана, знаешь. А пришел тигр. Пришел и в камышах стоит, раздумывает. Соображает, что делать. И мы соображаем, что это тигр пришел. Но он первый сообразил, что лучше уйти с нашей дороги. Поломал камыш, ушел. Мы сначала хотели сами уйти. А он первый сообразил. Хо-хо-хо!

Самед начинает по-детски смеяться, и нельзя понять, было так с тигром или не было...

Охотничьи дороги приводят их на евлахские степные уголья, в пос. Мингечаур, где развернулось строительство гидростанции на Куре, и доживал свой век еще не затопленный Самухский лес... Потом им предстало горное приюлье — Шеки, Закаталы...

Впоследствии, когда гидростанция будет пущена в ход, Александр Фадеев напишет своему другу:

«Прочел сегодня в «Правде» подвал, посвященный пушке первой очереди Мингечаура, вспомнил, как мы были там вместе в те времена, когда все там было еще в начале, вспомнил... с каким естественным гостеприимством принимали нас... азербайджанские колхозники, с какой любовью к тебе и твоей поэзии относились они, вспомнил прекрасную сельскую интеллигенцию Азербайджана... вспомнил красивых, чистых азербайджанских женщин, вспомнил наш путь, весь наш путь по дальним дорогам в братскую республику Грузию и обратное возвращение уже вдвоем с тобой, вспомнил природу Азербайджана, полную такого разнообразия и очарования, вспомнил, как колотили мы фазанов и турачей и того огромного кабана, который на своих низких ногах, грузный, походил издала на быка, по колено провалившегося в болото, вспомнил наши дружеские беседы обо всем на свете, и как мы снялись у домика Ахундова*, домика, который одним своим видом, так же, как и домик Белинского в Чембарах, — больше, чем толстые исследования, говорил о том, что породило Ахундова... вспомнил я все это, дорогой друг, подумал о том, что все эти мгновения неповторимы, что все это было тогда должной «обстановкой» для счастья, что самым большим счастьем надо считать наличие друзей и что это очень хорошо, что

* Речь идет о Доме-музее великого писателя-реалиста и демократа Мирзы Фаталы Ахундова в г. Шеки.

существует на свете Сamed Вургун, и решил написать это письмо, поздравить тебя и твою республику и всех нас с этой победой — пуском Мингечаурской электростанции...

По возвращении из поездки Фадеев пробыл еще некоторое время в Баку по просьбе Самеда Вургун. Читатели жаждали увидеться с автором «Разгрома», «Последнего из Удэгэ» и недавно снимавшей небывалый успех «Молодой гвардии». В юбилейные дни это было невозможно. Теперь же, после торжеств, в самый раз. Хотя автор проехал и прошел свыше тысячи километров до Грузии и обратно в Баку. В Актовом зале Академии наук собралось свыше тысячи молодых читателей. Были еще встречи в писательском клубе, в других аудиториях. Везде горячий прием, заинтересованный разговор, сердечная атмосфера. Сamed Вургун, неизменно спутствовавший другу при всех встречах и поездках, не смог проводить его при отъезде в Москву до аэропорта: так распорядился «хозяин» — М. Дж. Багиров.

Мы должны сообщить о предистории этого самоуправного жеста. Во время поездки по республике, в Агдаше, после ужина гостей пригласили на просмотр нашумевшего в свое время фильма «Тарзан». Один из их сопровождающих товарищей, заместитель министра кинематографии Мамед Эфендиев, неоднократно смотревший фильм, отказался. Не пошел и Фадеев, выглядевший удрученным и озабоченным. Сamed Вургун, попросив Эфендиева не давать гостю скучать, отправился в кинотеатр.

Двухсерийный сеанс затянулся до полуночи. Тем временем «опекун» занимал место за накрытым столом. Посидели вдвоем, коротая время. И больше никого. За исключением задремавшего на скамейке под деревом во дворе райкомовского руководителя. Когда Мамед Эфендиев попытался поднять тост за Мир Джафара Багирова, Фадеев, замахав рукой, переменял тему. Погода «тамада» решил договорить прерванную здравницу. Фадеев вспылил:

— Ну что ты заладил: Багиров, Багиров! Оставь этого бухарского эмира!

Фадеев хорошо знал о «благоденствиях» тогдашнего руководителя республики и его отношении к писателям.

Эфендиев умолк. Ночью он повел Сamedу о конфузе. Поэт посоветовал ему нигде не распространяться об этом случае. Наутро зам. министра вызвали в Баку...

Вернувшись из поездки, Сamed узнал, что агдашский разговор каким-то образом дошел до Багирова. «Бухарский эмир» вызвал поэта и зам. министра «на ковер» и потребовал у последнего выложить все, как было. Молодой зам.

министра, видя, что отпираться бесполезно, упавшим голосом изложил эпизод. Его страхи были не напрасны. В 1937 г. пал жертвой багировских репрессий его дядя по отцу — видный большевик, председатель АзЦИК Султан Меджид Эфендиев.

И племяннику пришлось хлебнуть лиха: он был уволен, грозил арест. Если б не Сamed Вургун! Выручил, оградил от беды, устроил на работу. Теперь же, помимо опасения снова впасть в немилость, М. Эфендиева терзала мысль о несправедливом подозрении в доноситечестве. Нет, Сamed ни словом не попрекнул его. Но в суровом взгляде читался немой укор (На самом же деле доносителем оказался тот самый райкомовский руководитель, которого они сочли устроившим на скамейке после ужина с тостами). Сamed узнал об этом позднее.

Багиров, не предложивший посетителям даже сесть, полоснул взбешенным взглядом по посережнему лицу Самеда.

— Пусть этого русского... («хозяин» добавил оскорбительное слово)... никто не провожает!

Сamed Вургун, оказавшийся в дико неудобном положении, нашел-таки способ ко времени отъезда Фадеева огладить неловкость. Писатель Иман Касумов должен был встретить каких-то официальных гостей в аэропорту. Ему и поручил Сamed проводить дорогого друга: «Пусть Саша ни о чем не догадывается».

ВРОЦЛАВСКИЙ КОНГРЕСС

Не прошло и года, как друзьям довелось вновь отправиться в дальнюю дорогу. Советскую делегацию на Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира возглавил А. Фадеев. До отъезда, 20 августа, Сamed Вургун успел побывать на гастрольном спектакле родного драмтеатра в Москве, в помещении театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гастроли были начаты «Вагифом». Сamed Вургун уезжал во Вроцлав в приподнятом настроении. Он оказался в одном купе с Мирзо Турсунзаде. Проезжали через Минск. Друзья спали. Вдруг их разбудили голоса. Оказалось на перроне белорусские писатели беседуют с их делегацией. Вскочили, оделись и присоединились к компании. Фадеев вспомнил о «проспавших» Минск, когда поезд прибыл в Варшаву, и постучался в купе.

— Эй, Восток, пора пробуждаться!

Это было 24 августа — за день до начала конгресса. Делегация успела посмотреть столицу Польши, вставав-

шую из руин, посетить братскую могилу советских воинов. Возложили цветы. Александр Корнейчук произнес взволнованную речь. Позднее Сamed вспомнит: «Я обошел кладбище. Занес в свою тетрадь имена нескольких похороненных здесь азербайджанцев. Меня охватило чувство печали и оттого, что их могилы так далеко от родной земли, от берегов Хазара, Куры и Аракса, от подножий Шахдага, от степей Мугани, Мили и Ширвана, оттого, что убежденные седины матери, сестры и братья, их невесты не могли попрощаться с ними в последнюю минуту. В то же время душа моя преисполнилась гордостью за то, что сыновья родного народа, эти отважные потомки Бабека и Кероглы, преодолели дальний путь от Моздока до Вроцлава, освободили Европу от гнета, бесправия и порабощения...»

И вот — Вроцлав.

Сотни посланцев со всех концов планеты, представляющих 45 стран.

Честь первого слова — представителю нашей страны. Речь держит Фадеев.

Разные речи звучали на конгрессе.

Большинство ораторов выражали чаяния народов послевоенной планеты, их волю к миру, к социальной справедливости. Раздавались и такие голоса, которые пытались под ширмой высоких деклараций протащить идеи неокolonизма.

Слово берет негритянский художник из США.

— Я — человек!.. — бросает он в зал гордо и громогласно.

Самед Вургун поворачивается к сидящему рядом Мирзо Турсунзаде:

— Смотри! Восток и в самом деле проснулся. Вот видишь, и ему многовековой сон пошел на пользу.

Негр образно говорит: «Если бы под ведомым мной поездом свободы оказалась даже моя седовласая бабушка, я все равно не остановлю его и буду вести к цели...»

Впечатление от этого выступления столь сильно, что Самед Вургун здесь же, в гостинице начинает поэму «Мечты негра» (в переводе Маргариты Алигер — «Негр говорит»).

И на трибуне вырос негр.

Одно мгновение он молчит,

Есть молчаливый героизм —

он словно обожженный меч,

Готовый нанести удар.

Огромный многоглазый зал

Дыханье задержал и ждал.

Когда взлетит и грянет речь...

Кажется, вся поэма написана на одном дыхании. Эта поэма-монолог, исповедь благородной, гордой и потрясенной души. Лирическая проникновенность, негромкая исповедальная интонация таят в себе внушительную, взрывчатую силу. Напряжение возрастает до высокой патетики. Авторские «вторжения» в монолог героя, сочетание лиризма и публицистического накала создают органичный сплав.

На каждом полотне моем американских далей синь.

Цветы Америки цветут, лучи Америки горят,

Ответь, отчество, ответь,

добыл ли я своим трудом

Святое право проходить по правам, тронутым росой?

Кто смеет у меня отнять мой отчий край,

мой отчий дом? —

...Когда мне замыслы картин указывают

дальний путь,

Когда в скитаниях своих я голоден и я устал,

«Ты черный, — говорят глаза, — тебе нет места

отдохнуть».

«Ты черный», — люди говорят. «Ты черный», —

говорит закон.

И я на родине своей навеки с нею разлучен...

Взору читателя предстает мир баснословной роскоши и гнетущей нищеты, мир нью-йоркских небоскребов и трущоб. Поляризация сил ощутима в аудитории, к которой обращается герой поэмы.

На этом форуме взял слово и Самед Вургун. Он говорил как гражданин и как сын Азербайджана, вел речь о плачевной участи сонародников в Иране после удушения национально-освободительного движения.

28 августа конгресс завершил работу. Был принят манифест и декларация, создан Комитет международных связей сторонников мира, в состав которого вошел и Александр Фадеев.

Самед Вургун возвращался полный впечатлений, окрыленный сознанием причастности к благородным и глобальным усилиям творцов культуры во имя сохранения мира, завоеванного трагической ценой.

УТЕС И ПУЧИНА

Он не знал, что его ждут новые испытания.

Он не знал, что еще 22 августа, когда он с друзьями ехал в поезд по польской земле, в Баку по указу и инициативе «самого» было принято постановление «О состоянии азербайджанской советской литературы и мерах ее улучшения». В нем говорилось: «Отставание азербайджанской литературы и критики явилось результатом неудовлетвори-

тельной работы Союза советских писателей Азербайджана, его президиума. Руководство Союза советских писателей Азербайджана (председатель т. Самед Вургун) не сделал всех необходимых выводов из исторических постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам и не сумело в должной мере перестроить работу писателей республики в соответствии с задачами, поставленными перед литературой большевистской партией и советским народом. Руководство ССП Азербайджана не развернуло большевистскую критику крупных недостатков литературы и не обеспечило создания идейно и художественно полноценных произведений на современные советские темы».

Тогдашний руководитель республики был одним из самых ретивых исполнителей вердиктов «вождя». Центральные «залпы» по отдельным произведениям и журналам, прогремевшие в 1946 г., вызвали в писательских организациях волну обсуждений, проработок «в свете решений...»

М. Дж. Багиров, решивший переплотить всех, дабы продемонстрировать «большевистскую» борьбу с литературной «ересью» в республике, первым реагировал на центральные установки упомянутого постановления. Между тем, при выработке такого документа обязательно и естественно участие руководителя писательского союза. Чем же вызвана такая бесцеремонная скоропалительность? Разве нельзя было дожидаться возвращения Самеда Вургуня?

Дальнейшие события подтвердили, что поспешное постановление преследовало «показушную», верноподданническую цель и, с другой стороны, метило прямо в руководителя Союза писателей республики. Уж, конечно, при таком раскладе его участие вовсе не требовалось...

Чем же объяснить эту очередную «немилость», за которой угадывается почерк единоличного «хозяина»? Надо думать, что речь идет не о спорядических вшыпках партийного помпадура, а о застарелой и сознательной установке на политику «идеологического кнута», на унификацию или уничтожение творческих индивидуальностей, каковой, в частности, являлся Самед Вургун. Ведь так легче руководить, вернее, помыкать. При всех лояльных с официальной точки зрения произведениях поэта, при всех компромиссных шагах и кажущейся уступчивости «хозяин» не мог не чувствовать внутренней, суверенной силы художника, внушительного влияния его слова на умы и сердца, неподвластного административной воле. Это была сфера, где кончался пинет перед властью и властвовали любовь и вера народной души... Быть может, наше объяснение условно и не охватывает всех мотивов,—но оно напрашивается.

есть, подсказывается знакомой моделью культовой партократии. Но этот глубинный, коренной антагонизм со стороны некомпетентного властителя рядился в идеологические доспехи, оснащался политическим арсеналом, почерпнутым из литературной злости дня, критики, пусть даже по той резонной, но обретавшей другой знак, благодаря профессиональным подсказчикам и шептунам...

5—7 октября писатели провели пленум, а восьмого октября на заседании президиума его председатель был освобожден от должности.

На пленуме в ход пускался старый апробированный арсенал: «абстрактная, неземная, нереальная и нереволюционная романтика», «отвлеченное философствование». Опять попола и «Легенде Луны», «Дастану Баку», «Человеку», философской лирике... Дело выставлялось так, что, впадая в «отвлеченную романтику», поэт усугубляет свои литературные «грехи». Между тем, со времени создания последнего из критикованных произведений — пьесы «Человек» — прошло три года!

В те октябрьские дни ему пришлось сложить с себя и обязанности председателя республиканского Общества культурных связей. Это смещение также говорит о том, что «хозяин» был движим отнюдь не заботой об азербайджанской литературе, а стремлением дискредитировать всенародно любимого поэта. Мало того, эти акции были началом продуманной кампании, направленной на его уничтожение.

Оставалось одно — сжать волю в кулак, работать, писать.

Не прошло и недели после его смещения, как поэма «Негр говорит» увидела свет на страницах «Адабият гезити». Она опрокинула одно из основных обвинений, твердых критикой, — о том, что поэт, якобы, не пишет о современности и черпает вдохновение лишь в страницах минувшего. Большинство критиков, без устали метавших стрелы в него, теперь как в рот воды набрали.

Раздался лишь один одобрительный голос, причем месяца три спустя после публикации поэмы. Автор этого отзыва, подписавшийся именем Мир Джаббар (возможно, это был Мир Джаббар Мир Яхьяев, литератор, живший и работавший в Москве, в аппарате Союза писателей), не скрывал своего удивления тем, что критика обошла молчанием такое литературное явление, «...большой художественный документ, повествующий о значимых общественных и социальных вопросах. Разве можем мы рассматривать появление такого или подобного произведения как случайность, не имеющей ровно никакого отношения к нам?» По мысли

критика, в поэме «есть явные признаки хорошего перелома, и я не сомневался, что наши критики это видят. Так почему они все-таки молчат?» («За активность и боевность в нашей литературной критике», «Адабият газети», 13 января 1949 г.).

Впрочем, причина была ясна. Многие литературные судьи опасались навлечь гнев «хозяина» честным одобрением участы поэта.

Бедомственные служаки бдительно следили за каждым шагом поэта, искали «компромат» для обвинений в очередном «изме». В ту пору, в силу обострения отношений СССР с Турцией, любого непредвзятого и доброжелательного слова об этой стране и ее народе было достаточно для обвинений в «пантюркизме» и высылки в места не столь отдаленные.

Мы помним, что отношения поэта с М. Дж. Багировым обострялись не однажды. Немало горя хлебнул он во время «опалы» в сорок четвертом. Тогда ему причинили боль не только и не столько собственные невзгоды, не отстранение от поста, а то, что карающая десница ударила и по его любимому старшему брату. Багиров направил кого-то из ответработников в Акстафу, где было создано заседание бюро райкома партии, отстранившее Мехтихана Векилова с должности секретаря. Потрясенный несправедным и скорым судом М. Векилов заболел и слег. Узнав об этом, Самед, взяв с собой врача, умчался в Акстафу.

Мехтихана привезли в Баку. Месяца два он пробыл в больнице. Хотя его жена, врач по профессии, уволившись с работы, не спускала с него глаз, Самед и сам дневал и ночевал в клинике. Опасались, что болезнь разовьется в туберкулез.

К счастью, все обошлось.

Что касается инспирированных «громов и молний», то Самед надеялся, что тучи рассеются, как это бывало прежде. Он не догадывался, сколь серьезна грозившая ему опасность. Не знал, что во имя его дискредитации «наверху» взялись прорабатывать и брать за глотку товарищей по перу.

В те дни в МВД был вызван на «беседу» писатель Сулейман Велиев, человек трудной судьбы, участник войны, югославского и итальянского Сопротивления. Следовательно ему:

«— Пойдите к Самеду Вургуну домой, расскажите о своей трудной жизни. Он добрый, сжалится... Прочтите ему свое новое произведение. Сделайте так, чтобы он верил каждому вашему слову. Постарайтесь навести разговор на

непростой, как вы знаете, национальный вопрос, на его... отношение к пантюркистам. Ну, вы понимаете, что такой непростой... каверзный, прямо скажем, вопрос, что Вургуну можно будет понять и то, что он... Ну, что он на стороне... Вот это-то нам и нужно выяснить. И больше ничего. Ничего-то...»

Расчет был иезуитский. Велиев в войну пережил плен. Теперь ему грозила ссылка. Еще давал о себе знать вердикт, изреченный небезызвестным Л. З. Мехлисом: «Каждый, кто попал в плен, — предатель Родины». Писателя поставили перед выбором: либо отправиться в ссылку, либо пойти на преступление перед совестью, очернить любимого поэта.

Очернить Самеда Вургун, который пекся о семье молодого воина, еще когда он участвовал в освобождении Западной Белоруссии. Самеда Вургун, обеспечившего побег его родителей через Литфонд в суровую годину войны, устроившего его младшего брата в суворовское училище, а по возвращении на Родину выхлопотавшего ему работу, жилье...

Да и не будь всего этого — как можно допустить мысль об участии в подлой игре?

Сулейман Велиев избрал первый путь.

Правда, прежде чем очутиться в далеком Бодайбе, ему пришлось пережить «хождения по мукам» дома, с лета сорок восьмого до весны сорок девятого года: его таскали на допросы, не печатали, лишали работы. Когда же этот нажим не возымел действия, его отправили в Сибирь. Шесть лет прожил он вдали от родного края. Лишь на закате жизни, в 1956 г. Самед Вургун узнает о его самоотверженности и стойкости.

А пока поэт переживал горечь газетных уколов, трибунных филиппик и не ведал, и не видел паучьих сетей, которые плели для него в кабинетах с часовыми у дверей...

У многострадального Сабара, которого Самед Вургун любил до обожания, когда-то вырвались гордые и горестные строки:

Вокруг меня поношений и брани неистовый пыл.

Но я как вековечный утес,

что в пучине стоит,

Бьют и хлещут меня несметные волны хулы,

Но незыблема мощь, что на прежнем начале стоит!

Если великий предтеча навлек на себя ярость мракобесов, невежд и сильных мира сего, то его поэтическому потомку пришлось выдерживать натиск и противостоять тем, кто, вещая от имени «народа», пытался бросить тень на его певца...

Но не просто было сдвинуть с места «вековечный утес». В том же, 1948 г., пьесу «Вагиф» увидела московская публика. Видимо, республиканский «удельный князь» не мог дотянуться до московских театров...

В Москве выходит одиотомник. Голос поэта слышен на всю страну. С этим нельзя было не считаться. И хотя всю осень бакинская печать обходила молчанием его имя, он жил живым общением с народом, его читали, слушали, читали, любили.

«Утес» стоял неколебимо. Переключаясь с Сабиром, он писал:

Я рассекаю грудью волн стальные ряды,
Они меня обступают, сдавливают до боли,
как толпы свирепых фурий.
Но не причинит беды мне
бурление этой воды:
Померяться силой с бурей
Дано моей мощной воле!

(Перевод В. Луговского).

Но «валы» подтачивали изножье «утеса».

Копну волнистых волос густо покрыла седина. Сердце захлопало болью. Кто знает, насколько укоротили его век неправая хула и вероломные удары. Но он продолжал писать. Писал, чтобы успеть одарить мир зреющими в душе новыми песнями.

Минула «пасмурная осень» 1948 г. Следующий год принес относительную «оттепель». Судя по печатным резонансам, «директивный» гнев простыл. Как при всех авторитарных режимах, в сталинские времена пресса почти всецело зависела от непредсказуемых причуд и зигзагов единоличной воли, а в конкретных условиях республики — от ее тогдашнего руководителя. Кроме того, удар по интеллигенции был нанесен, сделал свое разрушительное дело, — можно теперь и передохнуть...

Так или иначе, вокруг поэта «потеплело».

Завершенная поэма «Мугань», новое издание «Евгения Онегина», которого С. Вургун перевел вторично, «почти заново» (по подсчетам исследователя З. Гасанова — около двух тысяч переработанных строк!), «Негр говорит»... — все это выбивало козыри из рук штатных злопыхателей и высокопоставленных хулигателей, тывавших в глаза «абстрактной романтикой» и «скопанием в истории». Конечно, появление названных поэм нельзя объяснить желанием доказать актуальность и правомерность своей музыки — импульс шел от самой жизни, ее значимых, волнующих впечатлений. Но объективно эти произведения опровергали и отмели лозомеренные наскоки.

«В ЗЕРНЕ И СЛОВЕ...»

Как и в «Дастане Баку», в новой поэме С. Вургун избрал форму глав-песен, обойдясь без традиционного сквозного, связующего сюжета. По сути, наряду с конкретными людьми, первостроителем Мингечаура и труженицей хлопковых полей, главным герой повествования — родная земля, Мугань, ее седая память, ее новь, предстоящие в личном, лирическом преломлении и осмыслении. Можно говорить здесь о сюжете поэтической идеи, ее движении... отображающем динамику исторической памяти, — от древних зороастрийских снов, противоборства с легионами Помпея, суеверного пietetа перед стихией, чаяний добра до творческого пробуждения народа, вооруженного мощью современной цивилизации.

Поэт в пути. Влюбленным, очарованным взором он созерцает родные степные дали.

...Бывал ли ты, приятель, на Мутани?
Пешком ли шел, твердя старинный стих
О жителе высоких гор — джейраге?..
Дремал ли ты на травах луговых?..

...Смысл поговорки дедовской понятен:
Турач в полете, говорит, знатен,
А на бегу — джейрай!..
Вот он беседует со старым чабаном:

Не знаешь ты, сынок, своей Мутани:
Утрит единицу в добрый миг,
А тройку уничтожит в урагане!

Через ширь степей течет полноводная Кура, овевая легендами, река, которую народ прозвал буйной. Немало бед причинила разбушевавшаяся стихия. Отныне великая река будет укрощена волей и разумом человека, неся жизнь безводной, жаждущей земле, свет жилищам, энергичным моторам... У склонов Боздага творится это будущее. Здесь вознесется плотина и появится рукотворное море. Конечно, с той поры наши представления о природопользовании и экологии претерпели разительную эволюцию. От однозначных формул — «мы не можем ждаты милостей от природы, взять их у нее — наша задача» — мы пришли к мысли о необходимости более взвешенного, осторожного, научно веренного вторжения в жизнь природы.

При всем том, строительство Мингечаурской ГЭС в свое время явилось крупным событием в жизни республики. На месте небольшого поселка родился промышленный центр, вобравший в себя большую массу людей с окрест-

ных зон, преимущественно крестьян. Один из них, Сарван Салманов, парень из глухого горного селения, стал строителем нового Мингечаура, экскаваторщиком, героем поэмы. Позже Сарван скажет, что в жизни он равнялся на своего литературного двойника—такова была возвышающая нравственная сила вургуновского слова. Поэт показывает своего героя в трудовом состязании с колхозницей Манией Керимовой, олицетворяя в них сотворчество двух главных сил нашего общества—рабочих и крестьян.

Есть в поэме второе измерение: память земли, эхо истории. Поэтому не случаен образ археолога. В диалоге рабочего и ученого оживают страницы седой старины, истории албанской Мугани, доблестно противостоявшей нашествиям чужеземцев, походу знаменитого римского полководца Помпея; в рядах албанцев сражались женщины, которых римляне именовали амазонками.

Третье измерение — будущее. Поэт, верный своему романтическому видению, видит очертания и приметы грядущей жизни. Этим порывом в грядущее, в память будущих поколений, заслуженную прижизненным деянием, завершается поэма:

Не зная дней рожденья, дней ухода,
Под тысячей имен в родной стране —
Жить, вечно жить, — в бессмертии народа,
В верне и слове, хлебе и вине!..

«Я ВИЖУ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ ТВОЯ СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛИК...»

Год сорок девятый прошел в груди дел, суматохе явлений. Наверное, неспроста нам вспомнились «маяковские» строки из стихотворения о вожде революции. «Читая Ленина» увидит свет через год. Летом он публикует завершающие главы — песни «Мугани». Начало июля проходит под знаком пушкинских торжеств: сессия Академии наук, писательский пленум, общебакинский вечер молодежи, статья «Наш учитель и друг» в «Дружбе народов», выступление в Москве — все посвящено 150-летию «солнца русской поэзии».

Работа, работа — вопреки всем превратностям и неностям литературной погоды, которую омрачают тогдашние «законодатели» от искусства.

Статья об азербайджанском драматическом театре, вся «Мугань» и симоновское стихотворение о С. Вургуне выходят разом.

Творческие замыслы, как волны накатывают они

друг на друга. Разве мог поэт оставаться безучастным к освоению нефтяных месторождений на Каспии, к рождению легендарных Нефтяных Камней? Его друг и товарищ по перу Мехти Гусейн создал к тому времени роман «Апшерон» о морских нефтяниках, ставший явлением нашей прозы.

Уста (мастер) Мурад из поэмы — один из славных и доблестных первопроходцев морской нефтедобычи.

Поэт точными, выверенными мазками обозначает суть и пафос нелегкого труда на море, среди своенравной и опасной стихии, которая могла перечеркнуть и погубить все усилия; характерный штрих — суда с Большой земли зачастую не могут причалить к морскому основанию из-за шторма. Уста Мурад мечтает о грядущем:

Хочу, чтоб на Хазаре, словно храмы,
Взошли ватаги вышек буровых,
Игрались малыши, и вечерами
Светилась даль в созвездиях живых.

Как города мы строим на Мугани,
Так бы и здесь вознес на водной
Средь промыслов упорными руками
С кино и школой город трудовой.

Сбылась мечта мастера. В море вырос город на сваях, с Дворцом культуры, библиотекой, магазинами. Путь к морской кладовой был тернистым, драматичным, подчас отмечен трагическими потерями. Литература и искусство не обошли эти страницы. Достаточно вспомнить карменовские фильмы, пьесы Ирана Касумова, роман Мехти Гусейна «Подземные реки текут в море», где нам предстает новый политический срез темы — под именем Моллаева узнаваем тогдашний «хозяин»...

В мечтательных раздумьях уста Мурада мы слышим и голос самого автора, всем существом обращенного в будущее, творимое в настоящем.

Видеть человека и жизнь более совершенными, более одухотворенными — его страстная, идеальная мечта. В «Письме моему потомку» выразился этот настрой души: «Я вижу сквозь столетия твой счастливый облик... Я мысленно иду с тобой рядом, как бы и дышу с тобой вместе и работаю рука об руку с тобой. Я вижу на твоём счастливом лице, в сиянии твоих зорких глаз нечто близкое и родное. Мне кажется, что я продолжаю жить и творить, я горд тобой...»

Уста Мурада занимает заветная дума: «Увижу ль коммунизм?» Кто же может ответить на этот вопрос? Старый

большевик, ныне мастер-нефтяник, хочет услышать ответ из уст «отца народов» на кремлевской встрече, памятая, что на страницах революционного дружелюбия в Баку с Кобой... «Увидим коммунизм мы, бесспорно, с тобой вместе...», — отвечает всевидящий вождь. Нетрудно увидеть в этом эпизоде дань тогдашним представлениям о гениальном и «мудром» вожде, с именем и волей которого связывались все надежды и даже ход самой истории... Искренность и наивность этой дани равно очевидны. Мы были свидетелями и позднейших скоропалительных пророчеств, ничего общего не имеющих с объективной реальностью... Культовский «сироп» в поэме вступает в явное противоречие с исторической правдой, с достоверностью главного образа, с конкретикой реального трудового свершения. Сопоставляя тон поэмы с исповедальными «Думами», созданными в том же 1949 г., замечаешь разительный диссонанс, догадываешься о скрытых бурях уязвленной души: «Не умирает гордость, не погибает дуб. К солнцу стремится поросль, черной земле переча...»

У поэта, прозревавшего «счастливый облик» потомка, гордился им и своим поколением, вырываются совершенно иные, горестные строки, свидетельствующие о внутренней драме, о разладе со средой:

В душе — ветра и листопад, и вянет цвет к цветку.
Преходит ночь моя в мечтах, и вопрошает день:
Какой поэт, какой творец был счастлив на веку?

(«Ах, завистники!»)

В январе 1950 г., находясь на московском писательском пленуме, он еще не знал, что избирателями-колхозниками Кусарского района он назван кандидатом в депутаты Верховного Совета страны. На пленуме, продлившемся до первого февраля, он вновь отстаивает мысль о необходимости романтического преломления жизни, выступает против бескрылости и приземленности. На апрельском пленуме писателей республики ему предъявляют претензии: «...выступление товарища Самеда Вургун на XIII пленуме Союза советских писателей... односторонне, вызывающее небрежение к важным новым явлениям литературной критики...»

Самед Вургун, отвечая на нарекания, говорит, «что в «Литературной газете» опубликована лишь часть моего выступления, с другой стороны, я отнюдь не обязан говорить обо всех произведениях».

Это — литературные будни.

22 апреля в здании филармонии на литературном вечере, посвященном 80-летию В. И. Ленина, Расул Рза чи-

тает фрагменты из новой поэмы «Ленин», над которой работал десять лет. Аудитория горячо принимает ее. (Вскоре эта поэма удостоится Сталинской премии). Выступают Сулейман Рустам, Мамед Рагим, Осман Сарывели, поэты младшего поколения. Самед Вургун выступал, по обыкновению, в конце. Так было и на сей раз. Мало кто знает о новой поэме. «Читай Ленина» вскоре придет к читателю на страницах толстого литературного журнала, возглавляемого Мехти Гусейном.

Самед вдохновенно читает поэму — всю! — наизусть, лишь изредка заглядывая в текст.

В поэме нет сюжета в обычном понимании слова. Движение поэтической мысли и повествования связано и соотносено контурно, обобщенно обозначенными веками революционной истории и современности; условно говоря, в этом публицистическом триптихе неподдельность воодушевления, размах революционного преобразования мира, переданный с горячим публицистическим пафосом, производят сильное впечатление. Вместе с тем нельзя не заметить налет некоторой исторической иллюстративности, наличие общих мест; кажется, сила поэмы возросла бы от конкретики неповторимых судеб, картин жизни, эпизодов борьбы. А самое главное, думая о «революционном преобразении мира», мы, люди 90-х, задаемся безжалостным и неумолимым вопросом: Какой ценой?.. Но «судить произведение надо по тем законам, по которым оно создано»...

Прием был воодушевленный.

Поэт вышел из филармонии в обществе Мехти Гусейна, и они зашагали по улице.

— Мехти, я бы с удовольствием попил бы чайку, заваренного Фатмой ханум.

Они отправились к Мехти домой.

Дверь открыла жена Мехти.

Самед Вургун по-свойски, с порога бухнул:

— Слушай, Фаты, помираю с голоду, что у тебя есть перекусить?

Мехти шутливо одернул:

— Брось ты эти свои деревенские замашки, имей терпение, уж найдется что-нибудь.

— Это я — деревенщина? Я-то бекского рода, не чета тебе, черни.

— Хотя ты и бекский отпрыск, а вырос в землянке. А я, как-никак интеллигентский сын.

— То-то сухарь сухарем. Ну что ты там, хозяйюшка?

— Сию минуту, Самед.

Друзья перешучивались, в карман за словом не лезли. Бывало, и ссорились. Случалось, критические стрелы

приципального друга задевали Самеда за живое. Не Мехти ли «прошелся» по «Дастану Баку», философским стихам, обвиняя автора в отвлеченности? Но размолвки на творческой почве не могли поколебать их дружбу.

Айбениз Векилова, дочь поэта, рассказывает о любопытном эпизоде: «Как-то отец вернулся из Союза писателей очень мрачный и удрученный. Матери говорит: «Хавер, Мехти колюч на язык, впредь я с ним не стану дружить». Вечером отец предложил нам прогуляться. Когда мы одевались, уже выходили на улицу, мама сказала: «Вот увидишь — пойдет мириться с Мехти». Вдруг, вижу, отец направился на набережную и свернул в сторону дома Мехти ами. Мама лукаво спросила: «Самед, ты куда, там же и дышать нечем...» Отец, не отозвавшись, продолжал путь. Дверь открыл сам Мехти ами. Сперва смерили друг друга холодным взглядом, прошли в комнату, сели — и оттаяли, переглянулись, заулыбались и как ни в чем ни бывало продолжили беседу...»

...Только убрали со стола, как раздался телефонный звонок. Трубку взял Мехти.

— Самед, тебя.

Поэт услышал встревоженный и укоризненный голос Хавер ханум:

— Так и знала, что тебя можно найти только у Мехти. Мама опять плохо.

— Ладно, я сейчас, — приободрил он жену. — И Мустафа бека* приведу. Рука у него легкая...

Стараниями известного врача удалось продлить жизнь престарелой Пикя ханум. Но грянула другая беда.

«КАКОГО СЫНА ПОТЕРЯЛ АЗЕРБАЙДЖАН...»

Произошел беспрецедентный случай. Комитет по Сталинским премиям в области литературы и искусства поднял вопрос о лишении Гейдара Гусейнова премии, которая была присуждена ему двумя месяцами раньше, в марте 1950 г. за ценнейший и значительный труд «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане в XIX веке». Совет Министров СССР принял соответствующее постановление... Одновременно с этим нелепым вердиктом в журнале «Большевик» выходит пространная разгромная статья Мир Джафара Багирова о монографии «Об антимарксистской сущности исторических воззрений» Гейдара Гусейнова.

* Мустафа Топчибаев, известный в республике медик.

Постановление и статья перекликались по содержанию и духу. Было ясно, что является инициатором неслыханной дискредитации выдающегося ученого, к слову сказать, удостоенного высшей премии дважды.

Самед Вургун понимал, сколь тяжкий и несправедливый удар обрушился на друга. В июне, находясь в Москве, на сессии Верховного Совета, он переговорил на эту тему с Фадеевым.

— Саша, как же вы не смогли воспрепятствовать? Как-то теперь будет?

— Никак это было невозможно, Самед. Ваш экзекутор переговорил со Сталиным, убедил его и заручился его согласием. И мне попало на орехи за представление книги на премию. Мы, видишь ли, не проявили большевистской бдительности...

Самед, в душе проклиная Багирова, пытался уяснить причину, корни случившегося. Хорошо зная повадки экзекутора, он полагал, что «научно-теоретические» и «политические» грехи, печатно инкриминируемые автору, всего лишь пиротехника, — причина коренится глубже. В чем же дело? Вероятно, «хозяин», привыкший вершить всеми делами в республике, усмотрел посягательство на свою власть в представлении монографии на премию без его ведома и «согласования». Тем самым лишили его возможности лишний раз ткнуть в глаза всем личной заботой о науке и сыграть на премированной книге. Или ему нащептали злодеев и завистников ученого? Мало ли натерпелся сам Самед от таких шептунов? Это о них он писал:

Один уйдет, другой придет зойл на этот свет,
Людишки с головой змея, а в жилах рыба кровь.
Закинут сеть — уйдет поэт, уйдет во цвете лет,
Но кто поймет, но кто сорвет таинственный покров?..

Автору книги вменялось в вину, что в отношении к движению Шамиля и мюридизму он-де занял буржуазно-националистические позиции. В те времена национально-освободительное движение дагестанских народов под предводительством Шамиля, свыше двадцати лет борющихся против царской колониальной политики, расценивалось с полярно противоположных позиций. Еще в 1947 г., на дискуссии, состоявшейся в Институте истории Академии наук СССР, суждения профессора Заходера и его единомышленников об исторической прогрессивности этого движения были встречены в штыки ортодоксальными оппонентами. Гейдар Гусейнов, осмелившись затронуть столь

острый и спорный вопрос, расценивал Шамиля и мюридизм как явления исторически положительные.

Багиров же усмотрел в этой объективной и справедливой позиции, ныне не вызывающей никаких сомнений в научном мире, националистический «вирус» и взялся учить историков истории. А почему бы и нет? Если Сталин поучал лингвистов своими языковедческими трактатами, разбирался в генетике починке Вавилова, если Жданов «трактовал» музыку Шостаковича и поучал Ахматову по части служенья муз, почему бы и Багирову не помянуться с Клио с помощью компетентных и услужливых сводников?..

16 мая «хозяин», развернув свежий номер «Адабият газети», с удовлетворением читал строки совминовского постановления, переведенного на азербайджанский язык. Собственно говоря, текст ему был хорошо памятен по оригиналу, который гласил, что книга Г. Гусейнова написана с неверной теоретической и политической точек зрения, что, искажая сущность движения мюридизма и Шамиля, она преподносит их как якобы прогрессивные национально-освободительные события и демократические явления, что такая оценка искажает истинный смысл этого движения, по сути являвшегося реакционным, националистическим и служившего английскому капитализму и турецкому султану... что идеализация мюридизма в книге Г. Гусейнова — по сути выражение буржуазно-националистических шатаний и должна быть решительно осуждена...

В июле высокопоставленный «историк» разразился двухчасовым докладом на собрании бакинской интеллигенции. В итоге Г. Гусейнов был исключен из рядов Союза писателей. От должности его отстранили еще раньше. Караящая десница обрушилась и на других. Положительно отцензировавший книгу критик и ученый Мамед Ариф лишается директорского поста в Институте языка и литературы им. Низами и писательского членского билета, Мехти Гусейн — редакторства в журнале «Ингилаб ве меденият» и выводится из состава правления СП «за пропаганду буржуазного национализма в литературной критике».

Тягчайшим следствием явилась гибель Гейдара Гусейнова, вскрывшего себе вены на мардакянской даче. Самед Вургун в это время находился в Ессентуках.

— Какого сына потерял Азербайджан! — вырвалось у поэта, потрясенного услышанной вестью. — Этот палач всех нас сведет в могилу!..

В своем каннибализме М. Дж. Багиров дошел до того, что настрою запретил кому бы то ни было участвовать в похоронах ученого. Лишь в сопровождении нескольких жи-

телей поселка проводили его в последний путь на мардакянское кладбище...

«Багиров, являющийся в нетерпимой степени грубым и эгоистичным человеком, был беспощадным врагом азербайджанской интеллигенции...», пятнал и выводил из строя честных людей одного за другим... сел рознь между людьми нашей республики, затыкал рот, говорившим правду...», — скажет через три года Самед Вургун на митинге азербайджанских писателей о развенчанном и низверженном тиране. Произнеси поэт эти слова раньше — что ожидало бы его? Что бы изменилось в авторитарном режиме и в поведении республиканского сатрапа?

Не помышляя о моральной реабилитации тех, кто не нашел в себе силы встать против автократии, зададимся вопросом: как бы повели себя мы, каждый из нас перед лицом сталинской репрессивной машины?

Восставали, противились — единицы. Пусть их ряды составляли тысячи, даже миллионы. Но какой был бы прок и результат? Новые жертвы в лагерях? Можно ли было сокрушить диктатуру «снизу», голыми руками? Должны были сложиться силы и в «верхнем эшелоне» власти. Наше большое, деформированное общество не могло исцелиться и избавиться от сталинистов иным, конституционным путем.

* * *

В 1950 г. увидели свет начатые еще в лондонскую поездку «Европейские впечатления», «Ханлар» ставится на московской, ленинградской, киевской сценах. Сценический Коба еще не знает, что жизнь его реального и грозного прототипа близится к закату... «Вагиф» по-прежнему покояет сердца.

За год выходит шесть (!) книг — в Москве и Баку. Особенно его радует издание драматических произведений отдельным сборником.

Осеню рождаются первые строки поэмы «Айгюн». Правда, до полной кристаллизации еще далеко, и само название претерпело изменения — «Мать», «Невестка»...

В эти же дни в связи с предстоящей в Москве декадой в Баку приезжают Павел Антокольский и Александр Жаров. Встреча не ограничивается деловым разговором. Поэты идут к читателям. Антокольский приступает к переводу поэмы «Читая Ленина». Потом друзья вместе отправляются в столицу — на III Всесоюзную конференцию сторонников мира. Самеда Вургун избирают в Советский Комитет. Хроника событий насыщена: литературный вечер в Колонном

зале, потом — Баку, совещание молодых, доклад «Традиции Маяковского в азербайджанской литературе» и, наконец, с конца ноября по девятую декада — декада. Самед — одна из центральных фигур. Аудитория — различная и широкая: Дом ЦИКА, автозавод, Союз писателей, зал им. Чайковского...

Приятно и открывающие участие друзей и товарищей по цеху — Н. С. Тихонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, А. А. Фадеева, П. Антокольского, С. Щипачева...

«АЙГЮН»

До появления «Айгюн» в первых двух номерах республиканского литературного журнала пройдет год с небольшим.

Осенью 1951 г. дороги уведут поэта в далекую Болгарию. Болгарам особенно приятно встретиться с автором поэмы «Скамья смерти», посвященной Георгию Димитрову. Пройдет несколько лет, — и азербайджанский поэт сам станет героем поэмы Лианы Даскаловой «Последняя ночь поэта»...

Иногда он выбирался на охоту, несмотря на протесты жены: левую ногу мучил эндартерит. Не чужд он и футбольным страстям, и на ипподром успевает сходить...

Дети подросли. Юсиф вот-вот окончит школу. Айбениз и Вагиф — старшеклассники. Учатся как надо. Конечно, обожают литературу, поэзию. Да и как могло быть иначе? Быть может, глава семьи лилстил себя надеждой, что кто-то пойдет по его стопам. Но он знал и то, как трудная и тернистая стезя литературы, и потому, наверное, к родительской мечте примешивалась тревога. (Как бы то ни было, музы не захотели покинуть Векиловых. Старший сын стал известным прозаиком, младший — поэтом, а дочь — литературоведом).

...«Айгюн» была встречена печатью в штучки. Как «слабая», «вредная», «искажающая советскую действительность» — знакомые ярлыки. 13 марта — полполосы в «Коммунисте», 15 марта — в «Адабият газети». Это было похоже на залпы. Подозрительная оперативность. Статья в «Коммунисте» принадлежала перу Мирзаги Гулузаде, который, по существу, не являлся критиком, систематически занимавшимся современной литературой, а был специалистом по классике. Вот как вспоминает дочь поэта день выхода этой статьи:

«Отец, по обыкновению, встал поздно. Мы уже знали о статье в газете. Я подала ему чай. Он попросил и газеты.

Я исполнила просьбу с тревогой. Спустя минут пять-десять, войдя в комнату, я застала его за чтением статьи, нервно затгивающимся папиросой. К чаю он и не прискоснулся. Не отрывая взгляда от газеты, он произнес, как бы вопрошая: «Что это они пишут?» Лицо у него побледнело...»

Автор статьи, после анализа и критики образов, заключал: «Это произведение не отвечает идейно-художественным требованиям, предъявляемым нашей партией к советской литературе. Оттого это проистекает? Оттого, что Самед Вургун не изучил хорошо современную жизнь, созидательный труд нашей молодежи, новые нравственные качества передовой советской молодежи, не стремился отобразить жизнь на основе глубоких художественных обобщений, опираясь на старые понятия и представления... создал наудуманные образы...» В чем же дело? О чем поэма? Почему она вызвала столь резкое раздражение критики? Еще в незавершенной пьесе «Две любви» о семейной жизни, построенной на конфликте между нравственным супружеским долгом и любовью, между рассудком и чувством, поэт предпринял попытку сокрушить шаблон «положительного советского человека» и воссоздать живых, во плоти и крови людей, мятущихся, ошибающихся, сомневающих и мыслящих. «Айгюн» по-своему продолжала этот поиск.

На полюсах конфликта оказывается молодая пара. Студентка консерватории, обаятельная и скромная Айгюн связала свою судьбу с новоспеченным агрономом Амирханом, получившим назначение по распределению в совхоз. Любящая жена жертвует учебой, призванием, бросив консерваторию и отправившись с мужем в село. Увы, сельская жизнь тяготит сибарита Амирхана, привыкшего к городскому комфорту. Он вновь перебирается в город, устраивается в «теплого местечко» и окунается в излюбленную «стихию», при этом решительно пресекая желание жены возобновить прерванную учебу. Вразумения, уговоры, слезы тщетны. Айгюн любит и терзается. Ее долготерпению приходит конец. Она, прежде послушная, безропотная, восстает, покидает дом с крохой-дочуркой, возвращается к любимой музыке, к творчеству и становится композитором. К ней приходит заслуженная слава. Амирхан очнулся от угара, прозрел, но гордыня не позволяет ему пойти на примирение. В Айгюн влюбляется певец Элляр. Но Айгюн неизменно верна своей любви, она надеется на спасение очага, на возрождение союза.

Сочиненный ею романс — эхо этих душевных бурь;

Я безмятежно сердце отдала
Забывшему те дни, как старый стих...
Любовь моя дотла меня сожгла —
Воспоминанья юных дней моих!..

(Перевод М. Светлова и Л. Ададзе).

Она не препятствует встрече дочери с отцом. Прозрение Амирхана мучительно. Автор «посылает» кающегося, охладевшего к городским увеселениям героя туда, откуда он сбежал — в село, в совхоз... И обнадеживает читателя:

Мы их оставим у порога
Счастливой жизни. Им — туда!
А передо мной опять дорога
Мечты, раздумий и труда...

Сюжет, на первый взгляд, традиционный. Но не будем забывать, что проблема духовного раскрепощения, социального и творческого самоутверждения женщины в Азербайджане стояла особенно остро и не была снята. В этом — нерв драмы. Айгюн, в известном смысле, духовная преемница, современная сестра знаменитой Севиль из одноименной пьесы Джафара Джаббарлы. Севиль, человек двадцатых годов, восстала против непутевого мужа — жуира и приобщилась к активной, деятельной жизни, сбросив ненавистную чадру. Айгюн представляет другой рубеж, другой уровень духовного роста женщины-азербайджанки, она не просто труженица, она — творец.

Критики не захотели увидеть жизненный нерв поэмы, ее лирическую проникновенность, благородную одухотворенность, очарование поэтической палитры. Памятуя о жанре этой книги, мы не вдаемся в подробный анализ поэтических свойств «Айгюн». В данном случае не менее существен характер, тон, арсенал и позиции поэта и критика, вступивших в полемику, — в них реальная картина литературного и идеологического климата тех лет...

Самед Вургун пишет ответную статью под названием «Литературный кризис М. Гулузаде». Выбор оппонента объясняется тем, что критические претензии этого автора были резче, радикальнее по духу, нежели отзыв Мамеда Джафара.

«...Прежде чем высказать свое мнение о поэме, мы должны ответить на ряд клеветнических измышлений...

Первое: «Партийная печать и наша литературная критика своевременно указали на случаи отдаления Самеда Вургун в некоторых произведениях, особенно в пьесе «Человек», от жизненной правды, реализма, склонности к отвлеченной романтике. Однако, видно, Самед Вургун не сделал надлежащих выводов из этой партийной критики».

Наши читатели прекрасно знают, что после пьесы «Человек» мы написали поэмы (идет перечисление—авт.), наконец, цикл стихов «Европейские впечатления». Гулузаде сам в своей статье признает то, что эти произведения — положительное явление. Однако, лукавствуя, он не указывает, что эти произведения написаны после партийной критики относительно «Человека»...

Второе: Гулузаде, притча за Белинского, преподносит нам «урок культуры». Он пишет, что Белинский считает недостаточным природный поэтический талант, требует от поэта и высокой культуры, и полнокровного содержания; Самед Вургун же «не осознал глубоко эту простую истину»...

Представлял ли Гулузаде, когда писал эти слова «...все творчество автора в совокупности?». Такие критики, по мнению поэта, «забывают о том, что культура у Белинского и у Добролюбова, и у Ахундова была прежде всего культурой творческой. И потому отторгать, отъединять культуру поэта от его творчества само по себе бескультурье и невежество».

Третье: Гулузаде недоволен тем, что Айгюн с целью не разрушать семью, сохранить любовь временно идет на ряд уступок перед своим мужем... Верно, Айгюн идет на определенные уступки мужу... Но разве она не борется за свои мечты и деятельность? Когда и где Айгюн спокойно ложилась спать? Почему критик, видя определенные уступки Айгюн, умалчивает ее законные протесты против Амирхана, стремится утаить их от читателей?..

Гулузаде... приходит к такому заключению: «Разве причина этого не в устаревших взглядах автора в отношениях к женщине, превратном понимании идеи упорочения семьи?»

Конечно, нет.

А сложный путь постепенного восхождения Айгюн и с радостями, и с терзаниями? А то, что она в итоге, независимо от мужа, с помощью нашей социальной действительности, стала прекрасным композитором?.. Ведь мы не призывали Айгюн... быть только лишь домохозяйкой, предоставляли ей широкое общественное поприще...

...Это ли «беспомощность», «устарелость» и «отсталость» Айгюн?

Четвертое: еще один из общих выводов Гулузаде то, что, якобы, «Самед Вургун в поэме «Айгюн» отступил от принципов большевистской партии, от принципов социалистического реализма».

Разве борьба за прочную семью, за торжество любви, тщеславия, бездельности... — не из важнейших задач советской литературы, социалистического реализма?»

Гулузаде пишет: «Почему же эти недостатки Амирхана не смогли исправить средняя школа и вуз?»

Гулузаде этим же вопросом отрицает существование амирханов в нашей жизни: дескать, поголовно все обучающиеся в советской школе свободны ото всех недостатков и изъянов».

Далее следует саркастический пассаж: «Если с этой важной задачей... должны справиться только лишь школы, отдельные коллективы и организации, то в чем же заключается активное и воспитующее воздействие литературы и искусства на жизнь?... Если искоренение явлений, отсталости и уродства, чинящих преграды нашему развитию... достигалось бы очень легким и простеньким штампом, оставалась бы необходимость серьезной борьбы в жизни?»

Поэт убедительно и логично опровергает и прочие претензии. Мы так подробно останавливаемся на этой полемике еще и потому, что она раскрывает творческую позицию поэта, его бунт против «теорий», проповедовавших вульгарное отношение к трактовке положительного героя, бунт во имя многосложного, живого воспроизведения борений и диалектики человеческой души, против плоского, однобокого, «черно-белого» изображения.

Но... поэту не удается напечатать ответ ни в «Адабият газети», ни в «Коммунисте». В первой из редакций уклоняются от публикации под тем предлогом, что поскольку критическая статья помещена в партийном печатном органе, то и бишь отвечать положено на его страницах. А в «Коммунисте» не соглашаются с резким духом статьи, дескать, «мы готовы напечатать, но надо поработать над ней». Поэт хорошо понимает, какой переработки от него ждут. Но как же иначе ему было отвечать на огульную критику и политические обвинения?..

В апреле на заседании правления СП обсуждается работа журнала «Ингилаб ве мединет» («Революция и культура»). Был сделан маневр, которым завуалировали атаку на поэта. Дескать, в журнале в последнее время печатаются слабые произведения. Для отвода глаз прошлись по стихотворению Махеда Рагима и ряду произведений Мир Джаалала, но главной мишенью была «Айгюн». Самед отставляет свое творческое решение. Мехти Гусейн и Зейнал Халил защищают поэму, пытаются оградить ее от превратных истолкований.

Но спустя около двух месяцев на писательском пленуме сам автор, видимо, под давлением каких-то обстоятельств, оказывается вынужденным признать «справедливость» критики. И заступники поэмы и опубликовавший ее редактор журнала Абульгасан каются.

Что же произошло за пару месяцев, что и поэт, и его наиболее решительные ревнители так неожиданно отступились?

Еще на апрельском обсуждении от Самеда требовали публичного покаяния. Руководители писательского Союза намекали на то, что таково и мнение «наверху».

Один из сотрудников редакции «Коммуниста» между делом дал понять Самеду Вургуну, что о разносторонней заранее знал ряд товарищей в ЦК. И, будь их «добро», можно опубликовать и ответ. Не добившись «добра», поэт пытается обратиться к «самому». Ему передают, что «товарищ Багиров не может принять его из-за чрезвычайной занятости». Самед догадывался, что это просто отговорка. Вместе с тем он еще питал надежду, что сможет переубедить «хозяина» при встрече. Официальное заявление на имя «секретаря ЦК ВКП(б) Азербайджана» гласило:

«...От 13 марта в... газете «Коммунист» напечатана двухподвальная статья М. Гулузаде по поводу моей новой поэмы «Айгюн». Общий и «наступательный» дух этой статьи ничего общего не имеет с идейным началом моей поэмы, творческими замыслами и идеалами автора...»

Читаем дальше: «Статья являет пример ужасной теоретической отсталости, проповедующей вредные, давно устаревшие штампы...»

«Эта моя внутренняя творческая убежденность дает мне моральное основание выступить в нашей печати с ответной статьей, говорить не только о данном конкретном произведении, но и ряде творческих и теоретических вопросов нашей литературы.

Но ввиду того, что статья Гулузаде написана и напечатана с согласия ряда работников ЦК партии, я считаю правильным и этичным опубликовать мою ответную статью тоже с ведома ЦК партии, лично Вашего.

Вот почему я хотел поведаться с Вами... но мне ответили, что Вы загружены и не можете меня принять.

Я вторично обращаюсь к Вам с большой просьбой уделить определенное время для окончательного разбора этого...»

Последние две фразы кажутся автору письма несколько неудобными. Он зачеркивает их. Формулирует мысль иначе:

«Если Ваша загруженность не дает Вам возможность принять меня, то убедительно прошу Вас дать указание создать авторитетную партийную комиссию для окончательного решения... спора».

Надежды оказались напрасными. Теперь уже не оста-

есть места сомнению: статья инспирирована «самим». Поэт Зейнал Халил, бывший в курсе всех перипетий этого дела, вспоминал: «Стало ясно, что в публикации этой статьи М. А. Гулузаде являлся лишь подставной фигурой. Статья была написана с целью запятнать, изничтожить Сamedа Мир Джафаром Багировым и его ближайшими подручными...»

Не только Сamed, но и никто из возмущенных и переживавших сотоварищей не могли выступить в печати.

Сamed оказался в безвыходном положении. От него требовали реакции. Друзья судили-рядили, как быть. Как-то вечером Осман Сарывели, Мехти Гусейн и Зейнал Халил собрались у поэта.

Преподнесенный чай еще дымился в стаканах. Тягостное молчание нарушил Мехти Гусейн:

— Что ты решил, Сamed?

— Бежать, — серьезно произнес поэт после мгновенной заминки.

— Что ты говоришь? Как — бежать? Куда бежать?

Подойдя к письменному столу, Сamed взял листок и зачитал вслух: это был текст телеграммы, адресованной М. Дж. Багирову. Суть ее сводилась к тому, что С. Вургун признает ошибки, содержащиеся в поэме, и в ближайшем будущем испугит свою вину новыми произведениями...

— Вот мое богатство. Согласны?

— Пока, пожалуй, это лучший и вернейший выход из положения...

Поэт горько усмехнулся.

— Я еще нужен своему народу. И лучшие мои произведения — еще впереди. Вчера мои супостаты заклевали «Человека», сегодня — «Айгюн»... А что завтра? Я больше верю в завтра. Это так не останется, не может остаться. Время свершит правый суд. Есть народ, есть партия... Я верил и верю в это... Но сейчас нужно вот так. Я-то сам — еще полбеды. А вы? Как только они сожрут меня — и за вас примутся...

После телеграммы руководителю республики на июньском пленуме Союза писателей автор «Айгюн» и его друзья выражают свое «согласие» с критикой поэмы... Но ей крепко достается и на сей раз: и в докладе председателя, и в прениях. Это нашло отражение и в резолюции: «Журнал совершил ошибку, опубликовав поэму...», содержащую ряд серьезных идейных просчетов: поэма построена на ложных представлениях о моральных качествах, чаяниях и духовном мире советских людей, личная жизнь героев показана в отрыве от общественной и как их личное дело (?!—авт.).

В поэме отображаются отсталые взгляды на семью, дружбу и любовь...

...племени осудил то, что товарищи, писатели Мехти Гусейн и Зейнал Халил, ради дружбы закрыли глаза на идейные просчеты поэмы... незаслуженно хвалили эту поэму, а также «...грубые нападки товарища Зейнала Халила на критикующих...»

Конечно, все это омрачало жизнь, причиняло душевную боль. Как было и в тридцать седьмом, после весенних и летних «громов», поэт с семьей уезжает на Минводы, чтобы передохнуть, оправиться от пережитого. В тридцать седьмом он с головой ушел в перевод «Витязя в тигровой шкуре». Теперь, летом 1952 г., он пишет поэму «Знаменосец века». Он еще не забыл трагедию Гейдара Гусейнова. Он вынужден вновь доказывать свою «благонадежность».

23 сентября открывается девятнадцатый съезд коммунистов республики. И на этом съезде, последнем для «хозяина», он продолжает закручивание гаек в отношении творческой интеллигенции. Он говорит, не стесняясь в выражениях, инвективным тоном; отдельно останавливается на своих последних жертвах — книге Г. Гусейнова и эпосе «Книга Деде Горгуд». В адрес отдельных писателей, композиторов, режиссеров летят эпитеты из традиционного лексикона «хозяина»: «бескультурный», «безграмотный», «неумелый». Сamed Вургун, выступавшего на трибуне, секретарь перебивает злоеющей репликой: «Ты немедленно должен начать с азов коммунизма, иначе пропадешь».

Читая «Знаменосца века», невольно испытываешь ощущение, что ее автор словно предчувствовал подобные багировские обвинения. И исповедальные строки, которые мы приведем ниже, как бы произнесены в ответ на эти угрозы. (В переводе П. Антокольского они опущены).

Хоть речь о ста поколениях веду,
Я не смогу отрешиться от нынешнего дня.
В великое коммунистическое завтра
Не вспоминаю просто я войду.
Народ продлит поэта жизнь...

Фрагмент поэмы (в первых печатных вариантах под заглавием «Великие дни») был опубликован в начале сентября в «Азербайджан гянджлери», после партсъезда ряд отрывков напечатала «Адабият газети». Увы, полностью опубликовать «Знаменосца...» поэту не удалось. Поэма была дана на отзыв чиновнику, не имеющему никакого отношения к литературе. Ясное дело, тот «зарубил» поэму — по указке.

9 марта 1953 г., спускаясь по трапу в аэропорту Внуково, Самед Вургун с дочерью почувствовали морозное дыхание русской зимы, еще не желавшей уступить права весне. После бакинской теплоты контраст был разительным. Шуба, в которой на юге не было особой нужды, здесь дочери пригодилась.

Такси помчалось в город, закружились в белом хороводе подмосковные березы. Заснеженная Москва встретила их чернеющими траурной каймой знаменами, портретами в муаровых лентах. Пять дней, как страна оделась в траур, — не стало «бессмертного вождя».

Водитель такси, сообщивший пассажирам о прекращении движения в центре, высадил их у станции метро.

До гостиницы «Москва» пришлось добираться подземкой. Доехали — эскалатор отключен. Понадобилось показать депутатскую книжку.

Вышли на улицу — поразила гнетущая тишина.

— Никогда я не видел Москву такой.

Погода, спустившись пообедать в ресторан, Самед увидел старых друзей — Александра Корнейчука и Ванду Василевскую. Встреча помогла немного оттаять сердцем. В столицу съезжались люди со всех концов страны.

После обеда они направились в Дом Союзов. Народ прошался с «вождем». Бесконечный людской поток.

Отец и дочь повязали себе на предплечья по черной ленте и прошли в Колонный зал. Айбениз, поджидавшая отца, присоединилась к комсомольцам из Грузии и постояла в карауле с ними.

10 марта балъзамированное тело заняло место рядом с Лениным в Мавзолее...

Другой большой поэт в другое время с беспощадной точностью и правдой скажет о переживаниях этой поры:

...Мы все как будто постарели —
Нет, повзрослели — в этот час.
...В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца...

(А. Твардовский «За далью даль»).

15 марта Самед Вургун участвовал в сессии Верховного Совета СССР, обозначившей перемены в руководстве государством и признавшей необходимость сосредоточения

реальной власти в руках Советов. Хотя решением Политбюро на пост генсека был рекомендован Н. С. Хрущев (уже исполнявший эти функции), официально он будет избран на этот пост в сентябре. Политическим лидером до поры до времени оставался Г. М. Маленков, возглавивший правительство.

Что же происходит в республике? М. Дж. Багиров, почувствовавший перелом в политической погоде, делает шаг, подлаживаясь под нее: в апреле он меняет кресло первого секретаря на кабинет председателя Совмина республики, хотя и отнюдь не желая выпускать бразды единоличного правления из рук.

Чувство искренней скорби, смятения, охватившее миллионы людей, постепенно сменяется решимостью созидать, строить, крепить великую и родную державу, осознанием личной ответственности за ее грядущую судьбу. Для полного прозрения еще требуется время. Но жизнь берет свое. По стране идет весна. Из-под пера поэта льются воодушевленные строки, исполненные надежды и жажды творчества, деятельного участия в жизни народа. Родается целый цикл.

...Как зерна, мы скроемся в пашне до срока
И встанем колосьями нивы широкой.
Раскинем платанов широкую сень
И в Мильской степи, и в песчаной Мугани...

Но на душе отнюдь не безоблачно, как может показаться по этим бодрым строкам. В те же весенние дни рождаются стихи, разительно отличающиеся по тону от цикла: «Есть и такие», где видны сатирически-язвительные краски:

Не творил он и не строит.
Судит он творцов с пристрастием.
Им ловушки, ямы роет,
Разбивает жизнь на части.

(Перевод Т. Стрешневой).

Поэт словно предчувствовал, что «пристрастные судьбы» еще не унялись и расставляют новые «ловушки».

«НОЧЬ БЕРЕМЕННА, ПОСМОТРИМ, ЧТО УТРОМ
НАРОДИТСЯ...»

...В последнее время его дожимала боль в ноге. Наконец, жене удалось уговорить Самеду заняться лечением. Поэт вместе с другом Мехти Гусейном отправился в сочинский санаторий. Письма из дома не давали повода для бес-

покойства. Брат Мехтихан Векилов с Османом Сарывелли навестили его семью. Первой встречали вместе. Юсиф и Айбениз готовились к экзаменам. Старший сын, судя по всему, школу окончит с золотой медалью...

И лечение шло своим чередом. Если б не внезапный телефонный звонок из Баку — опрокинувший все планы...

— Сamed, «дядя Мирза» очень рассержен на тебя, — тревожный далекий голос жены. — Приезжай поскорее...

Он догадался об иносказании насчет «дяди Мирзы», но не в силах сдержать досады, начисто забыл о всякой «конспирации».

— Понял... ты о Багирове... Он все ходит с корытом крови на голове... Но корытце-то об его голову и разобьет-ся... Чтоб ему...

Самообладание изменило ему. Он ввернул крепкое слово по адресу своего гонителя. Голос жены на том конце провода прозвучал умоляюще:

— Сamed... возьми себя в руки... — И она поспешила повесить трубку.

Причиной тревожного звонка были события последних дней. Как-то Айбениз, отправившаяся поутру в магазин, вернулась в слезах:

— Люди говорят, что отец арестован.

Хавер ханум попыталась ее успокоить, мол, мало ли что болтают досужие языки. А у самой сердце захолодело. Последующие события усугубили ее тревогу. Пьесы С. Вургун снимались с репертуара, книги изымались из библиотек... Это были уже не слухи.

Сamed Вургун после телефонного разговора пытался разобраться, что могло вызвать новый приступ злобы «хозяина». Эти приступы, собственно говоря, его не удивляли. Не впервые он впадал в немилость. Особенно — после сорок восьмого года. «Громовержец» всячески третировал его, не упуская случая прилюдно перебить, ужалить, уязвить. Дошло до того, что на собрании бакинской интеллигенции в своей речи «хозяин» позволил себе такой разнузданный и клеветнический пассаж: «Сamed Вургун — националист, пантюркист, панисламист. Он такой же тип, как Дадаш Бунятзаде,* с той лишь разницей, что у того глаза черные, у него — карие. В подтверждение того, что он националист, я приведу один факт: у него трое детей, и все учатся в азербайджанской школе...»

*Д. Бунятзаде (1888—1938) — известный деятель партии и государства, павший жертвой репрессии.

Оскорбленный поэт попросил слова и, выйдя на трибуну, с достоинством сказал: «...Все знают, что я советский поэт, молодость моя прошла в рядах комсомола, в борьбе, на протяжении всего своего творчества я воспевал народ, родину, партию. В моих произведениях нет и не может быть никакого национализма, — это хорошо знают и мои читатели, и сидящие здесь в зале. А насчет учебы моих детей в азербайджанской школе я хочу сказать следующее — товарищ Багиров забыл о том, что я — поэт, и для меня было бы трагедией, если бы мои дети читали меня только через переводы...»

Так чем же он «не угодил» Багирову на сей раз?

Отмена спектаклей, негласное изъятие книг... — это еще полбеды. В довершение ко всему «хозяином» был уже поднят ордер на арест. Да, ордер на арест. Верно сказано: нет дыма без огня. Значит, слухи, ходившие по городу, имели свои корни. «Дракон» готовился поглотить свою жертву. Но прежде надо было подготовить «общественное мнение», дискредитировать поэта, уверить народ, что «простокваша черного цвета».

Что же вменяли ему в вину на сей раз, какие смертные грехи, какой криминал?

В статье «Права поэта», опубликованной 12 мая в «Литературной газете», сквозит боль художника, верного своему кредо и наталкивающегося на догматическое и предвзятое толкование критики.

«Мне, на моем поэтическом веку, не раз приходилось испытывать чувство горечи от того, что иные литературные судьи не понимали моих творческих устремлений, смысла и сущности романтической приподнятости, горячим приверженцем которой я остаюсь и до сих пор».

Чиновников от литературы и самого «хозяина» выступления поэта интересовали, скорее всего, как источник, который можно было бы использовать путем превратного толкования, как «компромат», «улику». Между тем, в печатных и изустных выступлениях С. Вургуну речь шла о серьезных заботах творческого процесса, о теоретических проблемах. Еще в февральском номере «Октября» он опубликовал статью «Вопросы большого искусства», где высказал свои суждения о типическом, об идеальном герое, национальном характере, романтическом воплощении жизни, вызвавшую полемический ответ Е. Горбуновой в апрельской книжке того же журнала — «О некоторых вопросах теории социалистического реализма», где автор оспаривала тезисы и доводы С. Вургун, в частности, его мысль о «сознательном увеличении образов и явлений». Конечно, это условие, естественное при романтической поэтике, не обязательно для

линых случаев и в целом для реализма. Оппонент же усмотрела, что сама постановка вопроса «носит у Самеда Вургуня абстрактный характер» и он «обходит главное требование социалистического реализма — конкретно-исторический подход к действительности, ее правдивое изображение во всем богатстве и многообразии, в ее революционном развитии». По мнению Е. Горбуновой, «и самый образ этого «большого» героя, и художественная форма этого «большого» искусства выводятся им не из действительных условий жизни советского народа, а из литературных источников и стилистических приемов, субъективно наиболее близких поэту Самеду Вургуню».

Вслушиваясь в этот давний теоретический спор с рубежей наших дней, мы заметим, что в словах оппонента был свой резон: да, художественные формы искусства, его герои должны выводиться «из действительных условий жизни советского народа». Но, другое дело, что представлявшая и обнаженная ныне правда об этих «условиях жизни» куда сложнее, горше, внушительнее, чем ее тогдашнее литературное преломление, за исключением считанных попыток приблизиться и показать ее... То, что в страстном призыве поэта к созданию монументального искусства автор усматривала опасность абсолютизации индивидуального подхода, также имело под собой почву. Хотя поэт и не абсолютизировал свой принцип и не упускал из виду творческую индивидуальность, идея о монументальном искусстве вольно или невольно отдавала духом официальной «директивной» эстетики, призванной служить ложной апологии общественного благоденствия. Именно по логике этих эстетических постулатов за бортом «признанной» советской литературы оказались поэзия А. Ахматовой, Б. Пастернака, проза А. Платонова и другие крупные явления.

В «Правах поэта» Самед Вургун возражает на такое истолкование: «Я вовсе не хочу сказать, что романтическая приподнятость стиля обязательна для творчества всех, без исключения, поэтов, вне зависимости от их поэтической индивидуальности. Утверждать это — значит попасть в плен схоластики, с которой я воюю».

Не будем вдаваться во все детали этого теоретического разговора. Остановимся только на одном принципиальном вургуньевском суждении, связанном с дальнейшей инвективной «интерпретацией». Речь идет о трактовке самобытного национального начала в творческих воплощениях, которые вульгаризаторами механически сводилось к языковым различиям и размывалось ими под умозрительным общесоветским знаменателем. Дескать, поскольку все народы страны

объединены общностью идеалов, живут общими думами и чаяниями, строят коммунизм, то говорить о каких-то определенных различиях не приходится. Такая ложная предпосылка означала не что иное, как нивелировку реального духовного, психологического бытия народов. «...разве русский, вдохновленный идеями коммунизма, перестает быть русским? — резонно писал поэт. — Наоборот, он еще сильнее, еще глубже раскрывает себя как русский характер. Только в национальной форме и может развиваться социалистическая культура. Путь к будущему — это путь расцвета наций, национальных языков и национальных культур».

По С. Вургуну, национальный характер не может не отразить в себе исторически сложившиеся обычаи и традиции народа, национальный образ мышления, психологию, мировосприятие, — в противном случае речь может идти о чем-то общем, «шаблонном» и «схематичном».

Эти истины были истолкованы чиновными недоброжелателями как идеологическая ересь. Снова сработал нехитрый механизм, валивший все с большой головы на зловую. Появилась не без указующего перста коллективная статья «Долг советского поэта» за подписями трех поэтов, дважды в мае обсужденная и скорректированная руководством писательского Союза республики и направленная в «Литературную газету». «Самед Вургун неверно, немарксистски представляет себе понятие о «национальном характере». С упорством, достойным лучшего применения, он всячески подчеркивает, оттеняет «веками складывавшиеся навыки, традиции, вкусы, привычки», «особый образ мышления и мировосприятия» отдельных наций, игнорируя, главное, то, что роднит все наши социалистические нации.

Ведь известно, что среди этих «веками выковывавшихся» традиций, вкусов, привычек и т. д. были такие, которые являлись пережитками феодально-патриархальной жизни и мировосприятия, которые сегодня глубоко чужды духу нашего народа, как олицетворение отсталости и национальной ограниченности».

Так, одним махом, оппоненты выплеснули с водой и младенца. Если есть отжившие традиции, долой всякие разговоры о национальной самобытности: сходным образом рассуждали ревнители вульгарного социологизма в 1920 — 1930 гг. Этот письменный демарш вызвал недоумение и в редакции «Литературной газеты». Сотрудник редакции на-

* Не называем их по определенным этическим соображениям. Суть, в конечном счете, не в именах (авт.).

пишет С. Вургуну: «Сейчас, когда такое внимание уделяется развитию коренных языков, культивированию национального самосознания, Ваши противники вздумали вдруг отрицать национальную специфику. Вот уж что значит на похоронах петь чужих».

Конечно, вургунские статьи и в «Октябре», и в «Литературной газете» содержали резкий полемический заряд, и в них было немало моментов, дающих повод для споров. Выше мы их частично коснулись. И нет ничего необычного в неоднозначной реакции литературного мира. Однако в отличие от выступления «октябрьского» оппонента, статья «Долг советского поэта» была полна передержек, содержала уже претензии идеологического, политического характера...

...За несколько дней до короткого взвинченного телефонного разговора с Баку поэт получил письмо из Москвы, датированное днем публикации «Правда поэта». Сотрудник отдела национальных литератур Юрий Карасев воодушевленно сообщал о статье, что «...значение ее трудно переоценить. В редакции она имела страшный успех: Симонову очень понравилась, а другие иначе не говорили о ней, как о замечательной, прекрасной и т. д. Одна из ведущих сотрудниц сказала даже: «Вот как надо писать...»

До выхода статьи С. Вургун телеграммой просил ничего не менять в ней. Письмо Карасева информировало автора о максимальном соблюдении целостности текста: лишь завершающий фрагмент в последний момент был опущен самим К. Симоновым, как содержащий тему для отдельного разговора.

«Извините, что нарушаю своими письмами Ваш отдых, но я придаю этой статье немалое значение и хочу обо всем поставить Вас в известность.

Отдыхайте, поправляйтесь...»

Карасеву, писавшему эти delicate слова, не могло и в голову прийти, что отдых поэта будет нарушен и омрачен неожиданным образом.

...Мехти Гусейн позвонил в Баку Осману Сарывелли и вызвал кое-какие обстоятельства дела. Теперь уж было не до лечения. Надо бы возвращаться в Баку. Но Сamed, похоже, не спешил домой. Сперва они отправляются в Тбилиси, гостят у Георгия Леонидзе. При встрече с грузинскими собратьями по перу Сamed ни словом не обмолвился о нависшей над ним опасности. Напротив, он выглядит оживленным, как обычно, не упускает случая пошутить, увлеченно говорит о поэзии, восхищается поэмой Леонидзе «Портохала». Герония этой поэмы — грузинская женщина — напоминает ему незабвенную мать.

— При чтении этой поэмы перед взором моим оживает моя несчастная мать Махбуба ханум. Многие стихи я посвятил ей, но, признаться, еще не смог поднять эту бесконечно дорогую сердцу тему на уровень высокого обобщения, как в твоей поэме...

Сamed Вургун говорит о мудрости поэзии своего друга, ее афористическом чекане.

— Гоголо, наши с тобой музы — родня... — улыбается он.

— Сamed, мы ведь оба — дети Куры...

Они навестили и других тбилиских друзей. Потом их путь пролегал в село Садахлы, что в Борчалинском (ныне Марнеульском) районе, ну и, конечно, как же им миновать родной Газах!..

Да, поэт явно не спешит в Баку.

В Баку он узнает о коллективном письме в «Литературную газету». Участвовавшие в обсуждении письма сотоварищи, зная о подоплеке дела и не решаясь заступаться за поэта открыто, все же добились смягчения тона и изъятия из текста ряда несправедливых обвинений и претензий.

Сулейман Рагимов, например, говорил: «Сейчас надо уточнить: хотим ли мы помочь товарищу Сamedу Вургуну или нет? Если да, то надо сказать, что статья написана нервозно. Надо критиковать объективно. Мне кажется, что надо исключить из статьи такие выражения, как «копеечная хитрость» и др. Критика — это помощь... Эта статья не должна носить тон иронии...»

Готовится и другой удар. В сатирическом журнале «Кирпи» художнику Наджафули поручают нарисовать карикатуру на поэта, подкавав даже сюжет...

Подсказка была связана с тем, что Сamed Вургун заступился в своей статье за молодого тогда поэта Зейнала Халила, несправедливо заподозренного в лирическом «ячестве»; при этом С. Вургун напомнил печальную память нападки на Маяковского, которого «наглые демагоги» обвиняли «в субъективизме, в нескромности: по их мнению, он слишком навязчиво повторял в своих стихах «я»... А ведь лирическое «я» Маяковского не содержало в себе ни грамма субъективизма... В его поэтическом «я» были воплощены думы, чувства народа, его чаяния и идеалы.

Карикатура планировалась таким образом: Сamed Вургун с помощью домкрата поднимает миниатюрного подзащитного на уровень монументального Маяковского...

Поэт, прослышавший об этой затее, случайно встретился на улице с молодым карикатуристом. Поздоровались.

— Сынок, я не гожусь в карикатуру...

Сконфуженный художник не смеет поднять глаз. У него у самого, как говорится, на душе кошки скребут. И редактор нажимает, торопит, и совесть грызет... Художник мог бы сказать — пусть не для того, чтобы обелить себя, а в утешение поэту, что в воспроизведенном рисунке он всячески избегал портретного сходства, дважды карикатура возвращалась на «доработку», но и новый вариант он соби-рался сделать в духе прежних...

На июньском отчетно-перевыборном партсобрании в писательском Союзе не преминули завести речь об «идейно-теоретических ошибках» в вулгуновских статьях. Страсти разгораются настолько, что забываются подчас этические нормы... Один из выступающих литераторов, обращаясь к поэту, винит и его, и Симонова, напечатавшего «крамольную» статью.

Самеду тем более тяжело слышать обвинения, что все происходит в присутствии Хавер ханум, состоящей на партучете Союза писателей.

Благо, молодой секретарь райкома занимает сторону поэта, осаживает неправедный хор хулителей. Это был Шихали Гурбанов — сам по профессии писатель и литературовед.

— Не стыдно вам обрушивать на уважаемого поэта всякую пришедшую в голову брань? Причем, при нашей сестре (он имел в виду Хавер ханум)? Если сегодня отношение у товарища Багирова к Самеду Вургуну прохладное, так можно говорить, что вздумается? А если завтра у них отношения наладятся — в каком же положении окажетесь вы?..

После собрания, спускаясь по лестнице, поэт взял под руку секретаря райкома:

— Ты, сынок, еще молод, как бы из-за меня и тебя не стали мучить. Ты не бери в голову, мне-то не привыкать, переживу.

Но в разговоре с братом Самед не может утять тревоги:

— Знаешь, Гара, похоже, меня съедят.

— Запасись терпением. Поглядим, как-то оно обернется.

— Не такой кол они вколотили, чтоб расшатать...

Мехтихан после минутного раздумья приводит фарсидскую поговорку:

— «Ночь беременна, посмотри, что утром народится». Вспомни, как было с Вагифом...

В 1797 году захвативший Гарабахское ханство Ага Мухаммед шах Гаджар бросил в темницу Вагифа и повелел

казнить его. Шла пятница — день поклонения у мусульман — и казни отложили на день. Когда один из приближенных шаха осыпал схваченного поэта непотребной бранью, тот ответил упомянутой фарсидской поговоркой. И, действительно, в ночь заточения поэта шах был убит заговорщиками из своей свиты, и Вагиф обрел свободу...

Коллективная статья «Долг советского поэта» была обсуждена в отделе, затем на редколлегии «Литературной газеты». К. Симонов полагал, что с критикой отдельных неудавшихся произведений поэта (а у кого их не бывает!) можно было бы согласиться, но тон статьи недопустим, и в таком виде ее решительно нельзя напечатать. Решили пригласить авторов на очередное заседание редколлегии 9 июня и заново обсудить статью с их участием.

Вот уж, действительно, никто не ведает, чем разрешится «беременная ночь!» Произошло неожиданное событие. В те же июньские дни был смещен с поста и арестован Л. П. Берия.

В Азербайджане, как и во всей стране, для многих не было тайной, что именно сей кровавый временщик являлся покровителем М. Дж. Багирова в центре, и если покровитель за решеткой, то, значит, и дни его республиканского сатрапа сочтены...

Естественно, что авторам статьи не понадобилось ехать в Москву на редколлегию, и статья ушла в архив.

На исходе испытаний, стоивших ему нервного напряжения, терзаний и бессонных ночей, поэт отвел душу стихотворением «Лиходей» (в подлиннике: «Вероломец»):

Одному подметки ты лизал,
Сотню — словно бешеный терзал,
Ум губил и душу истязал.
Пал и сгинул «шеф» твой, лиходей.
Ну, каков теперь-то кейф твой, лиходей?

Две ледышки, две стекляшки вместо глаз.
Уродился ты на свет в недобрый час.
Скольких задущил безвинно среди нас?
Пал и сгинул шеф твой, лиходей.
Ну, каков теперь-то кейф твой, лиходей? —

...Словно нож, затачивал ты ложь.
Жег сердца, клеймил, вгоняя в дрожь.
Рушил кровы, очаги, и что ж...
Пал и сгинул шеф твой, лиходей,
Ну, каков теперь-то кейф твой, лиходей?..

«ПОЭТ, КАК РАНО ПОСТАРЕЛ ТЫ...»

Чем больше чернили его «штатные ругатели» (выражение Юрия Карасева), тем гуще становилась белизна его непокорных, выходящих волос. Он, «птенцом выпавший из гнезда», познал всю горечь ранних утрат, несправедливых ударов судьбы, и он же познал всю радость и счастье всенародного признания и любви. Успел познать...

Шел 1954 год. «Штатные ругатели» умолкли. В июле был арестован М. Дж. Багиров, к тому времени уже отстраненный от руководящих функций в республике и переведенный на должность областного ранга в РСФСР. До поры, до времени... И вот теперь пробил час возмездия. «Хозяину» предстояло держать ответ перед судом народа.

В феврале на съезде коммунистов республики Самеда Вургун избирают в члены ЦК.

Еще недавно, с трибуны предыдущего съезда ему приходилось выслушивать поношения и угрозы всесильного секретаря. Теперь с этой же трибуны он говорил об уроне, преступно нанесенном национальной культуре багировским режимом.

В марте он избирается депутатом Верховного Совета страны.

Отныне ему не придется тратить силы и энергию на защиту от непредсказуемых ударов. Он сможет всецело посвятить себя творчеству, осуществлению несбывшихся замыслов. Он сможет «петь во весь голос».

Он спешит обрадовать своего друга Фадеева, находившегося на лечении в Кремлевской больнице.

«Мои дела сильно наладились... Морально чувствую себя прекрасно. Я сильно хочу видеть тебя..., если, конечно, разрешат твои врачи».

Еще не ведая о роковом недуге, подстерегающем его самого. Он стремится вселить силы и укрепить дух своего занемогшего друга.

«Я знаю, что ты написал это письмо (речь идет о фадеевском письме в связи с пуском Мингечаурской ГЭС — авт.) из больницы..., тон твоего письма вырисовывал перед моими глазами твой бодрый образ, и это для меня самое большое счастье, что твоё лечение идет так благополучно!»

Алексей Александрович обрадовал нас всех на предвидимое тем, что ты хочешь завершить к весне свой новый роман. Все мы, твои друзья и коллеги, горим желанием, чтобы ты поднялся на трибуну нашего съезда не только со

* А. А. Сурков.

своим умным докладом, но, главным образом, своим новым романом. Это будет для всех нас большим праздником».

...Им обоим — адресату и автору письма остается жить два года...

Поэт мечтает завершить поэтическую драму о событиях семнадцатого года, о жизни Ленина, «Комсомольскую поэму», подготовить лирическую книгу.

Фадеева ждут ненаписанные главы «Черной металлургии»...

Самед Вургун за два года успеет написать шесть картин пьесы «Великие друзья».

Читатели торопят с «Комсомольской поэмой».

«Самед полусулит, полусерьезно отвечает:

— Не хочу торопиться. Это для меня так же дорого, как «Онегин» для Пушкина, как «Фауст» для Гете...

Лишь весной 1955 г. поэт, вновь обойдя горное приключение, дороги своей юности, сможет написать главу «Окружение», навести кое-какие «логические мосты» между главами. Но, тем не менее, произведение останется незавершенным. Через год в одной из бесед он скажет: «Моя работа в этом году будет, в основном, над «Комсомольской поэмой». Много раз я давал обещание читателям. Непременно надо завершить поэму».

Но тяжкая болезнь сделает эту мечту несбыточной. Выстроить отдельные главы в последовательный ряд, издать поэму отдельной книгой, — этот труд бережно и благородно исполнит О. Сарывелли после смерти своего друга...

* * *

В жизни страны, республики происходят значимые перемены. Общество избавляется от наслонений и пут сталинизма.

Новое руководство республики заботит, прежде всего, курс на обновление страны, развитие национальной культуры, экономики. Во главе ЦК стоит поистине интеллигентный и компетентный руководитель — академик Имам Мустафаев.

Меняется отношение к творческой интеллигенции. Избрание писателя Мирзы Ибрагимова председателем парламента республики было следствием этой линии.

Самеда Вургун избирают вице-президентом Академии наук республики. С великим энтузиазмом он берется за вице-президентские обязанности. Как-то в кабинете Председателя Президиума Верховного Совета республики он говорит об «академических» нуждах и заботах, о неурядицах

в Институте истории литературы, сетует, что последний ютится в «птичьей клетушке». Мирза Ибрагимов с улыбкой замечает:

— Ты вот с полчаса говоришь все о служебных делах, хозяйственных вопросах. Если так пойдет дальше, то вице-президент, похоже, возьмет верх над поэтом. Я-то ждал, что ты сейчас мне отрывок из новой драмы прочитаешь...

Самед Вургун, закулив папиросу, серьезно ответил:

— Не беспокойся, я не одну, а хоть пять драм напишу. Пора — добрая, мысль — волная, я телом — здоров... Вот утрясу академические дела — грудью налягу на письменный стол...

Не ведал еще поэт, какой удар ему готовит нездоровье.

Он был, по всеобщему признанию, достойным вице-президентом, руководителем, думающим, как говорил Сабир, о «великих идеалах», воодушевлявшим ученых на решение важных задач науки. Трехтомники — по истории Азербайджана и истории азербайджанской литературы — увидели свет во многом благодаря усилиям вице-президента. После Гейдара Гусейнова в академии какое-то время не было столь авторитетного и деятельного вожака, ведающего общественными науками. С появлением Самеда Вургуну дело продвинулось вперед.

Вице-президент мог часами обсуждать насущные проблемы, проекты научных изданий. Он зорко и тактично направлял и корректировал усилия и внимание коллег, особенно молодых, взыскательно подходил к направлению научных поисков, отбору диссертационных тем, стремясь, к устранению «белых пятен» в истории родной культуры. В многосложной научной и литературной жизни его мысль, чутье, опыт были надежным ориентиром.

Обнадеживает восстановленное благодаря усилиям вице-президента отделение музыки и театра, руководить которым он поручил видному театроведу и критику Джафару Джафарову. Здесь мы позволим себе небольшое отступление. Назначение Дж. Джафарова произошло в период, когда он был отстранен с ярыком «космополита и нигилиста» с поста заведующего отделом науки и культуры ЦК, а позднее — исключен из рядов Союза писателей. Между тем, это был высоко эрудированный и принципиальный критик, бескомпромиссный к слабым и уязвимым литературным произведениям, и занимающий партийный пост и ранее. И вот некогда раскритикованные им литераторы затеяли кампанию против него, попросту желая свести счеты с ним, как с «багировским кадром». С другой стороны, друзья и ревнители творчества Вургун считали Дж. Джафарова по-

винным в напаках на поэта, связанными с поэмой «Айгюн» и статьей «Права поэта». Сейчас нам трудно утверждать, в какой мере это предположение соответствовало истине. Мы можем только сказать, что единственным человеком, кто при обсуждении вопроса о Дж. Джафарове в президиуме писательского Союза республики заступился за него, был Самед Вургун...

Когда заступничество не помогло, и Джафаров был исключен из Союза, Самед Вургун взял опального критика в отдел и чуть позже был вынужден выслушать телефонные упреки своего друга Мехти Гусейна.

— Мехти, брат мой, пойми — негоже нам жить мелкими страстишками! Во-первых, никто не вправе оставлять человека без работы, лишать его семью хлеба. Во-вторых, ты мне укажи другого театроведа, столь же хорошо знающего дело! Ведь нет такого!

Время подтвердило правоту С. Вургуну. Джафаров, с воодушевлением взявшись за творческую работу, опубликовал ряд монографий, защитил докторскую, стал членкором...

Поскольку речь зашла о благородстве и великодушии Самеда Вургуну, уместно напомнить и о другом эпизоде. С назначением вице-президентом под его началом оказывается и М. Гулузаде, упоминавшийся нами ранее, тогдашний директор Института литературы. В ту пору Гулузаде уже сам стал объектом резкой критики на писательских собраниях и даже на съезде, как выразитель «вульгарно-социологической критики и сознательного отрицания творческих исканий в литературе», как гласила резолюция Второго съезда писателей республики. Если вспомним бывшие претензии к «Айгюну», нам станет ясна подоплека этой формулировки. И вот новоназначенный вице-президент в первые же дни вызывает к себе на прием своего бывшего оппонента, — вспоминал литераторовед ныне покойный Азизага Мамедов. — «Мы ждали, чем кончится их разговор. И вдруг видим, Мирзаага Гулузаде выходит из кабинета, смущенно потупив взгляд, с книжкой в руке. С. Вургун, ни словом не обмолвившись о его статье, поговорил с ним об институтских делах, а напоследок подарил Гулузаде только что вышедшую из печати книгу «Знаменосец века» с автографом...»

Да, Самед Вургун умел прощать людей, когда-либо проявивших к нему несправедливость. Человек широкой души, большого сердца, он был чужд мелкой мстительности и злопамятства. Он понимал мертвящую силу страха, десятилетиями насаждавшегося, вьедавшегося в плоть и кровь, — закалявшего мысль, ледявшего сердце... Ему ли было не понять?..

«...Вспоминая сейчас тот декабрьский день 1954 г., когда он говорил с трибуны Колонного зала Дома Союзов в Москве под лучами прожекторов и иссиня-белых «юпитеров», подтянутый, смуглый, рано поседевший человек, взволнованный сознанием высокой своей ответственности за все хозяйство нашего трудного искусства, — мы вспоминаем это не только как заслуженное им торжество, но и как его трудовой подвиг — последний из предстоявших ему в короткой и блестящей жизни».

В том, что Самеду Вургуну было поручено сказать главное слово о современной советской поэзии на съезде, выразилось признание его таланта, высокой компетентности, доверия к его опыту и вкусу.

Слова Павла Антокольского о «трудовом подвиге» — не дань дружеским эмоциям, если представить океан многогранной советской поэзии, который предстояло окинуть критическим взором, разглядеть в этой панораме и гребни кипящих валов, и мелкую рябь, и тихие сонные лагуны, вслушаться в лирическую бурю и эпический гул, выхватить в причудливом движении поэтической стихии общую направленность, порыв, заглянуть за горизонты этого мощного движения... Если представить, что каждое слово, каждая оценка, каждое имя, одобрение или упрек, прозвучавшие с трибуны, услышатся взыскательным, придирчивым, ревнивым слухом тысячной аудитории, всей страной...

Последний трудовой подвиг...

Да, последний... Горчащее предчувствием прощания слово.

И наша повесть о поэте близится к концу.

К последней точке, обозначившей предел его жизни, его творческой жажды, его мечтаний... Но есть ли пределы мечтаньям? Тут впору говорить о беспредельности...

Его содоклад, над которым он работал почти всю осень 1954 г. в Москве, не однажды заслушивался и обсуждался на президиуме Союза писателей. Этот документ примечателен в двух главных отношениях: прежде всего, он явил объективное осмысление двадцатилетней поэтической панорамы, с другой стороны, при всей объективности и непредвзятости оценок, одобрительных и критических, нелицеприятных тем, где речь шла об уязвимых моментах в творчестве мастеров, содоклад нес на себе печать яркой творческой индивидуальности самого оратора, его художественной концепции о романтике, о положительном и идеальном герое, — лирике и эпосе, — которую он издавна отстаивал и

которая вызвала небесполезную полемику... Читатель из предыдущих страниц знает об этих принципах поэта, выраженных в различных статьях и предомненных в творчестве. Пафос теоретической части содоклада был направлен против бескрылого, приземленного истолкования реализма, догматически опасливо отмахивавшегося от романтического видения, якобы чреватого «отрывом от действительности», смелые и, по признанию самого поэта, несколько «тенденциозные» суждения о романтическом воплощении крушили инертные теоретические постулаты и вносили свою лепту в утверждение и изучение романтизма как стиливого течения, в завоевание неоспоримых «прав гражданства».

Сам содоклад завершался на романтической ноте: «...сегодняшнее состояние нашей поэзии напоминает мне положение орла, готовящегося к полету: он оглядывается вокруг и ищет широкие горизонты для своего полета и собирается с силами. Мы твердо уверены, что этот полет состоится. Для этого у нас есть могучий орел — это наша великая советская поэзия...»

«И ЗДЕСЬ НЕ ПОЗАБУДУТ ОБО МНЕ...»

Летом 1955 г. Самед Вургун вместе с семьей отправляется в поездку по Азербайджану. «Победа» колесит по дорогам Гарабаха, Газаха, Борчалы, Кельбаджар, взбирается по горным серпантинам, мчит сквозь заповедные леса, по степному приволью. Это — не праздный «туристский» вояж...

Дочь поэта Айбениз вспоминает:

«...как только отцу приглянется красивый, живописный уголок, он останавливает машину и говорит:

— Сходите, дети мои, погуляйте вдвоем. Нельзя мимовать красоту, надо задержать шаг, поздороваться, приветить ее. И сам ходил с нами. Перешучивался, посвящал нас в названия трав, цветов, деревьев, птиц. Словно знакомил нас, детей, с природой.

Иногда я замечала отца уединившимся, прислонившимся к дереву или присевшим на росистый валун, пенечек и погружившимся в неведомые думы...

Только по прошествии лет я осознала, что человек, глядевший на далекие горы, опершись о дерево, — был Самед Вургун, прощавшийся с Азербайджаном...»

Он предчувствовал горечь скорого прощания — навеки...

И это холодящее неумолимое чувство заглушается утешающей отрадой задушевного общения с людьми, теплом отзывчивых и добрых сердец.

Но какое же общение без звонкострунного саза, без

песни ашуга! Высоко в горах, в Кельбаджарах, земляки в один голос хвалят поэту ашуга Шамшира. Гость изъявляет желание свидеться с ним. Старого ашуга находят на стройке силосной башни... Ашуг ашугу рознь. Есть устеды-мастера, что сами слагают стихи, сами и поют их, аккомпанируя себе. А есть — просто исполнители. Шамшир был из первых.

При виде знаменитого поэта, сошедшего с машины, ашуг встает и почтительно приветает его. После приветствий поэт обращается к молодому ашугу, сидящему у родника:

— А ну-ка, передай свой саз старому ашугу, послушаем его, что говорит-сказывает.

Шамшир будто и ждал этого — взял саз, тронул струны и спел экспромтом сочиненные стихи-гошму, подобающую случаю, с редифом «добро пожаловать».

Поэт, выслушав, набрасывает в блокноте ответное стихотворение и перенимает саз.

Ашуг Шамшир, на тропах Делидага
Спроси у скал певучих обо мне.
Понятна мне ашугская отвага,
И саз, и стих приятны оба мне.

Ты девушек, когда пораньше выйдешь,
У родника джейраньего увидишь,
Их у меня дукавством не обидишь —
Песнь о любви мила особо мне.

И мне случилось повидать джейрана,
Да сам же я не миновал канкана.
Как вспомню, так опять зовет рана, —
Ошибка не забудь до гроба мне...

Все зачарованно слушают. Голос поэта преисполняется грусти, когда он поет последнюю строфу.

Покрыта даль накидкой печальной,
Пускайся в путь обратный — путь печальный.
Вургун — лишь гость, однако не случайный.
И здесь не позабудут обо мне.

Шамшир, подождав, пока утихнут возгласы восхищения и хвалы, поет другую гошму.

Большое счастье — встреча с добрым другом,
Годам с таким дилми не сравниться,
Сольются ручейки — рекою станут,
Озерцам же с морями не сравниться.

Не мешкать бы осенним караванам,
В горах зимою сладу нет с бураном,
С утраченным, но до смерти желанным
Ничто под небесами не сравнится.

Объятия не для каждого раскрою,
Но к людям золотым я всей душою,
В приветливости тут никто со мною,
Вы подтвердите сами, не сравнится...

Последняя строфа как бы перекликается с вургуновской:

Я память о себе оставлю в мире,
Идет молва в народе о Шамшире,
Из уст в уста расходится все шире,
Ни с чем такое пламя не сравнится.*

Самед Вургун не остается в долгу... Возникает импровизированный поэтический диалог в духе традиционного состязания ашугов — «дейшмше». Таких сцен немало в народных дастанах.

Слушатели просят провести вечером встречу с поэтом в районном клубе.

На сцену молва скорая. Люди уже прослышали о необычном и удивительном поэтическом «дейшмше». На клубном вечере после выступления Вургуна народ просит ашуга Шамшира исполнить и стихи поэта, и свои под звуки сазы. Шамшир не ударил лицом в грязь. Он успел запомнить стихи гостя наизусть, с первого же прослушивания... Публика в восторге. Самед встает с места, заключает ашуга в объятия.

Именно Самед открыл для «широкого читателя Шамшира». В «кельбаджарские» дни он часто видится с ашугом, просматривает написанное им, просит приехать к нему в Баку с рукописями... Эта встреча состоится. Поэт поручит подготовить к печати сборник ашуга Мамеду Арифу, и возьмет на себя редактирование. Позже книга увидит свет, но Самед Вургун не успеет исполнить свое редакторское обещание...

В том же пятьдесят пятом здоровье его начало ухудшаться. Во время ноябрьской поездки во Вьетнам он предрывает странствие на поддороге.

Его помещают в пекинской больнице. Удивительно, что даже в эту тяжкую пору он не изменяет своей обычной общительности и обретает друзей среди простых китайских тружеников. Его не покидает надежда на исцеление и возвращение к деятельной жизни. «Пекинские» письма не содержат ни одной нотки отчаяния. Короткие стихи, написанные на больничной койке, свидетельствуют о неистребимой воле к жизни и мужественном самообладании.

* Стихи С. Вургуна и ашуга Шамшира приводятся в переводе В. Кафарова.

Безвременная смерть, посторонись,
Я с жизнью не расстанусь на чужбине.
Напрасно свой клинок взметнула высь —
Я вновь пером вооружился ныне
И с жизнью не расстанусь на чужбине.

(Перевод В. Кафарова).

Затем, по вынужденному возвращению, им занимают-
ся бакинские медики. Диагноз неутешительный: рак легких.
Последняя надежда, связанная с онкологами Кремлевской
больницы... Но медицина бессильна... В феврале его везут
домой. Весть о том, что поэт неизлечимо болен, молниеносно
разносится по республике. Встревожены друзья по всей
стране. Все проявляют участие, все хотят хоть чем-то по-
мочь, продлить его дни. Поэт Гусейн Ариф писал в те дни:

Народ принес бы на плечах Гошкар,*
Будь нужен снег ему для исцеления...

В 1956 г. ему исполнилось пятьдесят лет. Не смог он
присутствовать на своем юбилее, собравшем друзей со всей
страны в Театре оперы и балета имени М.Ф. Ахундова на
торжественный вечер.

Это было 12 мая.

Народ осыпал его последними ласками. Он первым удо-
стоился звания народного поэта республики. Степень докто-
ра филологических наук... Второй орден Ленина...

Со всех уголков родной земли, страны, мира шли в его
адрес письма. Шли они из Пхеньяна и Софии, Праги и Бу-
хареста, Варшавы и Дели, Пекина и Карачи, Ханоя и Мад-
раса...

Свыше тысячи приветственных телеграмм и писем, —
не только от собратьев по перу. Его чествуют болгарская
школьница и запорожский металлург, почтенный академик
и рядовой воин...

Его горячо поздравляет руководство республики как
видного творца советской литературы и пламенного борца
за мир и счастье народов...

Он благодарит всех письмом:

«...сегодня, взяв на себя большой труд, вы проводите
торжественный вечер в связи с 50-летием простого совет-
ского поэта. Примите глубочайшую признательность и при-
ветствие...

Всю свою жизнь я гордился тем, что являюсь рядовым
членом великой Коммунистической партии... Своими произ-

ведениями... я обязан священным и романтическим идеалам
коммунизма.

Дорогие мои читатели! Я не могу участвовать в сегод-
няшнем торжестве по временной причине. (Догадываясь,
что обречен, он не желает расстраивать друзей—авт.). Но:

Пускай глаза не видятся с глазами,
От сердца к сердцу видятся пути.

...Спасибо вам! Всем вам желаю самого сладостного
блага на свете — здоровья!

Ваш Сamed Вургун*.

На трибуне, освещенной юпитерами, докладчика Мирзу
Ибрагимову сменяют другие ораторы. Поэт, прикованный к
постели, внимает их знакомым взволнованным голосам по
радио.

Клокочущая речь Павла Антокольского, по-украински
певущее произношение Платона Воронько, мягкий баритон
Гафура Гуляма, гортанный густой бас Георгия Леонидзе
(«Видно, чем старше, тем оно крепче. Так и наша дружба,
Самед...»)

Говорят Кара Сейтлиев, С. Улугзаде, А. Мовланов, Ан-
дрис Велян, Стоян Даскалов, Расул Гамзатов, Петр Чагин...
За каждым голосом — мир, народ, память, страна...

Фадеев не приехал.

От имени Союза писателей СССР поэт приветствует
Константин Симонов. В теплом, грассирующем голосе — с
трудом сдерживаемое волнение, нежность, грусть. Друг
завершает свою речь его, вургунскими строками — это «Я
не спешу», блестяще переданное симоновским любящим
сердцем и талантом в русском слове.

...Пусть не спешит перо в руке поэта
Скорее книгу жизни завершить.
Пусть длится день! Пусть вертится планета!
Я не спешу.
Мне некуда спешить.

«Спасибо, друг, — думает расстроганный, прикованный
к постели поэт. — Это лучшее, что ты мог сделать для меня.
— Ты помог моему заветному слову дойти до миллионов.
Но почему нет Саши? Что с ним?..» Об этом он спросит у
московских друзей, приехавших на юбилей, когда они, по
выражению Антокольского, прорвав «праведную блокаду
врачей», войдут к больному поэту в палату... Александр
Фадеев к тому времени переживал тяжкий кризис, который
вскоре завершился роковым выстрелом... Друзья попытаются

* Гошкар — гора в Азербайджане.

скрыть от Самеда Вургуну истину: мол, приехать Александру Александровичу помешали важные, неотложные дела. Самед не поверит: «Нет, с ним что-то стряслось... Не мог он не приехать в такие-то мои дни...»

Да, таким был Самед. Даже в последние дни жизни у него хватало мужества и зоркой участливости, чтобы думать и тревожиться о дорогах его сердцу людям...

Через пятнадцать дней после юбилейных торжеств, 27 мая в 19.30 час. перестало биться его сердце.

Народ воздал ему последнюю почесть.

Пройдет время, и воплощенный в мрамор, он поднимется гордый, порывистый, вдохновенный, на пьедестал у привокзальной площади в Баку, имя его оживет в названиях улиц, библиотек, школ, театра, он поплывет красивым судном по волнам седого Каспия.

И весенний норд подхватит крылатые строки, и понесет их над гулом стихии, над просторами родной земли, и вновь, и вновь услышат живущие на ней поколения размеренный, густой неповторимый голос Самеда Вургуну:

Пусть не спешит перо в руке поэта
Скорее книгу жизни завершить,
Пусть длится день!
Пусть вертится планета!
Я не спешу.
Мне некуда спешить.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА САМЕДА ВУРГУНА

1906, 21 марта — в селе Гырах-Салахлы Газахского уезда (ныне одноименного района Азербайджанской Республики) Елизаветпольской губернии в семье Юсиф аги и Махбубы ханум Векиловых родился сын Самед.

1912 — приблизительная дата смерти Махбубы ханум.

1913—1918 — учеба в земской школе, руководимой Ахмед агой Мустафаевым.

1918 — семья переселяется в г. Газах. Самед с братом Мехтиханом поступает в Учительскую семинарию.

1922 — зарождение большого чувства к дочери Асад аги Мустафаева — Диоре. Первые пробы пера. Кончина отца.

1923, весна — пребывание в Гарагоюнлы.

1923, ноябрь — скончалась бабушка Айша.

1924 — окончив педтехникум, учительствует в селении II Шихлы. Пишет стихотворение «Письмо к Шикесте», с которого ведется отсчет поэтического творчества.

1925, 23 марта — в газете «Ени фикир», издававшейся в Тифлисе, опубликовано стихотворение «Обращение к юношам».

1925, сентябрь — назначается директором начальной школы в селе Кеч-аскер.

1926, январь или февраль — преследуемый за критику уездных руководителей на конференции учителей Самед Вургун вынужден искать прибежище в Губинском уезде, где Мехтихан ведет народным образованием. Здесь он учительствует.

1927, декабрь — 1929, май — работает учителем в Гяндже. Участвует в обществе «Красные перья». Интимные поэтические исповеди о несчастливой любви остаются неизвестными читателям, а поэма «Дели шайр» («Безумный поэт») — незавершенной.

1929, сентябрь — поступает на филологический факультет II МГУ. Знакомство со столичной литературной средой, с творчеством Маяковского.

1930 — в Баку выходит первый сборник — «Клятва поэта».

1931, весна — не завершив образования, возвращается в Баку. Начинает работать над «Комсомольской поэмой».

1931, осень — поступает в аспирантуру.

1932 — знакомство с Хавер ханум Мирзабековой. Вторая книга — «Фонарь».

1933 — поэтическое творчество побуждает его бросить аспирантуру. Он сотрудничает в газете «Гяндж ишчи». Обручение с Хавер ханум.

1934 — выходит в свет «Тетрадь души». Публикуется поэма «Скамья смерти».

1934, июнь — на I съезде азербайджанских писателей Самед Вургун избирается ответственным секретарем Союза писателей.

1934, август — на I Всесоюзном съезде советских писателей он избран членом правления СП.

1934, ноябрь — женитьба на Х. Мирзабековой.

1935 — издана новая книга — «Стихи». Завершив эпопею «Азербайджан», включившую в себя «Двадцать шесть», «Скалу Аслана», «Горькие воспоминания» и другие стихи и поэмы, он представляет ее на литературный конкурс.

1935, 15—18 января — на VII Закавказском съезде Советов Самед Вургун избран членом ЗАКЛИК.

1935, июнь — участвует в Декаде азербайджанской поэзии в Грузии как руководитель бригады поэтов. В Тифлисе издается первая русская переводная книга поэта — «Стихи и поэмы».

1935, декабрь — рождение первенца — Юсифа.

1936, 16 января — 1 февраля — поездка в Москву в составе делегации республики. Награждение орденом Ленина. Участие в подготовке к памятной дате — 100-летию со дня гибели А. С. Пушкина (в качестве заместителя председателя республиканского оргкомитета).

1936, лето — завершение двухлетней работы над переводом «Евгения Онегина».

1937 — ухудшение общественно-политического климата в связи с репрессивной кампанией против деятелей культуры.

1937, февраль — Пушкинские дни. С. Вургун выступает со стихами, статьями, интервью. Выход в свет перевода «Евгения Онегина».

1937, март — награждение Пушкинской медалью.

1937, 14 марта — выступление на IX внеочередном съезде Советов республики.

1937, май — Союз писателей Азербайджана подвергается критике в передовице газеты «Коммунист», на совещании драматургов, в докладе М. Дж. Багирова на XXII Бакинском партконференции. Руководство СП, в том числе С. Вургун обвиняются в «беспринципности», в «либерализме» по отношению к «националистическим элементам».

1937, июнь — нападки на писателей в докладе М. Дж. Багирова на XIII съезде КБ(б) Азербайджана. Арест Гусейна Джавида, Миканла Мушфика и других видных литераторов. Отстранение С. Вургун с должности ответственного секретаря СП.

1937, июль—август — С. Вургун переводит часть поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на азербайджанский язык.

1937, сентябрь — рождается дочь — Айбениз. Ведется печатная obstruction поэта.

1937, октябрь—ноябрь — публикуются поэмы «Слово о колхознице Басти», «Спор весны и зимы».

1937, 26 ноября — обсуждение личного вопроса С. Вургун на секретариате СП СССР.

1937, декабрь — завершается работа над пьесой «Вагиф»; участие в юбилее 750-летия Шота Руставели.

1938 — под редакцией С. Вургун и В. Луговского ведется работа над антологией азербайджанской поэзии на русском языке.

1938, 24 июня — избрание депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР.

1938, 5 октября — сенсационная премьера «Вагифа» в Аздраттеатре им. М. Азизбекова.

1938, декабрь — премирование поэта решением Совнаркома республики за пьесу «Вагиф».

1939 — вышел из печати сборник «Свободное вдохновение». Завершена работа над «Ханларом». Награждение орденом «Знак Почета».

1940 — приступает к переводу поэмы Низами «Лейли и Меджнун» на азербайджанский язык.

1940, январь — С. Вургун принят в ряды КП(б). Премьера «Вагифа» в Бакинском русском драмтеатре и премьера «Ханлара» в театре им. М. Азизбекова.

1940, май — участие в Декаде азербайджанской литературы и искусства в Москве.

1941, весна — завершение драмы «Фархад и Ширин».

1941, 15 марта — присуждение Сталинской премии за пьесу «Вагиф».

1941, апрель — избрание председателем СП Азербайджана.

1941, 22 июня — вероломное нападение фашистской Германии на СССР. К концу месяца появляется цикл стихов С. Вургун о великом противостоянии нашествию («На страже Родины», «Материнское напутствие» и другие).

1941, август — создается фонд обороны страны. С. Вургун вносит в фонд 22 тыс. руб.

1941, ноябрь — премьера пьесы «Фархад и Ширин» в АзДТ.

1941, декабрь — участие в митингах в Гяндже и Шамхоре в честь Героя Советского Союза Исафилла Мамедова. Поездка на Крымский фронт в рядах представителей Азербайджана.

1942, январь—февраль — участие в пленуме СП СССР в Москве. Выступление по Всесоюзному радио.

1942, апрель — вторая Сталинская премия — за пьесу «Фархад и Ширин».

1942, 23 августа — речь на антифашистском митинге представителей народов Закавказья в Тбилиси.

1942, октябрь — поездка на Северо-Кавказский фронт.

1942, ноябрь — выступление на Всесоюзном антифашистском митинге в Москве. Выходит в свет книга «Во имя счастья».

1943 — присвоение звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР. Создание драмы «Ормузд и Ахриман», цикла философской лирики.

1944, май — освобожден от должности председателя СП Азербайджана.

1944—1945 — из под пера поэта выходят многие части «Дастана Баку», трагедия «Человек».

1945, 27 марта — избран действительным членом АН республики.

1945, 9 мая — Победа.

1945, 6 июня — С. Вургун награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

1945, 31 августа — вторичное избрание председателем СП Азербайджана.

1945, сентябрь — в соавторстве с Сулейманом Рустамом создает текст Государственного гимна республики.

1945 — выступает с докладом на юбилее 60-летия Уз. Гаджибекова.

1945, октябрь — избран председателем АзОКС.

1945, 7 ноября — премьера пьесы «Человек». Снятие ее с репертуара.

1945, 12 декабря — учреждение национального правительства в Южном Азербайджане.

1945, 16 декабря — стихотворное послание тебризских поэтов Самеду Вургуну.

1946 — награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1946, 10 февраля — избрание депутатом Верховного Совета СССР второго созыва.

1946, апрель — премьера пьесы «Страна Огней» («Фархад и Ширин») в музыкально-драматическом театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

1946, весна — злопыхательское письмо Прокофьева в ЦК КП(б) республики о пьесе «Человек» и ответное письмо С. Вургуну.

1946, август — постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Ленинград» и «Звезда» и новая кампания литературных репрессий.

1946, декабрь — падение революционной власти в Южном Азербайджане, потопленной в крови шахским режимом.

1947 — вышел в свет сборник «Песня грядущего».

1947, март — посещение Англии в составе советской парламентской делегации.

1947, июнь—сентябрь — деятельное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 800-летию со дня рождения Низами Гянджеви.

1947, сентябрь — путешествие по сельским районам Азербайджана с А. А. Фадеевым и Н. С. Тихоновым.

1948, 25—28 августа — участие во Всемирном конгрессе деятелей культуры в защиту мира в польском городе Вроцлав. Рождение поэмы «Негр говорит». Обострение отношений с М. Дж. Багировым.

1948, октябрь — отстранение от руководства СП, затем — республиканским ОКСом. Работа в обществе «Знание».

1949 — завершение двухлетней работы над поэмой «Мугань»; С. Вургун пишет в газету «Старые друзья». За активное участие в юбилее 150-летия А. С. Пушкина вновь удостоивается Пушкинской юбилейной медали.

1950, весна — избрание депутатом Верховного Совета СССР третьего созыва. Поэма «Читай Ленина». Рецидив репрессий против интеллигенции (1950—1953 гг.).

1950, сентябрь — опубликован цикл «Европейские впечатления».

1950, октябрь — С. Вургун избран членом Советского Комитета защиты мира.

1950, 30 ноября — 9 декабря — Декада азербайджанской литературы и искусства в Москве.

1951 — завершение поэмы «Айгюн».

1951, осень — поездка в Болгарию — в связи с неделей болгаро-советской дружбы.

1952, январь—февраль — публикация поэмы «Айгюн».

1952, март — инспирированная критика поэмы.

1952, сентябрь — оскорбительный выпад М. Дж. Багирова против поэта на XIX партсъезде республики.

1952, осень — С. Вургун пишет поэму «Знаменосец века».

1953, весна — 500-е представление «Вагифа» и 250-е «Ханлар» в Азгосдрамтеатре им. М. Азизбекова. Статья С. Вургун «Правота поэта» в «Литературной газете», использованная как предлог новых инсинуаций. Ордер на арест, инспирированные нападки в печати.

1953, июль — отстранение М. Дж. Багирова от должности и арест.

1954, февраль — на XX съезде КП Азербайджана Самед Вургун избран в члены ЦК.

1954, весна — избрание депутатом Верховного Совета СССР четвертого созыва и вице-президентом АН Азербайджанской ССР.

1954, декабрь — выступает с содокладом о советской поэзии на II Всесоюзном съезде советских писателей.

1955, лето — поездка по городам и весям родной земли, оказавшаяся прощальной. Встреча и открытие народного самородка — ашуга Шамшира.

1955, ноябрь — тяжкая болезнь застигает на полпути во Вьетнам в составе советских парламентариев. Пекинская больница. Возвращение в Баку.

1955, декабрь — поэта везут в Москву и помещают в Кремлевскую больницу.

1956, февраль — операция неутиешительна: раковая болезнь уже зашла слишком далеко. Снова — домой.

1956, 23 января — учреждено звание народного поэта Азербайджана. Первым его удостоивается Самед Вургун.

1956, 24 марта — поэт награждается орденом Ленина.

1956, 12 мая — республика и друзья со всей страны, зарубежные гости чувствуют на юбилейном торжестве 50-летнего поэта, прикованного к постели.

1956, 27 мая, 19 часов 30 минут — скончался Самед Вургун.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

на русском языке

- Самед Вургун. Собрание сочинений. В трех томах. М., «Художественная литература», 1978—1980.
- Самед Вургун. Избранные сочинения. В двух томах. М., Гослитиздат, 1958.
- Самед Вургун. Высказывания, воспоминания, исследования о поэте. Баку, «Элм», 1976.
- Самед Вургун в русской печати. Библиография. Баку, «Элм», 1976.
- Габиб Бабаев. Самед Вургун. Очерк творчества. М., Советский писатель, 1981.
- Джафаров М. Дж. Самед Вургун (Жизнь и творчество). Баку, Азернешр, 1966.
- Мамед Ариф. Драматургия Самеда Вургун. В кн.: М. Ариф. Избранное. В двух томах, т. 2. Баку, Азернешр, 1973.
- Джахид Гулиев. Навсегда в сыновья тебе дан... (Страницы жизни и творчества Самеда Вургун). Баку, Азернешр, 1986.
- Фарида Велиханова. Самед Вургун среди друзей-переводчиков. Баку, Язычы, 1986.
- Лукьянова С. Л. Творчество Самеда Вургун во всесоюзной критике: Значение творческой активности С. Вургун в процессе взаимообогащения советских литератур. Баку, «Элм», 1986.
- Эфендиев И. Народный поэт Самед Вургун. Баку, 1956.
- Бахтияр Вагабзаде. Самед Вургун. В кн.: С. Вургун. Избранные произведения, Л., Советский писатель, 1977, стр. 5—43.
- Народный поэт Самед Вургун. Сб. статей. Баку, изд-во АН Азербайджанской ССР, 1957.

на азербайджанском языке

- Самед Вургун. Әсəрлəri. Алты чилдə. Баку, Елм, 1960—1972 (Собрание сочинений С. Вургун).
- Самед Вургун. Әсəрлəri. Једди чилдə, ч. 1—4. Баку, Елм, 1985—1988 (Собрание сочинений С. Вургун).
- Самед Вургун. Библиографија. Баку, Азəрб.ССР ЕА нəшријаты, 1965.
- Самед Вургун. Баку, Ишыг, 1986 (Фотодокументы, воспоминания, отрывки из произведений. Предисловие и составление Г. Ахмедова).
- Һəјдər һусејнов. Вəтəнпəрвəр шair Самед Вургун. Баку,

«СРР ЕА Азəрбајжан филиалынын нəшри, 1942 (О поэзии и драматургии С. Вургун).

Мəһди хан Вəкилов. С. Вургунун тəрчмєји-налы.—Кт.: Сəмəd Вургун. Әсəрлəri. 6 чилдə, 1 чилд. Баку, 1960 (Краткая библиография Самеда Вургун).

Мəһди хан Вəкилов. Өмүр дедиклəri бир карван јолу. Баку. «Јазычы», 1986 (Воспоминания брата М. Вəкилова о С. Вургуне).

Бəхтијар Ваһабзаде. Сəмəd Вургун. Баку, «Кəнчлик», 1984 (Жизнь и творчество С. Вургун).

Чəлал Абдуллајев. Сəмəd Вургунун сənət дунјасы. Баку, «Јазычы», 1986 (Художественный мир Самеда Вургун).

Фамил Мəһди. Аловду публисист Сəмəd Вургун. Баку, «Азəр-нашр», 1967 (Публицистика С. Вургун).

Рафиг Вəкилов. Сəмəd Вургунун əдəби-тəнгиди кəрушлəri. Баку, «Јазычы», 1982 (Литературно-критические взгляды С. Вургун).

Галачагдыр дунјадə... Баку, «Азəрнешр», 1973 (Воспоминания о С. Вургуне).

Мəн еллэр оғлунм... Баку, «Кəнчлик», 1984 (Воспоминания о С. Вургуне).

Раһим Ахундов. Сəмəd Вургун харици мəтбуатда. Баку, «Бил-лик» чəмијјəтинин нəшри, 1976 (С. Вургун в зарубежной печати).

Оручəли Һ. Сəмəd Вургун. Баку, «Ушагкəнчлəшр», 1956.

Армəис Вартанов. Сəмəd Вургун вə ермəни əдəбијјаты. Баку, «Азəрнешр», 1976 (С. Вургун и армянская литература).

Шəмисан Нəзирли. Вургун кечиб бу јерлəрдəн... Икт.—Баку, «Кəнчлик», 1978; II кт. — Баку, «Јазычы», 1986 (Документальные рассказы о С. Вургуне).

Гурбан Бајрамов. Вургун поезијасы. Баку, «Билик» чəмијјə-тинин нəшри, 1976 (Поэзия С. Вургун).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
I часть. Детство и юность	7
II часть. Признание	55
III часть. Война и поэт	127
IV часть. Слава и горькие правды	161
Основные даты жизни и творчества С. Вургун	235
Краткая библиография	240

Б. ВАГАБЗАДЕ, Э. ТАЛЫБЛЫ
САМЕД ВУРГУН

Редактор **Джамия Аббасова**
Художник **Заур Алиев**
Технический редактор **Эльмира Тагиева**
Корректора **Земфира Абдуллаева,**
Рена Султанова

Подготовлено к печати издательским отделом
издательства «Азербайджан».

Подписано в печать 17.04.2000. Формат издания 60×90¹/₁₆.
Усл. печ. л. 15,25. Учетн.-изд. л. 14,87. Тираж 300. Заказ 4700
Цена договорная.

Отпечатано в типографии издательства «Азербайджан».
370146 Баку, Метбуат проспекти, 529-й квартал.

2

760376